

Юрий ПАВЛОВ

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ В ПОЭЗИИ, ПРОЗЕ, ПУБЛИЦИСТИКЕ

А. Блок

С. Есенин

А. Соловьев

Е. Евтушенко

А. Солженицын

Ю. Козаков

С. Есенин

А. Рубина

Ю. Эдлис

А. Табидин

С. Куринян

М. Цветаева

З. Неплюевский

Ст. Куняев

М. Булатов

В. Гроссман

В. Максимова

В. Аничкин

Б. Гребанов

В. Аксенов

А. Битов

Т. и В. Соловей

Лирика Александра Блока: «трилогия вочеловечивания»?

Общеизвестно, что всю свою лирику **А.Блок** рассматривал как единое целое, как «трилогию вочеловечивания». Нас будет интересовать, как на уровне чувств, мысли А.Блок решает проблему человека. Начнём с темы любви.

В центре значительного числа произведений поэта - падение в любви, разные формы нелюбви. В этом отношении показательное стихотворение «На островах». Многое в восприятии и поведении лирического героя свидетельствует об обыденности, «наезженности» происходящего: «Вновь (здесь и далее в цитатах разрядка моя. - Ю.П.) оснеженные колонны»; «Нет, я не первую ласкаю»; «Нет, с постоянством геометра//Я числю каждый раз без слов»; «Я чту обряд...». «Любовь» героя - это «любовь»-действие, в котором атрибуты мира («мосты, часовня, резкость ветра» и т.д.), «атрибуты» возлюбленной («тонкий стан», «узкие ботинки», «хладные меха») занимают главное место.

В стихотворении практически отсутствует образ возлюбленной. Подобную ситуацию, характерную для многих произведений А. Блока, ещё в 1896 году в статье «Декаденты» прокомментировал В. Розанов, отталкиваясь от творчества предшественников поэта: «Отброшено самое лицо любимого существа: на него, как на лицо оперируемое, набрасывается в этой новой «поэзии» покрывало, чтобы своим выражением страдания, ужаса, мольбы оно не мешало чему-то «существенному», что должно быть совершено тут, около этого лица, но без какого-либо к нему внимания» (Розанов В. Сочинения. - М., 1990).

Подавляющая же часть исследователей предлагала и предлагает принципиально иное толкование. И.Роднянская, например, в статье «Трагическая муза Блока» утверждает: «Женские образы Блока «костюмированы», спрятаны в воздушный ворох наряда. Как часто Блок обозначает женское начало лёгкой деталью «её» убора: лента, платок, рукав, коса - вплоть до ботинки, перьев и каблука, холодных мехов, соболей, духов, шлейфа и колец. И эти туманные подробности сублимируют страсть в артистический восторг и любование - особая, бередящая душу и ускользающая музыка женственности, хорошо знакомая клану театральных поклонников. В таких образах-ролях природное и непосредственное проведено через культурное и символическое, они значимы не сами по себе, а тем, на что они намекают - где-то «там» или в душе героя» (Роднянская И. Художник в поисках истины. - М., 1989).

Думается, И.Роднянская, вырывая «детали» из контекста, придаёт им произвольный смысл. «Узкие ботинки» и «хладные меха» в стихотворении «На островах» трудно назвать музыкой женственности, не говоря уже о сублимации страсти. Будь это так, герою не пришлось бы «лукавить», не пришлось бы оправдываться за обман-игру.

Оправдание, занимающее одну шестую объёма стихотворения (свидетельство значимости данного факта), построено как констатация того, чего нет, но что служит для героя символом иных - настоящих - любовных отношений. Отсутствие их не только как бы развязывает руки мужчине, но и усиливает скрытую неудовлетворённость, горечь человека, вынужденного влюбляться в «хладные меха».

Итак, женские «атрибуты» спутницы героя - это знаки нелюбви, это повторяющиеся подробности, присущие нелюбимым женщинам. О героине лишь сказано: «голос влюблённый». И большего, видимо, не требуется, ибо главное произнесено. То есть женщины как героини почти нет в стихотворении, потому что нет влюблённого в неё мужчины, ибо объект изображения - он.

Не случайно в основе композиции стихотворения лежит скрытый монолог героя с традицией. Она периодически вклинивается в сюжет, выходит наружу. Отсюда внешне неожиданные, но внутренне мотивированные «Да», «О», «Нет», «Ведь», - подчёркивающие нелюбовь героя.

В основе сюжета стихотворения «Ресторан» внешне и внутренне - принципиально иная ситуация. Если в «На островах» вечер - один из многих, то в «Ресторане» - не просто особенный, а тот, о котором говорят (как лирический герой): «Никогда не забуду». Если в первом стихотворении отношение мужчины к женщине - это привычка, обряд, заигранность, искусственность поведения, то во втором - естественная живая реакция и лирического героя («Я встретил смущённо и дерзко»), и юной незнакомки, сквозь игру которой пробиваются чувства, не подвластные обряду: «Но была ты со мной всем презрением юным, // Чуть заметным дрожаньем руки».

И всё же это не завязка любви, как бы впечатляюще, красиво происходящее ни выглядело:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой, легка... И
вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептали тревожно шелка. Но из глубы зеркал
ты мне взоры бросала, И, бросая, кричала: «Лови!..».

Не без помощи автора создаётся ощущение нездоровости, болезненности, греховности этой «любви» на расстоянии. Романтический налёт с неё снимается лишь в последней строфе при помощи параллелизма, сравнения поведения незнакомки с поведением цыганки. Визжащая о любви цыганка - вот, по АБлоку, духовно- нравственный эквивалент происходящего.

Более откровенно суть подобных романов передаётся в стихотворении «Унижение». Вновь, как и в «На островах», в текст вводятся при помощи риторических вопросов высокие традиционные идеалы, заявленные на уровне антитезиса: «Разве это мы звали любовью?» Таким образом, обозначенные идеалы - своеобразная точка отсчёта, мерило чувств, событий, жизни.

А.Блок с его склонностью рассматривать взаимоотношения мужчины и женщины под «соусом вечности» (что так и не смогла понять возлюбленная поэта Н.Волохова) верен себе и в этом стихотворении. Вопрос лирического героя - «Разве так суждено меж людьми?» - переводит любовь с уровня взаимоотношения полов на уровень общечеловеческий. Понятно также, что речь идёт не только об унижении в конкретном публичном доме, но и об унижении мужчины и женщины, унижении человека, любви вообще.

Унижают себя и других носители такой «любви» - безумной, сумасшедшей, демонической. Не случайно суть происходящего передаётся и через дважды названный жёлтый закат. И даже икона не в состоянии спасти, преобразить героиню, она только подчёркивает безумье губ. Постельная, плотская страсть красноречиво соседствует с «замогильным свистом», шлейф говоряще сравнивается со змеем, «тяжким, сытым и пыльным». Всё это понимает в конце концов и лирический герой, чей призыв: «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, // В сердце острый французский каблук!» - жест отчаяния. Отчаяния от бессилия изменить себя, ситуацию, жест, граничащий с духовным самоубийством.

Подобные мотивы встречаем во многих произведениях А.Блока, в частности, в цикле «Чёрная кровь», куда входят девять стихотворений 1909-1914 годов. Уже само название говорит о многом, прежде всего о том, что писатель в определённые моменты своей жизни и творчества преодолевал «левые» стереотипы и утверждал традиционные ценности. Поэт, в отличие от многих авторов-современников, которые, подобно М.Цветаевой, воспевали, обожествляли страсть, в данном цикле не верит в неё, не приемлет страсть в качестве идеала. Более того, она, по АБлоку, - чёрная кровь, аномалия, болезнь.

Характеризуя страсть, поэт прибегает к повторяющимся обра- зам-символам. В четырёх стихотворениях 1912 года и трёх 1914 года АБлок сравнивает страсть с грозой и «молнией грозовой». То есть она - явление внешнее, природное, стихийное, явление, с которым

невозможно или трудно бороться. И в то же время это толкование значительно корректируется последним двустишьем первого стихотворения цикла: «Нет! Не смирят эту чёрную кровь //Даже - свидание, даже - любовь!». Таким образом, страсть - одно из проявлений глубинной, внутренней сущности человека, это явление греховно-бездуховного ряда.

Показательно, что любовный поединок во втором стихотворении цикла изображается как схватка двух демонов: Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне Притаился, глядит. Каждый демон в тебе сторожит, Притаясь в грозовой тишине.

В отличие от произведений А.Блока, где страсть - благо (чувство высокое либо низкое, но такое низкое, которое выше традицион- но-высокого), в «Чёрной крови» пагубность страсти осознаётся и героем, и автором. Отсюда и такой образный ряд, передающий качество страсти: «страшная пропасть», «объятия страшные», «мука», «ядовитый взгляд», «змеиный рай - бездонной скуки ад» и т.д.

Однако, несмотря на очевидность «низости страсти» (использую итоговый образ из последней строки цикла), герой всё же не в состоянии противостоять ей. Он не может, как в стихотворении четвёртом, осуществить своё благородное «хочу»:

Как первый человек, божественным сгорая, Хочу вернуть навек на синий берег рая
Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд...

Мужчина легко, без какого-либо усилия над собой, уступает «ядовитому взгляду» женщины, меняя потенциальный рай на реальный ад.

Если герой вступает в поединок со страстью (и это второй вариант его поведения в данном цикле), то со страстью не в себе, а вне себя (типичный ход мысли, пример поведения человека-материалиста, обезбоженной личности). Избранный им способ решения проблемы оригинально неоригинален: Подойди. Подползи. Я ударю - И, как кошка, ошеришься ты.

(«Даже имя твоё мне презренно...») Над лучшим созданием Божьим Изведал я силу презренья. Я палкой ударил её.

(«Над лучшим созданием Божьим...»)

В другом случае герой более «изобретателен»: он испытывает вампирски-сатанинское удовольствие от того, что возлюбленная умирает в «пытках любви»:

Знаю, выпил я кровь твою... Я кладу тебя в гроб и пою.

(«Я её победил, наконец...»)

Итак, в каком бы состоянии ни пребывал лирический герой данного цикла, как бы он ни противился низкой страсти, «чёрной крови», всё равно ему не хватает духовных сил выйти за пределы греха.

Преобладающий в лирике А.Блока взгляд на любовь проявился в цикле «Кармен», который создавался почти одновременно с «Чёрной кровью», создавался в тот период, когда поэт, как следует из его признания, слепо отдался стихии, был в согласии с ней, что, с его точки зрения, является своеобразным знаком подлинности, качества. И многие исследователи, идя вслед за Блоком, склонны видеть в данном цикле вершину творчества поэта.

Думаю, этот цикл ничем принципиально не отличается от многих предыдущих и последующих произведений. Кармен - это типично блоковская героиня, явление которой уже в первом стихотворении уподобляется стихии, «грозе певучей». Стихия - главное и, по сути, исчерпывающее, всеохватное начало в «Кармен». И если бы не стихотворение «Есть демон утра. Дымно-светел он...», то можно было бы говорить об одноплановости, однолинейности данного персонажа.

В этом произведении структуроопределяющими являются два образа, каждый из которых, в свою очередь, обуславливает тропику строф. Если в первом четверостишии делается акцент на утрен- ность, чистоту, свежесть героини, то во втором - подчёркивается наличие ночного, тёмного, ужасного, стихийно-природного, чер- вонно-красного, вероятнее всего, кровавого, начала.

В других стихотворениях цикла этой амбивалентности практически нет. Нет, видимо, потому, что в вышеназванном произведении автор видит героиню на «расстоянии», с позиции в том числе и традиционных ценностей, а в остальных случаях Кармен запечатлена во многом иными глазами. Глазами героя, находящегося преимущественно в состоянии «пожара сердца» (В.Маяковский).

Страсть является доминирующим началом во взаимоотношениях героев. Показательно, что и слово «любовь» употребляется автором в трёх из двенадцати произведений. Но даже в них нельзя говорить о любви в традиционном понимании. Я учитываю и её воздействие, которое плодотворным не назовёшь («И сердце захлестнула кровь, // Смывая память об отчизне»), и плату за чувство («ценою жизни»), и, главное, её состав, суть. Слагаемые и критерии любви в цикле почти все из мира плоти.

Наиболее часто употребляются слова «зубы» и «глаза», при этом идейная нагрузка на них равна нулю: «Сверкнёт мне белыми зубами // Твой недоступный лик»; «В очах, где грусть измен» («О, да, любовь вольна, как птица...»); «Блеснул зубов жемчужный ряд»; «Насмешкой засветились очи» («Бушует снежная весна...»); «Сердитый взор бесцветных глаз»; «И не блеснёт уж ряд жемчужный // Зубов» («Сердитый взор бесцветных глаз...»). Одинаковое количество раз - дважды - названы руки, голос, плечи, стан: «Да, в хищной силе рук прекрасных» («О, да, любовь вольна, как птица...»); «Но этих нервных рук и плеч // Почти пугающая чуткость» («Есть демон утра. Дымно-светел он...»); «Дивный голос твой, низкий и странный, // Славит бурю цыганских страстей» («Ты, как отзвук забытого гимна...»); «И песня Ваших нежных плеч» («Сердитый взор бесцветных глаз...»); «Глядит на стан её певучий» («Среди поклонников Кармен...»); «Да, всё равно мне будет сниться // Твой стан, твой огневой» («О, да, любовь вольна, как птица...»).

Восприятие Кармен героем, автором (в отличие от «Чёрной крови» между ними дистанции нет, они - неразрывное целое) очень напоминает отношение Курагина к Наташе Ростовской, которое ещё Н.Страхов в статье «Война и мир». Сочинение графа ЛН. Толстого» определил как чувственное, французское, противопоставив ему бе- зуховское, толстовское видение. По мнению Н.Страхова, автор «Войны и мира» не верит в страсть, не верит страсти, альтернативой которой является любовно-семейная мысль. В таком подходе, думается, выразился традиционно русский взгляд на любовь и страсть, которые в цикле «Кармен» являются чувствами противоположными. В целом же в цикле, как в отношениях с ЛДельмас, А.Блоку не удалось вырваться из плена чувственности, обрести любовь как нравственное, духовное творчество, через которое, в частности, индивид и становится личностью.

Последнее, завершающее цикл, стихотворение «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...» показательно в этом отношении. Женщина предстаёт в нём как двойник мужчины, что не характерно для творчества А.Блока. Их двойничество, их идейно-духовная общность зиждется на самости, эгоцентризме. Герой прекрасно понимает «страшность», «дикость» положения Кармен и «здесь» (в мире земном), и «там» (в мире небесном). Однако именно оно в конце концов влечёт его к женщине, вызывает «любовь». Отсутствие «орбит», нарушение традиций, норм, утрата первичных, глубинных понятий о нравственности (ибо только тогда «нет счастья, нет измен... // Мелодией одной звучат печаль и радость...», когда ты - «сама себе закон») характерны не только для Кармен, но и для лирического героя. В цикле у него альтернатива «дома», как и любая другая положительная альтернатива, отсутствует.

Ситуация эта типична для многих произведений АБлока. Настоящего выбора у героя нет из-за обезбоженности его сознания. Обезбоженность - факт, прямо или косвенно констатируемый, но в полной, духовной степени автором не оценённый. Так, из первого стихотворения цикла «Жизнь моего приятеля» следует, что безверие является одной из составляющих «чёрной души» героя. И показательно, характерно для Блока, что ночь, дьявол - это образы, входящие в сравнения, через которые раскрывается суть тоски-гру- сти - второй составляющей «чёрной» души.

В данном случае явно перепутаны местами причина и следствие, что закономерно, если учитывать отношение А.Блока к Всевышнему. Лишь изредка поэт приближается к христианскому пониманию проблемы, когда обозначается чёткая зависимость состояния души от веры в Бога. В восьмом стихотворении цикла акценты расставлены следующим образом: «Он разучился славить Бога // И песни грешные запел».

Однако чаще всего вера во Всевышнего уступает место женщине или подменяется верой в неё. Так, следующие строки: «Да, был я пророком, пока это сердце молилось» («Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...») – можно было бы воспринимать как формулу христианского духовно-творческого бытия, если бы не последовавшее затем уточнение: «Молилось и пело тебя, но ведь ты – не царица». Возлагаемые чрезмерные надежды на женщину, умолчание имени Бога, умолчание, равное отсутствию, не могут не привести к «погасшим очам», «падению», ожиданию смерти.

АБлок, как и Ф Достоевский, уделяет основное внимание в своём творчестве теме духовного падения человека. Диапазон этого падения широк. Окончательное падение изображается редко, как, например, в отдельных стихотворениях циклов «Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля». На него указывается при помощи прямых характеристик, констатирующих данный факт: «Хвать – похвать, – а сердца нет. // Сердце – крашеный мертвец» («Всё свершилось по писаньям...»); «Кактяжко мертвецу среди людей // Живым и страстным притворяться» («Кактяжко мертвецу среди людей...»). Духовная смерть передаётся на уровне мироотношения и самочувствия героя: «Был в чаду, не чуя чада, // Утешался мукой ада» («Всё свершилось по писаньям...»); «Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость! // Ну, разве не смешно?» («Весь день, как день: трудов исполнен малых...»). О крайней степени падения, как правило, свидетельствуют поступки героя.

Среди них особое место занимают богохульство, богоборчество. Последнее качество чаще всего иллюстрируют циклом «Возмездие». Так, в комментариях к нему НЛощинская и СЯсенский утверждают, что в «стихах этого периода нарастает настроение богоборчества, происходит явный перенос вины за всё «зло мира», содеянное человеком, на Творца» (Лощинская Н., Ясенский С. Возмездие // Блок А. Стихотворения: В 3 кн. – Кн. 3 – СПб., 1994). С данным утверждением трудно согласиться, ибо подобные мотивы возникают только в трёх стихотворениях из семнадцати. Более того, в произведении «Забывшие тебя» наличие самого мотива вызывает сомнение. То есть строки «Когда вокруг сжимались кулаки, // Грозящие громам» я воспринимаю как проявление не богоборчества, а недовольства природной стихией, о которой, в частности, говорится: «Навстречу нам шли грозные тучи, // Их молний сноп дробил».

Подход Н. Лощинской и С. Ясенского («В «громах» и «молниях» является Бог на горе Синайской сынам Израиля на пути их в землю обетованную») полностью перечёркивается последней строфой, в которой выражен авторский взгляд на проблему: Напрасный жар. Напрасные скитанья. Мечтали мы, мечтанья разлюбя. Так – суждена безрадостность мечтанья Забывшему Тебя.

Иной, действительно богоборческий пафос проявляется в стихотворениях «На смерть младенца», «Мой бедный, мой далёкий друг!..». Уже в самом названии стихотворения «На смерть младенца» указывается на событие, вызвавшее у героя богонеприятие. Внешне он – смилившийся Родион Раскольников, красногвардеец из «Двенадцати», поборовший в себе «чёрную злобу». Показательно, что описанию злобы, которая через восемь лет в поэме будет названа «святой», отводится почти треть объёма произведения.

Однако смирение героя, его победа над злобой и тоской временна. Смирение несёт в себе зёрна нового бунта, новой злобы. Свобода от Христа – вот к чему приходит герой, вот та философия, которая с социальными коррективами прорастает в «Двенадцати», а до поэмы с постоянной периодичностью проявляется в творчестве А.Блока, в стихотворении «Мой бедный, мой далёкий друг...», в частности.

Оно проникнуто пафосом, прямо противоположным пафосу стихотворения «Забывшие Тебя». Если в произведении 1908 года «недуг» объясняется забывчивостью, отказом людей от Христа, то в стихотворении 1912 года диагноз боли, тоски, отчаяния – «извечно лгущие уста» Всевышнего.

С учётом сказанного, возмездие, главная идея цикла, видится как наказание человеку за его соличность Богу.

Своеобразное видение любви, веры во многом определило и отношение к Родине. В ранних произведениях: «Медленно в двери церковные...» (1901), «Я долго ждал – ты вышла поздно...» (1902), «Сгушался мрак церковного порога...» (1902), «Кто плачет здесь? На

мирные ступени...» (1902), «Кто-то с Богом шепчется...» (1902), «Люблю высокие соборы...» (1902), «Я - меч, заострённый с обеих сторон...» (1903) и некоторых других - проявляется христианский или близкий к христианскому взгляд на человека и Россию. В них есть понимание сути веры, роли Церкви, религиозное чувство и поведение: «Здесь места нет победе жалких тлений, // Здесь всё - любовь» («Кто плачет здесь? На мирные ступени...»); «Люблю высокие соборы, // Душой смиряясь, посещать» («Люблю высокие соборы...»); «Здесь - смиренномудрия // Я кладу обеты» («Кто-то с Богом шепчется...») и т.д. Даже в тех случаях, когда герой не понимает церковно-монастырскую жизнь, как в стихотворении «Брожу в стенах монастыря...» (1902), он способен подняться над своим отношением, своими поверхностными оценками («Заря бледна и ночь долга, // Как ряд заутрен и обеден») и сменить приговор этой жизни на христианское самоосуждение: «Ах, сам я бледен, как снега, // В упорной думе сердцем беден».

Однако в восприятии России стал определяющим иной подход. Уже в раннем творчестве А.Блока наметилась чёткая тенденция постижения Бога через разные проявления Вечной Девы: «Я в лучах твоей туманности // Понял юного Христа» («Ты была светла до странности...»). Этот процесс имел и такое направление, когда место Вечной Девы занимала девка, а мир небесный и мир земной, Родина познавались, характеризовались через неё. Данная тенденция проявилась, в частности, в «Осенней воле» - этапном произведении, интересном в нескольких отношениях.

Как утверждает Г.Федотов в статье «На поле Куликовом», в стихотворении «впервые Русь, родина - «ты», живая, хотя совсем не святая - мать ли, жена ли, любовница?» («Литературная учёба», 1989, №4). Думается, ответ на вопрос, поставленный философом, содержится в третьей строфе: «И вдали, вдали призывно машет // Твой узорный, твой цветной рукав». «Узорный», «цветной» в контексте «Осенней воли» и всего творчества являются опознавательными знаками явно не матери и не жены: третье ключевое слово «призывно», стоящее в ряду с «Русью пьяной», «кабаком», молодостью, погубленной в хмелю, прочитывается как «зазывно», что вносит необходимую ясность.

Так происходит присущее лирике А.Блока смешение России с любовницей, «Кармен». Поэтому нет никаких оснований рассматривать «Осеннюю волю» с позиций «подключения» к народной традиции, о которой говорил сам писатель в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» и на которую указывают некоторые авторы.

Осенняя воля созвучна состоянию души героя. Более того, воля эта выражает и сущность Родины, она - то общее, что соединяет героя и отчизну. А.Блок учитывает следующее: осенняя воля может восприниматься как неволя. Отсюда зримый и незримый диалог с предполагаемым оппонентом, в результате чего, в частности, возникает вопрос: «Кто взманил меня на путь знакомый?» Ответ и монолог героя свидетельствуют, что избранный путь - добровольный и закономерный. Он, в конце концов, - возможность познания Родины, обретения себя через неё, условие личного существования, что наиболее отчётливо выражено в заключительных строках: Приюти ты в долах необъятных! Как и жить и плакать без тебя!

Нельзя не отметить, что традиционному восприятию России на уровне природы («Над печалью нив твоих заплачу, // Твой простор навеки полюблю...») нет равнозначного эквивалента на уровне человека, ибо Родина представлена «Кармен» и «Русью пьяной».

В стихотворении «Русь» (1906) через природно-мифологические образы сфокусированно выражено пантеистическое, языческое, дохристианское видение Родины, характерное для большинства произведений 1904-1905 годов, входящих в цикл «Пузыри земли». Несмотря на то, что в «Руси» акцентировано заявлено «Твоей одежды не коснусь», но только «одежды» России касается поэт. Реки, дебри, болота, журавли, колдуны, ворожеи, ведьмы, черти и т.д. - это только внешние «атрибуты» Родины, а её сущность в очередной раз остаётся «тайной».

Качественно новое наполнение мотивы «Осенней воли» и «Руси» получили в «Осенней любви» (1907). В первой части стихотворения и синтаксическая фигура (параллелизм), и перекрёстная рифма второй и четвёртой строки (гроздь - гвоздь) призваны подчеркнуть мысль об однотипности, однородности, однокачественности двух миров - природного (осенняя алость - то есть кровавость - рябины) и человеческого (крестная смерть героя). В результате возникает вопрос, ответ на который либо отсутствует, либо вызывает сомнения: «И челн твой - будет ли причален // К моей распаятой высоте?» Важно подчеркнуть, что таким образом

проверяется и сама высота. При этом ясно: речь идёт не о конкретном месте распятия, а о духовном мире человека, его соотносённости с миром Христа.

Проблема, увеличивающая масштаб переживаний героя и возвращающая его личность в прежние координаты, – это судьба России. Из слов: «Христос! Родной простор печален! // Изнемогаю на кресте!» – с редкой для А.Блока очевидностью следует, что страдания героя вызваны прежде всего печалью родного простора. Так происходит наполнение и качественное развитие идеи, заложенной в параллелизме первой строфы.

Вторая часть стихотворения построена на сопоставлении состояния осенней природы с переживаниями героя. Природа, выступающая сначала как первопричина настроения и мироощущения героя, с пятой строфы становится их камертоном. Образ «бывалое солнце» – символ зрелости, старости, увядающей жизни – вызывает возрастающую жалость, однако трудно сказать однозначно о качестве этой печали, грусти, боли. Не случайно данная часть стихотворения заканчивается образом, одним из самых трогательно- трагических, многослойных в лирике А.Блока: О глупое сердце, Смеющийся мальчик, Когда перестанешь ты биться?

Логика осени, принятая героем как непререкаемая истина, в третьей части произведения переворачивает традиционные представления о человеческих отношениях и мире вообще. Мужчина и женщина характеризуются с хорошо знакомых позиций страсти. О сущности их отношений, «любви» сказано вполне определённо: И, верная тёмному раю, Ты будешь мне светлой звездой!

Таким образом, при помощи оксюморона «тёмный рай» подчёркивается греховность женщины. Это качество героини не влияет отрицательно на отношение к ней мужчины. Наоборот, он воздвигает возлюбленную на звёздный пьедестал и, осознанно или нет, на место Бога, что воспринимается как устойчивая традиция в творчестве поэта.

Итак, у А.Блока «осенняя любовь» – пролог к грехопадению – принципиально иная, чем, например, у С.Есенина, в поздней лирике которого «осенняя любовь» – это любовь-прощение и прощание, благословение.

Конечно, можно привести образчик иного, «весеннего» отношения к миру: «О, весна без конца и без краю...» (1907) – первое и наиболее известное стихотворение из цикла «Заклятие огнём и мраком».

Это произведение пронизано сквозной идеей прития жизни. И как часто бывает у поэта, взяты преимущественно крайние, противоположные её проявления: неудача – удача, плач – смех, веси – города, «осветлённый простор поднебесий» – «томление рабских трудов». В пятой строфе происходит не мотивированная текстом, но типично блоковская контаминация: И встречаю тебя у порога – С буйным ветром в змеиных кудрях, С неразгаданным именем Бога На холодных и сжатых губах...

Генетически героиня «О, весна без конца и без краю...» – родная сестра женщины из предыдущих и последующих произведений: кудри и вариации на тему «змеи» стали общим местом в лирике поэта. Однако «неразгаданное имя Бога» выглядит не только неожиданным, но и кощунственным «штрихом» в данном контексте, одновременно вполне традиционным в творчестве А.Блока. Вызывает недоумение и сама неразгаданность, допускающая разнообразие интерпретации.

Отношения героев, мужчины и женщины, также антиномичны, как антиномичен мир. Звеном, соединяющим их, при всех, казалось бы, разъединяющих с обеих сторон символических «никогда» («Никогда я не брошу счита... // Никогда не откроешь ты плечи...»), является «хмельная мечта», мечта, которая в контексте первой строфы прочитывается как «весна», «жизнь». Поэтому последние строки воспринимаются как возвращение к идее прития происходящего через притие ненавидимой и любимой женщины.

Становится очевидным, что вариант «весенней» любви по сути совпадает с «осенней», совпадает через неизбежное грехопадение, гибель обезбоженной личности. А из всего цикла

(из таких, в частности, стихотворений, как «Приявший мир, как звонкий дар...», «Перехожу от казни к казни...», «О, что мне закатный румянец...») следует: нет никакой принципиальной разницы между «весенней», «осенней», «зимней» любовью к женщине и Россией. Её определяющая - безграничная воля - творчески несостоятельна, поэтому говорить о любви в традиционно-православном понимании нет никаких оснований.

Итак, сказанное и не сказанное дают основание не согласиться с блоковской версией о «трилогии вочеловечивания». В своей лирике поэт выразил больше и прежде всего апостасийность человека и времени. Через героя, эгоцентрическую личность, Блок утверждал идеи духовно-нравственного релятивизма, либо возводил (вольно или невольно) пороки, греховную страсть и т.д. в идеал, либо поклонялся человекобogu.. В других случаях через амбивалентный (преимущественно) и православный (редко) типы личности поэт транслировал принципиально иное отношение к болезням обезбоженного человека, оставался верен традициям русской литературы.

Тема Родины в лирике Александра Блока

Тема Родины в лирике *Блока* 1901-1907 годов развивается в разных направлениях, чаще параллельных, нежели пересекающихся. Все они по-разному проявляются в разделе «Родина», куда вошло 27 стихотворений 1907-1916 годов. Важнейшую роль в нём играет цикл «На поле Куликовом» (1908).

Известную битву А.Блок рассматривает как событие символическое, главный смысл которого раскрывается через два многозначных образных ряда, являющих собой противоположные жизненные начала. Все пять стихотворений пронизывает начало светлое, святое, божественное: «святое знамя», «светлый стяг», «за святое дело», «светлая жена», «в одежде, свет струящей», «светел навсегда», «светлые мысли», «озарим кострами», «что княжна фатой» и т.д. Ему противостоит начало тёмное, ночное, зловещее: «тучей чёрной двинулась орда», «сожжённые тёмным огнём», «и даже мглы - ночной и зарубежной», «пусть ночь», «в ночь, когда Мамай», «перед Доном тёмным и зловещим» и т.д.

Данные образные ряды - своеобразная ось координат всего цикла. Лирический герой, Русь находятся на пересечении этих начал, стихий. Отсюда и борьба на разных уровнях: военно-национальном и личностном, борьба со злом во вне и в себе, борьба с переменным успехом:

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами Степную даль.

(«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...») Вздыхаются светлые мысли В растерзанном сердце моём, И падают светлые мысли, Сожжённые тёмным огнём.

(«Опять с вековой тоскою...»)

Однако наличие противоположных начал в цикле, антитеза, используемая в качестве основного художественного приёма, не свидетельствуют о двойничестве этих начал, что присуще творчеству символистов. «На поле Куликовом» отличает христианская иерархичность, подчинённость системы образов, ценностной шкалы источнику света - Богу (отсюда та неслучайная символика, о которой шла речь). К Творцу по-разному обращены мысли героев в наиболее критические минуты:

Чтоб не даром биться с татарвою, За святое дело мёртвым лечь!

(«Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...») Теперь твой час настал. - Молись!

(«Опять на поле Куликовом...»)

Божественное начало, наличествующее во всех пяти стихотворениях, как начало ценностное и структурно определяющее, ни разу не подвергается сомнению, тем более дискредитации, как было до июня 1908 года и после него неоднократно.

Этот цикл не столь характерен для творчества поэта и отношением к другому бессознательному чувству - тоске. Она, один из ключевых образов в лирике А.Блока, - порождение двух стихий: природной и человеческой («Река раскинулась. // Течёт, грустит лениво...»). Природная тоска-грусть существует как данность, как прародина русского человека.

К этой тоске своеобразно привито азиатское начало: «Наш путь - стрелой татарской древней воли // Пронзил нам грудь». И как результат - беспредельность, безбрежность, вечность русской тоски.

В данном контексте стало традицией приводить слова А.Пушкина «На свете счастья нет, но есть покой и воля» как выражение идеала, предваряющего блоковскую тоску-волю. Думаю, почва для подобных утверждений отсутствует. В плане продолжения отрывка «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» А.Пушкиным вполне определённо сказано: «О, скоро ли перенесу мои пенаты в деревню, - поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические - семья, любовь etc. - религия, смерть» (Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т. 3 - М., 1957). То есть данный идеал никак не совпадает с азиатским из «На поле Куликовом»: воля у Пушкина «привязана» к основным «культам», лежащим в основе традиционного национального мировосприятия, - земли, семьи, народа, религии, смерти.

Отношение Блока к азиатскому пути, к тоске-воле принято трактовать как неосознанное, противоречивое. Такой подход порождён прежде всего констатирующими характеристиками цикла, не выражающими авторских оценок В четвёртом стихотворении, где позиция поэта обнажена, о влиянии татарской воли - на уровне отдельного человека и уровне вечном - сказано следующее: «Развязаны дикие страсти // Под игом ущербной луны»; «И падают светлые мысли, // Сожжённые тёмным огнём». Понятно, что влияние это положительным не назовёшь.

Показателен выход, предлагаемый в данной ситуации: Явись, моё дивное диво! Быть светлым меня научи!

На первый взгляд, «дивное диво» - это не тютчевское: «Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!...» («Наш век»). Однако если «дивное диво» возьмём в контексте «светлого» образного ряда цикла, заканчивающегося итоговой мыслью пятого стихотворения: «Теперь твой час настал. - Молись!», - то станет ясно: перед нами редкий случай, когда позиции А.Блока и Ф.Тютчева совпадают.

Конечно, нельзя не заметить: то, что у Ф.Тютчева существует как естество, у А.Блока - труднейшее волевое решение, у которого на уровне чувства и мысли есть серьёзный противовес. Это обуславливает дальнейшее развитие темы Родины в творчестве поэта. Христианская вертикаль в той или иной степени определила направленность стихотворений «Там неба осветлённый край...» (1910), «Сны» (1912), «Я не предал белое знамя...» (1914), «Рождённые в года глухие...» (1914), «Дикий ветер» (1916). Азиатская вертикаль, завершающаяся «Двенадцатью» и «Скифами», породила произведения, ставшие знаковыми.

В стихотворении «Россия» (1908) можно выделить три равнозначных части. В первой задаётся тон в изображении Родины, который станет преобладающим, часто единственным в последующих произведениях цикла: «И вязнут спицы росписные // В расхлябанные колеи», «нищая Россия», «избы серые». Здесь же звучит тонкая лирическая нота («Твои мне песни ветровые, // Как слёзы первые любви»), которую трудно оценить однозначно, ибо такое отношение героя к отчизне соседствует с признанием: «Тебя жалеть я не умею...». Если это любовь, то не традиционно-русская, где жалость и любовь - чувства, по крайней мере, одного корня.

Во второй части появляются прямые характеристики России: «разбойная краса», «прекрасные черты». Возникает вопрос: такое соседство, такой знаменательный ряд - это случайность или закономерность? Оксюморонное словосочетание «разбойная краса» даёт основание предположить, что данный ряд - закономерность.

Здесь же содержится и объяснение неумению жалеть: «Не пропадёшь, не сгинешь ты...». Вера Блока держится на двух «китах», первый из которых - «мгновенный взор из-под платка». С большой долей точности можно предположить, что речь идёт о зоре, ввергающем в водоворот плотских страстей.

Вторая составляющая веры героя-автора - «глухая песня ямщика», звенящая «тоской острожной». Понятно, что ключевой является последняя часть образа, порождённая известной «левой» традицией, подразумевающей в этой тоске «освободительный» пафос. Таким образом, Блок, игнорируя сущность России, создаёт миф, который по-разному реализуется в

«Кармен», «Двенадцати», «Скифах» и других произведениях, в частности, в стихотворении «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910).

Уже в первой строфе разбойно-острожный мотив получает естественное, только теперь государственное продолжение: Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!

О сущности русской государственности в таком контексте гадать не приходится...

Тема любви к Родине в этом стихотворении обретает новое и неожиданное звучание:

Эх, не пора ль разлучиться, раскаться... Вольному сердцу на что твоя тьма?

Позиция героя - это позиция человека, не только вынужденно мающегося с Россией, в силу обстоятельств живущего на Родине и подумывающего о разлуке с ней, но и выступающего по отношению к отчизне в роли судьи.

Используя кольцевую композицию, А.Блок вводит в первую и последнюю строфы антитезы (вольные сердце и дух героя противопоставляются тьме и сонному мареву России), которые предопределяют и объясняют суровый приговор отчизне во второй строфе.

Начало её: «Знала ли что? Или в Бога ты верила? // Что там услышишь из песен твоих?» - это риторические вопросы, усугубляющие беспросветность оценок, в том числе, скрытым сарказмом. Беспросветность усиливают и строчки, где даются прямые характеристики России: «Чудь начудила, да Меря намерила // Гатей, дорог, да столбов верстовых», - и строфа, построенная по принципу дискредитации, перечёркивания сделанного:

Лодки да грады по рекам рубила ты, Но до Царьградских святынь не дошла... Соколов, лебедей в степь распустила ты - Кинулась из степи чёрная мгла...

Среди образов, иллюстрирующих в той или иной степени авторское видение истории, отметим «двойнический», предвещающий «Скифы»: «красное зарево» - «сонное марево».

Стихотворение «Новая Америка» (1913) представляет интерес прежде всего тем, что содержит редчайшее принципиальное признание: «Твоего мне не видно лица», - отчасти объясняющее позицию автора в «Руси», «России» и других названных и неназванных произведениях. Природно-антуражное восприятие страны («за снегами, лесами, степями») мешает понять главное - суть, дух России; то, что в стихотворении названо «лицом». И если вопрос второй строфы: «Только ль страшный простор пред очами, // Непонятная ширь без конца?» - несёт в себе внутреннюю неудовлетворённость таким эмоционально-пространственным видением России, то последовавшее затем объяснение помогает понять, почему недоступно «лицо» Родины.

Недоступно, в первую очередь, потому, что нет веры в Россию православную, в Русь «богомольную». В «Новой Америке», «Грешить бесстыдно, непробудно...» и некоторых других стихотворениях в разъятом виде уже представлен образ «Святой Руси» из «Двенадцати» - «кондовой, избяной, толстозадой». И ясно одно, что в отношении к ней автор солидарен с двенадцатью красногвардейцами. Правда, пока речь не идёт о том, чтобы «пальнуть» в «Святую Русь».

В «Новой Америке» Блок-двоемирец вновь одномерен, однолинеен. Через «атрибуты» веры: «глас молитвенный», «звон колокольный», «кресты» - герою видится иное, являющееся для него определяющим, на что лишь «намёкнуто»:

Нет, не старческий лик и не постный Под московским платочком цветным! <...>
Шепотливые, тихие речи, Запылавшие щёки твои...

Так реализуется постоянное желание видеть в России Кармен, готовность верить в Россию-Кармен.

Постоянство проявляется и в другом: у Н.Некрасова (чьё восприятие отчизны было явно созвучно поэту) Русь, как общеизвестно, «и убогая, и обильная...», у А.Блока же в «Новой Америке» - лишь «убогая финская...». Этот «левый» дальтонизм - способность видеть только

одну сторону многогранного явления - встречается в творчестве писателя неоднократно: в «России», «Осеннем дне», «Возмездии», «Двенадцати» и других произведениях.

Е.Эткинд, комментируя статью поэта «Без божества, без вдохновенья», задаёт вопрос: «Откуда у Блока такой - свирепо-прорабо- точный слог?». И чуть позже сам на него отвечает, ссылаясь на свидетельства мемуариста и биографа о психическом заболевании поэта, которое сопровождалось «беспричинными вспышками бешенства» (Эткинд Е. Кризис символизма и акмеизма // Эткинд Е. Там, внутри. О русской поэзии XX века. - СПб., 1995).

Примечательно, что однобокие характеристики России, пере- иначивание её духовной сущности не вызвали ни у одного известного блоковеда возражений. Более того, многие, как Г.Федотов, «хотели обогатить через Блока <...> знание о России» (Федотов Г. На поле Куликовом // «Литературная учёба», 1989, № 4). Вот, например, как с помощью поэта «обогатился» В.Орлов, всю свою жизнь посвятивший изучению его творчества: «Это - та историческая, «византийская» Россия, что называется святой на языке Катковых и Леонтьевых, Победоносцевых и Столыпиных, Меньшиковых и Пуриш- кевичей, «страна рабов, страна господ», где всё казалось раз и навсегда поставленным на место: бог на иконе, царь на троне, поп на амвоне, помещик на земле, толстосум на фабрике, урядник на посту. Здесь трясли жирным брюхом и берегли добро, судили и засуживали, мздоимствовали и опаивали водкой, насиловали и пороли, а в гимназиях учили, что Пушкин обожал царя и почитал начальство» (Орлов В. Гамаюн. - М., 1981).

Я не ставлю под сомнение наличие в действительности блоков- ской России, но сомневаюсь в продуктивности такого взгляда, такого художественного метода. О возможности и необходимости иного подхода справедливо писал и сам поэт в октябре 1911 года: «Нам опять нужна вся душа, всё житейское, весь человек.. Возвратимся к психологии... Назад, к душе, не только к «человеку», но и ко всему человеку - с духом, душой и телом, с житейским - трижды так» (БлокА).

Дневник. - М., 1989). К сожалению, этот принцип применительно к России чаще всего не соблюдается Блоком: в его зрелой лирике дух, душа отчизны практически отсутствует.

У Н.Некрасова (который, по общепринятому и справедливому мнению, был созвучен поэту в понимании многих вопросов) в гениальном стихотворении «Тишина» есть строки, передающие состояние души, явно недоступное А.Блоку, автору третьего тома лирики:

Войди! Христос положит руки И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки И язвы с совести больной... Я внял... я детски умилился... И долго я рыдал и бился О плиты старые челом, Чтобы простил, чтоб заступился.

В стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно...» (1914) А.Блок в изображении Родины идёт по наезженной колее, на которой он печально предсказуем (вновь отчизна предстаёт в виде «тёмного царства»). Удивление вызывает то, что поэт психологически неубедительно соединяет в лирическом герое два несовместимых человеческих типа.

Социальная ограниченность авторского видения человека и России проявляется в данном случае со всей очевидностью. Так, герой - представитель «тёмного царства» - лишён А.Блоком каких- либо здоровых начал. Если он и совершает благое деяние (жертвует деньги на храм), то тут же поэт это деяние перечёркивает: «А во- ротясь домой, обмерить // На тот же грош кого-нибудь». Схематизм, однобокость в изображении жизни здесь и далее в тексте проявляется в предельной степени: И под лампадой у иконы Пить чай, отщёлкивая счёт, Потом переслунить купоны, Пузатый отворив комод, И на перины пуховые В тяжёлом завалиться сне...

Подобные стереотипы в изображении «старой» России найдут своё отражение в «Двенадцати», «Интеллигенции и революции».

Однако в первой части стихотворения повествуется, думается, не о «Диких», а об их судьях - интеллигентах, ибо «пройти сторонкой в Божий храм», «Тайком к заплёванному полу // Горячим прикоснуться лбом» - это поведение человека, оторванного от религиозно-национальных корней. Плохо также стыкуются факты из двух частей, условно говоря, «интеллигентской» и «мещанской»: с одной стороны, «счёт потерять ночам и дням», «голова

Тема Родины в лирике Александра Блока

от хмеля трудная», с другой - пусть и с сарказмом, но речь идёт всё же о работе. То есть для того, чтобы появились «переслюнявленные купоны», нужно трудиться.

Именно это соединение боли, жалости, любви к Родине и непонимание, неприятие её сути, духовного предназначения определило пафос «Коршуна» (1916) - стихотворения, завершающего раздел «Родина». Материнскому завету «крест неси» Блок придаёт негативный смысл. Поэтому ответ на вопрос, венчающий произведение, не вызывает у него сомнений: избавление человека, России от несчастий, «коршуна» возможно лишь на пути непокорства, пере- ступления через крест.

Когда это вскоре произошло, Блок, как следует из всего сказанного, был уже готов воскликнуть: «Чёрная злоба, святая злоба», «Эх, эх, без креста...».

1997

А.Блок как непоследовательный интеллигент, или Комментарий к поэме «Возмездие»

В предисловии к поэме «Возмездие», написанной в 1919 году, **А.Блок** так формулирует идею своего произведения: «...Род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 3 - М. - Л., 1960). Эта концепция взаимодействия родовой личности и истории прямо противоположна той, которая была популярна у писателей «левой» ориентации в начале XX века и которая получила своё воплощение, например, в романах М.Горького «Дело Артамоновых» и Т.Манна «Будденброки». В данных произведениях представители третьего поколения родов - это люди, не способные и не желающие продолжать «дело» рода, влиять на окружающих, время. Они - бездеятельные выродки. У Блока, как явствует из замысла поэмы, внук деда-«демона» - деятельный выродок, революционер.

Автор «Возмездия» признавался, что из рода Блоков он выродился. И это действительно так. О вырождении поэта свидетельствуют разные факты, явления кровно-родственно-духовно-художественного уровня. О некоторых из них и пойдёт речь.

Вырождение Блока - это во многом результат интеллигентства поэта. О нём Блок говорил не раз, относя себя к представителям определённой группы людей, к части целого, которое обусловлено происхождением, кровью. В письме к В.Розанову от 17 февраля 1909 года поэт называет себя гуманистом и показательно уточняет: «...Как говорят теперь, - «интеллигент» (Блок А. Письма // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 8. - М. - Л., 1963). Именно по характеру отношения к человеку Блок выделяет враждебную ему и интеллигентам-гуманистам группу писателей, мыслителей, политиков, простых людей, с которой компромисс невозможен. Эта группа, созвучная по взглядам его деду, дяде, брату, отцу, сестре Ангелине, в дневниках, записных книжках, письмах именуется по-разному, чаще всего - «правые», «нововременцы». К ним поэт относил Ф.Достоевского, К.Победоносцева, А.Суворина, М.Меньшикова, Д.Менделеева, В.Розанова и других достойных сынов России.

На протяжении жизни у Блока неоднократно менялись взгляды на многое и многих, но отношение к «правым», «Новому времени» оставалось неизменным - резко отрицательным. И в этом своём постоянстве, поэт был интеллигентом до кончиков ногтей. Приведу некоторые примеры проявления данного чувства.

Из дневниковых размышлений о судьбе Ивана Менделеева следует, что «нововременцы», «Меньшиков и К°» - подлецы (Блок А. Дневник. - М., 1989). В подобном ключе выдержаны многие высказывания Блока о «правых». Даже смерть Д.Менделеева, тестя поэта, не повлияла на запись, сделанную в год работы над «Возмездием»: «<...> Учёный помер с лукавыми правыми воззрениями» (Там же). Своеобразным и логическим завершением длинной серии оценок, замешенных на нелюбви, является запись от 29 августа 1917 года, из которой следует: Блок поверил в будущее Временного правительства после того, как оно закрыло «Новое время». Однако поэт-гуманист в своей злобе, в своих желаниях идёт дальше: «Я бы выслал ещё всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара» (Там же).

Блока и ранее буквально «клинило» на «правых», «черносотенцах», он был готов приписать им любые злодеяния без каких-либо оснований. Так, в 1907 году он сообщает: «Было, кажется, покушение на Леонида Андреева» - и по интеллигентскому трафарету предполагает: «очевидно - Союза русского народа» (БлокА. Письма к жене //Литературное наследство. - Т. 89- - М., 1978). Сообщение не подтвердилось, но для Блока это уже не имело никакого значения.

Правда, он хотя бы не идёт дальше в своих предположениях, как В.Белинский в подобной ситуации. Тот, узнав, что пропала рукопись «Мёртвых душ», заключает, что украл М.Погодин. Когда же рукопись нашлась, «главный» интеллигент страны «гуманно» рассудил: «...Да всё равно: не теперь, так когда-нибудь украдёт» (Белинский В. Письма 1829 -1849 годов // Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. - Т. 9.-М., 1982).

И в жизни, и в поэме интеллигентство Блока проявилось по отношению к отцу. Конечно, у Александра Александровича, выросшего среди женщин, были причины для обид на Александра Львовича. Они перенесены в «Возмездие», где общение ребёнка с отцом изображается как тяготящее мальчика времяпрепровождение. Неприглядный образ родителя не спасает и следующее свидетельство: И только добрый лстивый взор, Бывало, упал на сына, странно загадкой Врываясь в нудный разговор...

Отец реальный, не герой поэмы, любил сына, пытался быть в курсе его дел, творчества и сильно обиделся, когда его не пригласили на свадьбу. АБлок, принявший от Александра Львовича в качестве свадебного подарка немалую сумму денег, зло иронизировал по этому поводу.

Сей факт, как и другие, - свидетельство того, что 22-летний поэт так и не захотел понять своего отца, не сумел полюбить его. Позже, в 1908 году, в статье «Ирония» АБлок совершенно точно определил явление, которое чётко обозначилось на рубеже веков, а доминирующим стало в творчестве писателей «одесской школы» и всех русскоязычных постмодернистов, а также других творческих импотентов конца XX - начала XXI столетий. Блок называет иронию болезнью, которая сродни душевным недугам, и определяет её суть: «...Причины изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается - буйством и кощунством» (БлокА. Проза 1903-1917 // БлокА. Собр. соч.: В 8 т.-Т. 5.-М.-Л., 1962).

Для поэта был неприемлем сам принцип, определяющий направленность творчества декадентов, ибо предметом осмеяния становятся все и всё: «Перед лицом проклятой иронии - всё равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Всё смешано, как в кабаке и мгле» (БлокА. Проза 1903-1917 // БлокА. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 5. - М. - Л., 1962). Естественно, Блок не раз (и мягко, и резко) реагировал на «хихикающих», чувствуя свою духовную и культурную несовместимость с ними. Так, в дневнике от 17 октября 1912 года он писал: «Хотели купить «Шиповник» <...>, но слишком он пропитан своим, дымовско-аверченко- жидовским - юмористическим» (БлокА. Дневник - М., 1989).

Однако с отцом и в жизни, и в поэме «Возмездие» Блок поступает как хихикающе-жидовствующий. Если не как выродок, то вырождающаяся личность.

Смерть Александра Львовича, казалось бы, заставила сына посмотреть на него по-новому. Встречи с учениками, людьми, близко знавшими отца, его творческое наследие произвели на Блока сильное впечатление: «Всё свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры» (БлокА. Письма // БлокА. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 8. - М. - Л., 1963). Но «Возмездие» показало, что у Блока не хватило сил преодолеть прежние стереотипы восприятия отца, к тому же, на них накладывались стереотипы новые.

О реакции поэта на смерть отца в первой редакции «Возмездия» сказано исповедально-откровенно, от лица лирического героя: Да. Я любил отца в те дни Впервой и, может быть, в последний...

Смерть как источник краткосрочной сыновней любви - это оригинально и ущербно. Ущербность своего чувства Блок осознавал и, видимо, внутренне переживал из-за этого.

Отсюда его попытка объясниться в письме к ученику и биографу Александра Львовича Е.Спекторскому. Поэт называет «Возмездие» аполгией отца, берёт это слово в кавычки и далее поясняет: «...Которая, увы, покажется кому-нибудь осуждением (без этого не обойтись), но будет для меня аполгией» (Письма Блока к Е.В. Спекторскому // Литературное наследство. - Т. 92. - Кн. 2. - М., 1981).

Видимо, для того, чтобы частично снять явное сыновнее осуждение (антиномичная пара «осуждение - аполгия» отражает столкновение двух систем ценностей: традиционной и интеллигентски- вырожденческой), Блок в последнем варианте «Возмездия» меняет ракурс изображения: повествование ведётся от третьего лица, внешне - более отстранённо- нейтрально.

Именно на характер повествования в поэме при желании можно списать многое, однако личность автора проявляется во всём: от иронии и сравнений (подобных следующему: «шёл быстро, точно пёс голодный») до логики создания образа. Так, претерпела принципиальное изменение следующая строфа: Потом - от головы до ног Свинцом спаяли рёбра гроба (Чтоб он, воскреснув, встать не мог, - Покойный слыл за юдофоба).

Блок говорил о своих тайных связях с отцом, не называя их. Наиболее очевидна следующая связь: поэт, как и Александр Львович, слыл в кругах «левой» интеллигенции за юдофоба. Приведём характерное высказывание З.Гиппиус: «Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то всё же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя» (Гиппиус З. Забытая книга. - М., 1991). А «черносотенец», по той же устойчивой - ложной - традиции, означает юдофоб, погромщик и т.д.

В первом варианте Блок иронизирует над любителями подобных ярлыков, готовыми к решительным (в ветхозаветном духе) действиям. В окончательном варианте поэмы данная строфа претерпевает кардинальные изменения и выглядит так Потом на рёбра гроба лёг Свинец полоскою бесспорной (Чтоб он, воскреснув, встать не мог).

Как видим, юдофобская тема исчезает вообще, и в неприглядном свете изображаются хоронящие отца - чернь, выполняющая, с точки зрения героя-писателя-интеллигента, постылый погребальный обряд.

Можно было бы понять Блока, если бы еврейская тема вообще исчезла из поэмы в силу абсурдности самого обвинения. Однако она вновь возникает как свидетельство окончательной деградации отца:

Сей Фауст, когда-то радикальный, «Правел», слабел... и всё забыл, Ведь жизнь уже не жгла - чадила, И однозвучны стали в ней Слова: «свобода» и «еврей».

Эта строфа, имеющаяся в обоих вариантах «Возмездия», свидетельствует о том, что линия разрыва Блока с Александром Львовичем проходит не только через сыновье-отцовские отношения, но и по идейному полю, «левому» - «правому» рубежу его. В результате «правая» составляющая личности отца получила поэзное «свобо- до-еврейское» воплощение.

В данном случае Блок поступает как типичный интеллигент: облыжно использует еврейский вопрос для дискредитации чуждых ему политических взглядов. Этой традиции поэт следует и в дневнике, изображая, например, шурина: «<...> Сидит Ваня, который злобно улыбается при одном почтенном имени Гершензона (действительно скверное имя, но чем виноват трудолюбивый и любящий настоящее исследователь, что он родился жидом?)» (Блок А. Дневник-М., 1989).

Однако сия традиция Блоком же и нарушается, что свидетельствует о его непоследовательном интеллигентстве. Менее чем через год после дневникового «бичевания» Ивана Менделеева поэт мыслит подобно ему: «Приглашение читать в Ярославль - от какого-то еврея (судя по фамилии). Уже потому я откажусь» (Там же). В дневнике 1917 года Блок выносит происходящему, по сути, отцовский вердикт, только вместо слова «свобода» чаще всего употребляет «революция», а вместо «еврей» - «жид».

Показательно, что не вошли в поэму и строки: Где полновластны, вездесущи Лишь офицер, жандарм - и жид.

Такое видение времени явно не вписывалось и не вписывается в интеллигентские стереотипы, оно роднит Блока с «Новым временем», которое поэт называл «помойной ямой», роднит с «отъявленными» черносотенцами: Ф. Достоевским, В. Розановым, М. Меньшиковым - с теми, от кого он постоянно отрекся и кого резко характеризовал (не буду приводить грубую интеллигентскую брань «певца Прекрасной Дамы»),

Можно, конечно, предположить: такая чистка первого варианта «Возмездия» - дело рук внутреннего цензора поэта. Блок прекрасно знал «кулисы русской журналистики» и испытал их действие на себе. Поясню. В дневнике от 25 марта 1913 года поэт воспроизводит «удивительную историю», рассказанную Ивановым-Разумником: «В «Заветы» прислан еврей из Парижа и откровенно заявлял, что «Натансон» и еврейские банкиры не станут субсидировать «Заветы», пока в редакции не будет хоть один еврей и пока еврейские интересы не будут представлены надлежащим образом; пусть погибнут «Заветы», говорил он, мы сделаем толстый журнал из «Северных записок» (Блок А. Дневник - М., 1989). И далее Блок подводит многозначительный итог: «Таковы кулисы русской журналистики, я думаю, что всей», - а также воспроизводит реакцию Ремизова: «Страшновато» (Там же).

Конечно, могут возразить: мало ли что рассказал-насочинял Разумник. Однако и сам Блок (и многие другие - о них не буду) не раз сталкивался с ситуацией, которую нормальной не назовёшь и которая подтверждает невыдуманность истории. Приведу некоторые примеры: «Тираж «Русского слова» - 2 2400... Вся московская редакция - русская (единственный в России случай: не только «Речь», но и «Россия», и «Правительственный вестник», и «Русское знамя» - не обходятся без евреев); «Более русскую «Нашу жизнь» <...> совсем заменила жидовская газета «Речь»; «Весной 1909 года <...> она (пьеса Блока «Песнь судьбы». - Ю.П.) была погребена в IX альманахе «Шиповника» под музыку выговоров Копельмана за жидовский вопрос» (Блок А. Дневник - М., 1989).

Итак, вряд ли Блок испугался «кулис русской журналистики», вероятнее, на его решение повлияло то, что определило обрезание другой сюжетной линии. В плане поэмы пунктирно обозначен такой вариант разрыва с семьёй, вырождения личности: «Еврейка. Неутомимость и тяжёлый плен страстей. Вино» (Блок А. Стихотворения и поэмы 1907-1921 годов // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 3 - М. -Л., 1960).

Еврейка, плен страстей, вино остались в жизни Блока, в первый вариант поэмы эта линия вошла лишь в урезанно-намёкнутом виде: Я помню: днём я был «поэт», А ночью> (призрак жизни вольной?), - Над чёрной Вислой - чёрный бред... Как скучно, холодно и больно!

Восстановим ночные «вольности» поэта в дни похорон отца для того, чтобы стала отчётливее видна роль сестры Ангелины. Итак, 6 января - «Напился»; 8 января - «Пьянство»; 9 января - «Не пошёл к обедне на кладбище из-за пьянства»; 10 января - «У польки»; 12 января - «Пил»; 14 января - «Шампанское. «Аквариум».

В первом варианте «Возмездия» роль Ангелины оценивается вполне адекватно. Она, духовно здоровая, православная, возвращает в жизнь поэта высокое, забытое и отринутое им: Лишь ты напоминала мне Своей волнующей тревогой О том, что мир - жилище Бога, О холоде и об огне.

Однако в последнюю редакцию эти строки не вошли, и причиной тому «правые» взгляды Ангелины, о чём, как о серьёзной болезни, не раз говорил Блок в дневниках, записных книжках, письмах и от чего хотел спасти сестру. В этом, как и в предыдущих случаях, идейно-идеологические разногласия оказываются для поэта важнее правды жизненной, родственно-человеческих привязанностей.

Естественно, что в данном «правом» контексте возникает имя К. Победоносцева. Удивительно-неудивительно то, что почти никто не поставил под сомнение точность изображения в «Возмездии» и этого выдающегося человека, и эпохи в целом. Визитной карточкой произведения в восприятии многих стали следующие строки: В те годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла: Победоносцев над Россией Простёр совиные крыла, И не было ни дня, ни ночи, А только - тень огромных крыл...

В трактовке этих строк исследователи в одних случаях, подобно И.Золотусскому (Золотусский И. Красота истины // Золотусский И. На лестнице у Раскольникова. - М., 2000), передают блоковское видение, не выражая своего отношения к нему; в других случаях авторы солидаризируются с поэтом и относят приведённый отрывок, как, например, КМочульский, к «величайшим созданиям поэта» (Мочульский К. АБлок А.Белый. В.Брюсов. - М., 1997).

В записных книжках и в поэме «Возмездие» К.Победоносцев характеризуется резко негативно, на что есть свои причины. Как следует из размышлений А.Блока о судьбе «правеющей» Ангелины, его волновало то влияние, которое оказывал этот человек, и мёртвый, на сестру и на тысячи ей подобных. Оказывал через книги, свои и чужие, им изданные. Именно поэтому К.Победоносцев - верный и мужественный защитник Престола и Церкви, идеолог русского государства - называется Блоком «старым дьяволом» (Блок А. Записные книжки 1901-1920. - М., 1965).

«Дьявольская» образность в дневнике и «совиная» образность «Возмездия» вырастают из идейно-духовной несовместимости поэта и обер-прокурора, что проиллюстрирую примерами. Пафос и система доказательств Победоносцева в статье «Великая ложь нашего времени» сводятся к тому, что идея народовластия - это миф. Блок же в эту идею свято верил. Победоносцев справедливо видит в самодержавии «единственный залог правды для России» и всячески противодействует идеям конституционной реформы, парламента и тому подобной либеральной диарее (Письма К.Победоносцева к Александру III // Победоносцев К. Великая ложь нашего времени. - М., 1993).

Претворение этих идей в жизнь грозит гибелью России, о чём Победоносцев неоднократно предупреждает Александра III и даёт, в частности, такую ёмкую, точную характеристику «интеллигентской» власти: «Либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе, вместе с началами безверия и материализма, провозглашает свободу, равенство и братство - там, где нет уже места ни свободе, ни равенству» (Победоносцев К. Великая ложь нашего времени. - М., 1993). Блок же видит в традиционной русской государственности и Церкви своих главных врагов, он воспринимает правление Романовых как 300-летнюю болезнь, Февральскую революцию - как праздник, чудо. Отсюда и утверждения, подобные следующему: «Для меня мыслима и приемлема будущая Россия как великая демократия...» (Блок А. Дневник. - М., 1989). Отсюда - ужас восприятия факта, сообщённого Дельмас: в июне 1917 юнкера вместе с офицерами в Николаевском училище пили за здоровье Царя.

Сие событие оценивается Блоком однозначно-красноречиво: «Ничтожная кучка хамья может провонять на всю Россию» (Там же). И в качестве альтернативы называются уже не либеральные демократы, а их духовные братья, тоже интеллигенты: «Отчего же после этого хулить большевиков <...>» (Там же).

С точки зрения Победоносцева, вера православная - то, на чём держится русский народ и его государство, а Церковь - место, где через дух христианской любви стираются сословные и общественные различия, где происходит народно-национальное единение перед лицом Бога. Победоносцев не идеализирует священников, рассматривает их как неотъемлемую часть народного организма: они «из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самих недостатках, с народом и стоят, и падают» (Победоносцев К. Великая ложь нашего времени. - М., 1993).

В падениях, в отличие от многих, Победоносцев винит не Церковь, а самих священников, церковную власть, скудость жизни и т.д. При этом он видит и примеры высокого, истинного служения Церкви, Богу и обращает на них внимание окружающих, в первую очередь, Александра III. Так, в письме от 21 марта 1887 года он сообщает Царю: «Недавно в глуши Тарасенского уезда Киевской губ., посреди тьмы невежества, пьянства, в среде, заражённой штундою, отыскались 3 молодых священника, неведомые своему начальству, в нужде и унижении работающие с утра до ночи над просвещением тёмной массы, - один из них, например, успел в 2 года искоренить штунду в своём приходе, - и эти люди, имея по 5-6 человек детей да ещё бедных родных на руках, должны существовать с семьёй на ка- кие-нибудь 200 рублей в год и истощаются в голоде и холоде» (Там же). Нужно быть, видимо, интеллигентом, чтобы не заметить выдающихся результатов подвижнической деятельности К.Победоносцева. Приведу лишь один пример. За время его «совиного», «бесшумного

сидения на троне» (слова Блока из плана к «Возмездию») число церковно-приходских школ увеличилось с 273 до 43696, а количество обучающихся в них выросло в 137 раз.

У Блока же в лирике и эпике, в статьях, дневниках, записных книжках, письмах Церковь и её служители характеризуются на одно продажно-торгашески-бездобродетельное лицо. Примеры - хорошо известны.

И даже тогда, когда начались гонения на Церковь, когда её иерархи и простые прихожане массово проявляли верность Христу, духовную стойкость, мужество, героизм, поэт всего этого светоносного в прихожанах не заметил, а преступления против Церкви поддержал («Интеллигенция и революция»).

Итог религиозных исканий Блока - статья 1918 года с говорящим названием «Исповедь язычника». Её отличают обезбоженность, заданность, бездоказательность, убогость мысли, что проявилось, в частности, в следующих суждениях: «русской Церкви больше нет», «храм стал «продолжением улицы», «двери открыты, посреди лежит мёртвый Христос», «спекулянты в церкви продают большевиков анафеме; а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; они понимают друг друга» (Блок А. Проза 1918-1921// Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 6. - М. - Л., 1962).

В отличие от философствующих интеллигентов, Победоносцев мыслил государственно. Его тревожила ситуация с бакинским нефтепроводом, находящимся в руках Ротшильда и иностранцев, скупка земель поляками в Смоленской губернии... На примере грузин Победоносцев чётко уловил странную «динамику» национальных отношений в России: «Повторяется и здесь горький опыт, который приходится России выносить со всеми спасёнными и благодетельствованными инородческими национальностями. Выходит, что грузины едва не молились на нас, когда грозила ещё опасность от персов. Когда гроза стала проходить ещё при Ермолове, уже появились признаки отчуждения. Потом, когда явился Шамиль, все опять притихли. Прошла и эта опасность - грузины снова стали безумствовать, по мере того, как мы с ними благодетельствовали, баловали их и приучали к щедрым милостям за счёт казны и казённых имуществ. Эта система ухаживания за инородцами и довела до нынешнего состояния. Всякая попытка привести их к порядку возбуждает нелепые страсти и претензии» (Письма К. Победоносцева к Александру III // Победоносцев К. Великая ложь нашего времени. - М., 1993) •

Блок же в «Возмездии» демонстрирует пример морального «ухаживания» за поляками. Он адресует им строки, явно льстящие их национальному самолюбию, строки, проникнутые сочувствием и, по сути, поддержкой пафоса мести России, ибо голос «гордых поляков» и голос автора в тексте сливаются. Эти строки начинаются строфой, не требующей комментариев: Страна - под бременем обид, Под игом наглого засилья - Как ангел, опускает крылья, Как женщина, теряет стыд.

И заканчивается этот польский сюжет также красноречиво: Мстить! Мстить! - Так эхо над Варшавой Звенит в холодном чугуне!

Правда, когда пошла волна «суверенитетов», в Блоке проснулось «имперское» чувство, конечно, с интеллигентскими добавками. Так, он записывает в дневнике 12 июля 1917 года: «Отделение Финляндии и Украины сегодня вдруг напугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию». Вчера мне пришлось высказать Ольденбургу, что, в сущности, национализм, даже кадетизм - моё по крови...» (Блок А. Дневник. - М., 1989).

В 1919 году, в один год со вступлением к «Возмездию», появилась известная статья В. Розанова «С вершины тысячелетней пирамиды», в которой утверждалось: русская интеллигенция разрушила русское Царство. И это отчасти так. Разрушила не только идейно, идеологически, религиозно, но и нравственно-семейно, в чём также участвовал Блок.

В последнем варианте «Возмездия» есть строфа, свидетельствующая о явной общности А. Блока с отцом: оба они получили «чувственное воспитание». Так, при помощи названия романа Г. Флобера, приведённого в «Возмездии» по-французски, указывается на эту общность. И хотя данное название имеет и другие варианты перевода (так, в собрании сочинений А. Блока предлагается «чувствительное воспитание»), автор поэмы, думается, имел в виду «чувственность».

Чувственность, по версии поэта, была присуща отцу: «Всё это в несчастной оболочке А.Л. Блока, весьма грешной, похотливой...» (БлокА. Дневник - М., 1989).

Именно чувственностью был переполнен А.А. Блок на протяжении всей своей жизни: увидел красавицу в трамвае - голова заболела, встретил увядающую брюнетку - жить захотелось, набежала -запредельная - страсть. Правда, эта страсть уживается с холодной наблюдательностью и самодовольством. Блок поступает как женщина, демонстрирующая себя и наперёд зная результат: «...Пробежало то самое, чего я ждал и что я часто вызываю ужен- щин: воспоминание, бремя томлений. Приближение страсти, связанность (обручальное кольцо). Она очень устала от этого душевного движения. Я распахнул перед ней дверь, и она побежала в серую ночь» (БлокА. Дневник - М., 1989).

В итоге поэт разродился тирадой в духе Анатолия Курагина: «У неё очень много видевшие руки; она показала и ладонь, но я, впитывая форму и цвет, не успел прочесть этой страницы. Её продолговатые ногти холены без маникюра. Загар, смуглота, желающие руки. В бровях, надломленных, - невозможность» (Там же).

Все они - актрисы, цыганки, акробатки, проститутки и другие - по-разному, но легко возбуждали, «возрождали» чувственного АБлока, ведь ему так мало было нужно: колющие кольца на руке, молодое, летающее тело, качающийся стан, смеющиеся зубы и т.п.

В приведённой цитате чувственность именуется страстью, что является общим местом в суждениях поэта. А страсть, по Блоку, показатель подлинности чувства, события, явления. Поэтому свои самые духовно ущербные творения, «Кармен» или «Двенадцать», он оценивает как вершинные. Однако нас в данном случае интересуют не они, а само понятие «страсть».

Многие свидетельства Блока на эту тему вызывают недоумение. Например, 25 января 1909 года он делает такую запись о проститутке Марте: «У неё две большие каштановые косы, зелёно-чёрные глаза, лицо в оспе, остальное - уродливо, кроме божественного и страстного тела» (БлокА. Записные книжки 1901-1920. - М., 1965). Однородность этих антиномичных понятий - «божественность» и «страсть» - общее место в мире Блока. При этом трудно определить, чем отличается, по его терминологии, «большая страсть» от «поганой похоти». Вот как характеризуется «большая страсть», вызванная уже не «глупой немкой»: «Ничего после неё не остаётся, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены поют и поют хвалебную песню» (БлокА. Записные книжки 1901-1920. - М., 1965).

Когда же в суждениях Блока страсть проецируется на «мир большой», то в этом случае всё исчерпывается физиологией, обладанием (на другом, конечно, уровне): «Но есть страсть - освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы. И мир тогда - мой» (Там же).

Показательно, что вопрос о греховности чувственности Блоком никогда не обсуждается, она изначально безгреховна: «Радостно быть собственником в страсти - и невинно» (Там же).

Правда, к такому видению страсти Блок пришёл не сразу, переступив через своё юношеское отвращение к половому акту и теорию, которая во многом предопределила трагедию семейной жизни. Так, вспоминая о первой влюблённости, поэт замечает в скобках: «нельзя соединяться с очень красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных собой» (Там же).

Иногда Блок пытается ввести страсть, которая, как правило, греховная, в русло традиционных ценностей, пытается соединить несоединимое. Например, поэт наставляет жену, увлечшуюся в очередной раз: «Не забывай о долге - это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет» (БлокА. Письма к жене //Литературное наследство. - Т. 89. - М., 1978).

Сам же Блок до конца жизни и уверял жену в любви, и изменял ей, забывая о долге и не забывая записать в дневник «Проститутка», «акробатка», «глупая немка», «у польки», «ночью - Дельмас» (целая серия записей 1917-1918 годов о Дельмас) и т.д. и т.п.

Приведённое напоминание о долге странно и потому, что Блок всем своим поведением вытравливал это понятие из сознания Любви Менделеевой. К тому же он подводит теоретический фундамент под интеллигентский вариант «жизни втроём», как в случае с Наталией Волоховой. В послании от 13 мая 1907 года он писал жене: «Ты важна мне и необходима необычайно; точно также Н.Н. - конечно - совершенно по-другому. В вас обеих роковое для меня. Если тебе это больно - ничего, так надо. Свою руководимость и

незапятнанность я знаю, знаю свою ответственность и весёлый долг. Хорошо, что вы обе так относитесь друг к другу теперь, как относитесь» (Блок А. Письма к жене // Литературное наследство. - Т. 89- - М., 1978).

Нет ничего удивительного, что примерно через год уже Любовь Менделеева предложила Блоку жить втроем...

Удивительно-неудивительно то, что Блок (в больших и частых своих проявлениях - пленник греховной страсти) пытался навязать, приписать её другим, как, например, в случае с Александром II. В материалах к «Возмездию» находим такую запись, характеризующую, прежде всего, самого поэта: «Александр II любил гулять в Летнем саду. Дамы старались вертеться перед ним, пока он не заметит, не заговорит, и не... Я думаю - выпущенные его глаза, что-то страшное и стеклянное в них и сильная отдышка - были не от сердца, а от любви» (Блок А. Стихотворения и поэмы 1907-1921 // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 3. - М. - Л., 1960).

Блок реагирует принципиально по-другому когда речь идёт о братьях по цеху о реальных, а не выдуманных, любовях-вывихах. Так, «большая страсть» жены С.Городецкого к Блоку последнему первоначально льстила, ибо ей предшествовал почти скандал, почти ненависть.

С.Городецкий отказался от предложений напечатать отзыв на «Песню судьбы» Блока, так как не захотел критиковать публично это слабое, с его точки зрения, произведение, а предпочёл выразить своё мнение в личной беседе. Чуть позже поэт высказался резко критически в «Речи» о сборнике С.Городецкого «Русь». Жена последнего отреагировала на поступок Блока гневным письмом, которое заканчивалось следующими словами: «горько и противно, что и «друзья» не выше тех евреев-дельцов, что держат литературные лавочки» (Неизданная переписка Блока. Переписка с А.А. и С.М. Городецкими // Литературное наследство. - Т. 92. В 4 кн. - Кн. 2. - М., 1981).

Итак, когда «любовь» жены Городецкого стала тяготить поэта, когда он устал от писем (в блоковско-цветаевском стиле больной интеллигенции больного «серебряного века»), то попытался отстраниться от семьи Городецких. Глава её отреагировал своеобразно: у Городецкого не возникли «вопросы» к жене или другу, он не стал ревновать (и понятно, интеллигентный человек), его волновал лишь один вопрос: сможет ли он видеть Блока столь же систематически, как и прежде.

С.Городецкий в данном случае последователен, ибо в своих чувствах он признавался Блоку не раз: «Милый мой, любимый <...> Целую тебя крепко, как люблю»; «Любимый мой! Целую тебя за твои золотые слова <...>. Целую тебя крепко и поздравляю с выходом книги <...>. За надпись исторического характера ещё поцелуй, нежнейший. Третий - от меня, как от твоего читателя...»; «Мой милый, мой ненаглядный, спасибо за ласку. Грустен я от какой-то внутренней тишины, особенно ощутимой на людях. На тебя смотрел, как ты чертил и писал, много и с любовью. <...> Целую тебя крепко» (Неизданная переписка Блока. Переписка с А.А. и С.М. Городецкими. // Литературное наследство. - Т. 92 в 4 кн. - Кн. 2. - М., 1981). Видимо, такова «суровая» мужская дружба по-интеллигентски...

При всех «всемирных запоях» страсти Блок был не настолько эгоистом в «любви», как многие братья-писатели. Б.Пастернак, например, в отношениях с женщинами видел, чувствовал и любил прежде всего себя. Показателен следующий эпизод: кумир «левой» интеллигенции влюбился в жену Нейгауза и настолько был занят собой, был сверхбесчувственен, что решил объясниться с ней в тот момент, когда Зинаида Николаевна стояла плачущая у колодца, где по предположениям мог утонуть её пропавший сын.

Конечно, здоровое, традиционное начало периодически брало верх в амбивалентной личности Блока. Тогда поэт довольно точно оценивал, как в плане «Возмездия», и тот интеллигентский омут, в котором с юности оказался, и себя самого: «...Он попал в общество людей, у которых не сходили с языка слова «революция», «мятеж», «анархия», «безумие». Здесь были красивые женщины «с вечно смятой розой на груди» - с приподнятой головой и приоткрытыми губами. Вино лилось рекой. Каждый «безумствовал», каждый хотел разрушить семью, домашний очаг - свой вместе с чужим. Герой с головой ушёл в эту сумасшедшую игру, в то неопределённо-бурное мирозерцание, которое смеялось над всем, полагая, что всё понимает. Однажды с совершенно пустой головой, лёгкий, беспечный, но уже с таящимся в душе

протестом против своего бесцельного и губительного существования, вбежал он на лестницу своего дома...» (БлокА. Стихотворения и поэмы 1907-1921 // БлокА. Собр. соч.: В 8т. — Т.3. — М. — JL, 1960).

К сожалению, при реализации плана «Возмездия» победил «другой» Блок, поэтому интеллигентские «радения» изображены принципиально иначе и практически отсутствует традиционно-этический взгляд на женщину, который меньше, чем чувственный, был присущ Блоку. Примером такого восприятия, когда через «атрибуты» внешности женщины просвечивает её внутренняя, духовно-душевная суть, может служить следующее свидетельство из «Записной книжки»: «Когда я влюбился в те глаза, в них мерцало материнство - какая-то влажность, покорность непонятная» (Блок А. Записные книжки. 1901-1920. - М., 1965).

Именно тогда, когда Блок воспринимал отношения мужчины и женщины с подобных позиций, он глубоко и точно оценивал многое и многих, он создавал шедевры, подобные «Когда вы стоите на моём пути...». В такие минуты духовного здоровья Блок прекрасно понимал цену «высокому», которое несовместимо с чувственностью, с греховной страстью.

Знаменательно, что после событий, запечатлённых в дневнике: «К ночи пришла Дельмас», «Ночью Дельмас», «Много работал и грешил.... Ночью пришла Дельмас», «Купанье в Шувалове. Полная луна. Дельмас» - после роз и записки от ЛДельмас, Блок вырывается из плена «губ» - «колен» и делает точную запись: «Нет рокового, нет трагического в том, что пожирается чувственностью, что идёт, значит, по линии малого сопротивления. <...> Если я опять освобожусь от чувственности, как бывало, поднимусь над ней (но не опущусь ниже её), тогда я начну яснее думать и больше желать» (Блок А. Дневник-М., 1989).

Здоровое начало берёт верх в Блоке и тогда, когда он заносит в «Записную книжку» текст из грамотки жены к мужу конца XVII века, наполненный высокой поэзией, истинной любовью, всем тем, чего практически не было в семейной жизни Блока, что он изначально разрушил в отношениях с Менделеевой, обуреваемый ложными идеями и идеалами: «Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила, и к тебе, друг мой, послала: изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточик камочки, а я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить - будто с тобою видитца...» (Блок А. Записные книжки 1901-1920. - М., 1965).

Итак, А.Блок во многих своих проявлениях - вырождающаяся личность, непоследовательный интеллигент. Он один из худших (наиболее здоровых) среди лучших (наиболее больных) интеллигентов своего времени, уничтожавших основы русского государства, разрушавших традиционные православные, духовно-нравственные, семейные ценности. И в этом Блок последователен.

То, что произошло с поэтом после октябрьского переворота - это не временное помрачение ума, не, тем более, по версии ИБУни-на, желание угодить «косоглазому Ленину», это завершение сложного, противоречивого пути, пройденного до логического духовного конца.

Я, конечно, вижу в Блоке проявление традиционных, здоровых начал и в данный период, но всё же определяющими являются не они. Их перевешивают «Двенадцать», «Скифы», «Возмездие» (над которым Блок работал практически до смерти), известные духовно мертвенные статьи. И «ужасный конец» Блока я, в отличие от А.Эт-кинда (Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. - М., 1996), вижу не в том, что поэт незадолго до смерти разбил бюст Аполлона, а в том, в частности, что в своей гибели он обвинил отчизну: «Слопала-таки поганая, гнившая, родимая матушка Россия, как чушка, своего поросёнка» (Блок А. Дневник. - М., 1989). А винить следовало только себя, своё интеллигентство-вырожденчество.

Конечно, многие из немногих, кто прочитает эту статью, возмутятся: оклеветал, оскорбил и т.д. Видимо, найдутся и те, кто с учёно-интеллигентским видом будут поучать, ссылаясь на М.Бахтина, и не только на него. Понимаю: печально расставаться с красивыми мифами, но, перефразируя Блока, страшнее мифов ничего нет. А реальность, думаю, такова.

А.Блок «подземный рост души» как путь к «Двенадцати»

Блок в статье «Душа писателя» справедливо утверждал, что художник - «растение многолетнее», произведения его - «только внешние результаты подземного роста души» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 5. - М. - Л., 1962). Выясним закономерности этого «роста» через анализ статей, дневников, записных книжек, писем.

А.Блок не раз говорил о противоречивости своего мировоззрения и духовного мира, в частности, в письме к А.Белому от 15-17 августа 1907 года: «В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистических переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всём. Кстати, я думаю, что в моей жизни всё так и шло и долго ещё будет идти тем же путём» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 8. - М. - Л., 1962). Одновременно Блок подчёркивал неизменность своей сущности в этом и других письмах к А.Белому: «Всю жизнь у меня была и есть единственная, «неколебимая истина» мистического порядка» (24 апреля 1908 года); «Я всегда был последователен в основном...» (22 октября 1910 года) (Там же).

Сказанное подтверждают, расшифровывают, уточняют дневники и статьи поэта - свидетельства разнонаправленного роста ума и души. Преобладающий вектор в суждениях Блока - настроенность на декадентско-символистскую волну, что, впрочем, признавал и он сам. Одновременно встречаются мысли иной направленности, возросшие на традиционной русской почве, мысли, довольно скоро набравшие силу. И как следствие - совпадение-расхождение, дружба-вражда в отношениях с Д.Мережковским, З.Гиппиус, А.Белым, Е.Ивановым, Г.Чулковым и другими собратьями по перу. Это проявилось на уровне и дневниковых характеристик, и многих статей: «Религиозные искания» и народ», «Народ и интеллигенция», «Ответ Мережковскому» и т.д.

Знаменательно, что Блок оценивал религиозно-философские искания интеллигенции во главе с Мережковским как «болтовню», «уродливое мелькание слов», «надменное ехидствование», «потерю стыда», «сплетничанье о Христе» («Религиозные искания» и народ»), Он предпочитал этому своего рода «словесному кафешантану» в одном случае «кафешантан обыкновенный», в другом - «золотые слова», «беспощадную правду» крестьянина, начинающего поэта Н.Клюева» (Блок Александр, Белый Андрей: Диалог поэтов о России и революции. - М., 1990).

Подобная ситуация повторится неоднократно, вплоть до кульминации - известного телефонного разговора с З.Гиппиус в октябре 1917 года. И всякий раз, когда А.Блоку приходилось выбирать между, условно говоря, «правдой» интеллигентской и «правдой» народной, он чаще всего отдавал предпочтение второй. Более того, как следует из дневниковой записи от 19 декабря 1912 года, рассказ прачки Дуни - это «хлыст», необходимость, которая помогает открыть глаза на жизнь в её настоящем смысле (Блок А. Дневник.-М., 1989).

С подачи «левой» мысли XIX века многие современники А.Блока (писатели, философы, критики) сводили «народ» к «простонародью», понятие духовное к толкованию социально-сословному. И сам поэт решал этот вопрос чаще всего с подобных позиций. В таких случаях

он руководствовался (как, например, в восприятии событий Февраля и Октября 1917 года или при написании «Двенадцати») не народными интересами и идеалами, то есть находился на позициях «неправды».

Механизм превращения «правды» в «неправду» покажу на примере веры в Бога. В статье «Религиозные искания» и народ» АБлок даёт точную характеристику отношения интеллигенции к вере народа. Д.Мережковский, З.Гиппиус и многие другие относились к религиозной жизни народа как лакей к хозяину-математику. И как результат - уверенность в том, что они «лучше», более «красиво» определяют веру по сравнению с народом и «косной» традицией.

Однако в этой статье А.Блок повторяет ошибку Л.Толстого, разводя в разные стороны Церковь официальную и веру народную. К тому же символом «истинной веры» для поэта становится «сектант» Н.Клюев, который, думается, занимал такое же положение по отношению к Православию, как и интеллигент Д.Мережковский. Поэтому блоковская оценка позиции декадентов в статье «Народ и интеллигенция» - «вульгарное «богоборчество» - применима и к Н.Клюеву.

Он, сыгравший в жизни «певца Прекрасной Дамы» не меньшую роль, чем Д.Мережковский, так оценивал свою «истинную» веру в апрельском письме 1909-го года к А.Блоку: «Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казённого бога, пещь Ваалову Церковь, идолопоклонство «слепых», людоедство верующих - разве я не понимаю этого, нечаянный брат мой» (Письма Н.Клюева к Блоку // Литературное наследство. - Т. 92 в 4 кн. - Кн. 2. - М., 1981). Действительно, А.Блок и Н.Клюев, несмотря на многие различия, оказались братьями по духу, братьями по отношению к вере.

Ещё до знакомства с Н.Клюевым А.Блок проявил себя как богоборец, как декадентствующий сектант. Сектантами, по сути, были все символисты. Во многом отсюда их интерес к хлыстам и другим отступникам от православной веры, их общая «реформаторская» деятельность на заседаниях Религиозно-философского общества...

В нескольких наиболее откровенных письмах 1903-1907 годов к А.Белому поэт определил своё отношение к Богу. АБлок исключает народ из числа мистически заинтересованных лиц, тот народ, который, как следует из дальнейших рассуждений, неразделен с Христом. Народ и Всевышний отодвигаются в сознании поэта на задний план, Христос, к тому же, подменяется Вечной Женственностью. В этом одна из главных причин всех болезней мировоззрения и творчества А.Блока.

О неслучайности и постоянстве данного явления свидетельствуют высказывания поэта разных лет: «Я люблю Христа меньше, чем Её, и в «славословии, благодарении и прощении» всегда прибегну к Ней» (Блок Александр, Белый Андрей: Диалог поэтов о России и революции. - М., 1990); «Ещё (или уже, или никогда) не чувствую Христа. Чувствую Её, Христа иногда только понимаю» (Там же); «Вы любите Христа больше Её. Я не могу» (Там же); «В Бога я не верю и не смею верить...» (Блок А. Письма // Блок А. Собр. соч.: В 8 т.-Т. 8.-М.-Л., 1963).

На одно из самых уязвимых мест в мистико-философских настроениях и построениях А.Блока указал А.Белый. В письме от 13 октября 1905 года он утверждал: «Тут или я идиот, или - Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому <...>. Пока же Ты не раскройешь скобок, мне всё будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь <...>, или говоришь «только так». Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая <...>. Нельзя быть одновременно и с Богом и с чёртом» (Блок Александр, Белый Андрей: Диалог поэтов о России и революции. - М., 1990).

А.Блок, не любивший и, по его словам, не умевший объяснять написанное, вынужден был в данном случае это сделать. Так, отвечая А.Белому на упрек в кощунстве, поэт в письме от 15-17 августа 1907 года замечает: «Когда я издеваюсь над своим святым - болею» (Блок А. Письма // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 8. - М. - Л., 1963). Видимо, задетый за живое, А.Блок ещё раз возвращается в этом письме к данному вопросу и уточняет свою позицию: «Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже»; «впрочем, кое-что и я подозреваю в «Синей Маске», но и здесь кощунство тонет в ином - высоком» (Там же).

Итак, кощунство, неотделимое от боли, кощунство, преодолеваемое высоким, - вот один из вариантов состояния, поведения писателя в его интерпретации. Этот вариант и реализуется в жизни и творчестве А.Блока. Однако нас интересует результат: куда ведут и к чему приводят «боль», «высокое», лишённые православного содержания. Обратимся к переломному периоду в мировоззрении поэта.

9 декабря 1908 года А.Блок в письме к КСтаниславскому сообщает, что «тема о России (вопрос об интеллигенции и народе в частности)» - его тема, которой он «сознательно и бесповоротно посвящает жизнь». В статьях писатель не раз говорит о стене, разделяющей народ и интеллигенцию: «Полтора миллиона с одной стороны и несколько тысяч - с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном». Закономерно, что в статье «Народ и интеллигенция», откуда приводилась цитата, поэт вспоминает завет Н.Гоголя, не понятый В.Белинским, вспоминает потому, что уверен: любовь, сострадание, самоотречение - это «жизненное требование», ответ на три вопроса, поставленные А.Блоком в статье с одноимённым названием.

Важно отметить, что в данном случае речь идёт о нравственном творчестве только интеллигенции. Вроде бы забыто, что «священная формула», которую писатель в традициях русской культуры, литературы противопоставляет индивидуализму, должна проникнуть, как справедливо утверждал сам поэт в статье «Ирония», «в плоть и кровь каждого».

Итак, если в «Народе и интеллигенции» А.Блок освобождает народ от сострадания и - шире - от ответственности по отношению к ненароду, интеллигенции, в частности, то в «Стихии и культуре» он идёт дальше. Поэт противопоставляет «неправде» Д.Мережковского «правду» народную и приводит в качестве примера последней два свидетельства из письма Н.Клюева. Объединяя их, уравнивая любовь христианскую с ненавистью разбойничьей, писатель утверждает: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про «литые ножички», и те, кто поёт про «святую любовь», - не продадут друг друга, потому что - стихия с ними, они - дети одной грозы» (Блок А. Стихия и культура // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 5. - М. - JL, 1962). Такое кощунственное соединение порождает философию разрешения крови по совести, порождает лейтмотив «Двенадцати»: «Чёрная злоба, святая злоба». Однако при всей явной солидарности А.Блока с разбойничье-«святой» правдой он ещё способен ужасаться.

В письме к В.Розанову от 20 февраля 1909-го года двойственное отношение к террору сохраняется. С одной стороны, «я действительно не осужу террора сейчас», с другой, - «как человек я содрогаюсь при известии об убийстве одного из вреднейших государственных животных». При этом очевидно, что преобладает отношение первое. Отсюда героизация Каляева и ему подобных, возникновение мифа, который так будет востребован в советский период: «Революция русская в её лучших представителях - юность с нимбами вокруг лица» (Блок А. Письма // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 8. - М. - Л., 1963).

В дневнике, размышляя о проблеме «личность и общество», поэт нередко высказывается с вульгарно-социологических, материально-диетических позиций. Например, критикуя «общественную бюрократию», которой нельзя верить, А.Блок констатирует факт круговой поруки (дневниковая запись от 19 октября 1911 года) и делает вывод, протягивающий руку «Двенадцати»: «И потому - у кого смеет повернуться язык, чтобы сказать хулу на Гесю или подобную ей несчастную жиловку, которая, сидя в грязной комнате на чердаке, смотря на погоду из окна, живя с грязным жидом, идёт на набережную Екатерининского канала бросать бомбу в блестящего, отчаявшегося, изнурённого царствованием, большого и страстного человека?» (Блок А. Дневник. - М., 1989).

Итак, проходит три года после публикации статьи «Стихия и культура», и теперь «правда» террора кажется Блоку убедительной и былого ужаса не вызывает. Вопрос же веры (именно им задаётся писатель перед тем, как перейти к рассуждениям о Гесе) рассматривается с тех же «левых» позиций, хотя ответ, казалось бы, очевиден: верить надо не в общественность, а в Бога. Тогда, невзирая на грязную комнату (почему бы её Гесе не убрать) и другие внешние обстоятельства, даже мысли не возникает о бомбе, разрешении крови по совести и т. п.

У А.Блока же подобные идеи не раз возникают и в дальнейшем. Так, весной 1917 года поэт по-прежнему измеряет происходящее интересами «серых шинелей», «простонародья», жизнь которого не улучшилась. В этом, с точки зрения художника, виноваты интеллигенция, он сам.

И вот у Блока (едушего в международном вагоне первого класса, в купе) рождается мысль, предшествующая «Двенадцати»: «Да я бы на их месте выгнал всех нас и повесил» (из записной книжки от 18 апреля 1917 года // Блок А. Записные книжки. 1901-1920. - М., 1965).

И хотя в этот период настроение резко меняется буквально в течение недели (пессимизм сменяется оптимизмом, необходимость сделать «нечто совершенно новое», выводящее из болота изолгавшегося мира, сочетается с желанием «сжать губы и опять уйти в свои демонические сны»), сопричастность судьбе народа, родины, восхищение революционными массами и ненависть к буржуазии остаётся чувством постоянным, стержневым. Вновь возникает идея, разрешающая кровь по совести: «Нет, я не удивлюсь ещё раз, если нас перережут во имя порядка» (дневниковая запись от 19 июня 1917 года // Блок А. Дневник. - М., 1989).

Как видим, А.Блок стоит в одном ряду с героями-красногвардейцами из «Двенадцати»: его «повесил», «перережут» созвучны Петькиному «ножичком полосну». Это совпадение с «народной» правдой трагично по своей сути, ибо люди, которые были своеобразным компасом для писателя, - духовно - собственно народом не являлись.

Итак, на уровне мировоззрения А.Блок последовательно шёл к приятию Октября, к написанию «Двенадцати». Что поэма не случайность, подтверждает многое, в частности, статьи 1918 года «Интеллигенция и революция», «Исповедь язычника», в которых публицистически открыто выражена позиция поэта.

Таким образом, «подземный рост души» А.Блока свидетельствует, что отпадение писателя от Бога, идея ревизии веры, разные формы богоборчества ведут к утверждению человекобога, к разрешению крови по совести и другим негативным философски-художественным последствиям, создающим почву для появления «Двенадцати» и возникновения социалистического реализма вообще.

1997

Душа и тело, или Штрихи к портрету Марины Цветаевой

В 1932 году, в пору творческой зрелости, когда принято подводить итоги, **М.Цветаева** опубликовала статью «Поэт и время», в которой выразила своё понимание проблем, ключевых для любого художника, проблемы «назначения поэта и поэзии», в первую очередь. Показательно, что, рассматривая этот вопрос, М.Цветаева разграничивает «современность» и «злободневность» как понятия противоположные. «Современность» - совокупность лучшего, «воздействие лучших на лучших», воздействие избранных на избранных; отбор, изображение показательного для времени, своевременность всегда и всему. Злободневность - воздействие худших на худших, заказ времени, сиюминутность (Цветаева М. Поэт и время // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994).

Однако далее М.Цветаева противоречит сама себе, подменяя современность злободневностью. В результате служение художника современности трактуется однозначно: измена себе и времени, поэтическая смерть. Во многом поэтому современность - кожа, из которой «поэт только и делает, что лезет», выбрасывается за борт современности.

Через эти и другие образные либо декларативные характеристики лейтмотивом проходит мысль: талант - главный критерий оценки писателя. Замечу, что всякий талант и любая сила (идея, неоднократно высказываемая поэтом на протяжении всей жизни) для М.Цветаевой притягательны. Поэтому ею игнорируются следующие вопросы: направленность таланта, ценности, лежащие в его основе, пути прихода к вечности. Иными словами, своё творческое назначение художник реализует через русскую триаду «личность - народ - Бог», через обретение и выражение традиционных национальных идеалов или через разрыв и полемику с ними. Именно под таким углом прежде всего рассмотрим личность и творчество М.Цветаевой.

«...В поэте сильнее, чем в ком-либо другом, говорит кровь: предки. Не меньше, чем в овчарке» (Цветаева М. Слово о Бальмонте // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 4. - М., 1994). Эта мысль поэтессы, высказанная в связи с юбилеем КБальмонта, полностью применима к ней самой. М.Цветаева не раз говорила, что человеческая и поэтическая сущность её во многом была предопределена матерью. Будучи в том же возрасте, в котором Мария Александровна ушла из жизни, Цветаева в «Истории одного посвящения» писала: «...Узнаю во всём, кроме чужих просьб, - её в себе, в каждом движении души и руки» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 4. - М., 1994). Остановимся на наиболее важных «движениях».

В «Доме у Старого Пимена» поэтесса называет юдопривержен- ность одной из черт своей матери. Иудеи, по словам М.Цветаевой, были обертоном и её жизни. Показательны следующие признания поэтессы: «Евреев я люблю больше русских...»; «Делая Сергея Яковлевича евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он внешне - частично, внутренне же - совсем непричастен, во всяком случае - куда меньше, чем я!» (Цветаева М. Письма // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 7. - М., 1995). Видимо, закономерно, что и среди многочисленных возлюбленных Цветаевой, реальных и воображаемых, мужчин и женщин (С.Эфрон, С.Парнок, О.Мандельштам, Б.Пастернак, АБахрах, АВишняк, ПАнтокольский и т.д.), были преимущественно евреи. Не берусь утверждать, в какой степени М.Цветаева еврейка по духу но одна, главная, ветхозаветная идея, идея избранничества - стержень её личности и творчества.

Во многом естественный и безобидный в детстве и юности дух протеста приобретает у Цветаевой в конце концов самоценный характер. И в себе, и в других поэтесса ценила и подчёркивала прежде всего эту черту. Вот только некоторые примеры: «...Одна - из всех, одна - над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой юбочке - порхаю» (детское ощущение Марины); «Обо мне: поэтэ и женщине, одной, одной, одной - как дуб - как волк - как Бог...»; «...И меня с моим неизбывным врагом - всеми» (две мысли зрелой женщины, порождённые разными обстоятельствами и людьми); «...С одним - против всех, с одним - без всех» (оценка собственной матери); «...Одинокий подвиг одной - без всех, стало быть - против всех» (характеристика матери М.Волошина).

Это противостояние всему и всем - суть личности М.Цветаевой, лейтмотив её жизни и творчества. Именно страстью к «одноглавому, двуглазому мятежу», страстью к преступившему определяется звание поэта: «Нет страсти к преступившему - не поэт» (Цветаева М. Пушкин и Пугачёв // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994). Отсюда - универсальный закон восприятия окружающих, жизненное кредо Марины Ивановны, порождённое по-цветаевски понятой судьбой АПушкина: «...Я поделила мир на поэта - и всех, и выбрала - поэта, в подзащитные выбрала поэта: защитить - поэта - от всех...» (Цветаева М. Мой Пушкин // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994). Но цветаевская страсть к преступившему становится позицией преступившего, что наиболее наглядно и концептуально проявилось в «Чёрте».

Дело не столько в детском восприятии Бога и чёрта, сколько в том, как оно оценивается зрелой М.Цветаевой. Если ребёнок Марина ужасается кощунственному единству «Бог - Чёрт» («Бог - с безмолвным молниеносным неизменным добавлением Чёрт» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994), то Марина Ивановна ощущает его как дар. Только пока она не решает или не желает назвать дарителя, лишь неопределённое - «чей-то».

Вскоре становится очевидным: Бог и чёрт по-разному воспринимаются поэтессой, которая в комментариях к рассказу о первом причастии заявляет: «Чёрт: тайный жар». А тайный жар, как следует из другого признания, - ключ к душе и всему творчеству (Цветаева М. Пушкин и Пугачёв // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994).

Происходит разрыв кощунственного единства, и чёрт становится центром в мироздании М.Цветаевой, чёрт занимает место Бога. Пусть он именуется при этом Мышатый, главное - реабилитируется тьма: она - не зло, «тьма - всё», «родная тьма». И как следствие - столь показательная сравнительная характеристика Бога и чёрта: «Бог был - чужой, Чёрт - родной. Бог был - холод, Чёрт - жар. И никто из них не был добр. И никто - зол. Только одного я любила, другого - нет: одного знала, а другого - нет. Один меня любил и знал, а другой - нет» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994).

Восприятие же веры, церковных обрядов, священников как семилетней девочкой, так и женщиной, которой за сорок, лишней раз подчёркивает её духовную нерусскость, неправославность. В этом ряду стоит и завещание МЦветаевой, «Кирилловны» (в котором выражается желание быть похороненной на хлыстовском кладбище в Тарусе), и признания поэтессы о высокой жалости к бесам, страсти к проклятому, преступившему (Цветаева М. Пушкин и Пугачёв // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994).

Диссонансом на фоне сказанного звучат слова М.Цветаевой, об-ращённые в письме к Бахраху о её русском русле («Литературное обозрение», 1991, № 9). Как следует из разъяснений поэтессы, суть этой русскости - любовь. Действительно, любовь в жизни и стихах, любовь в самых разных её проявлениях даёт ответы на многие вопросы, которые уже прозвучали и ещё могут прозвучать.

«Предал и продал». Так оценивает М.Цветаева измену Абрама Вишняка через неделю после её отъезда («Литературное обозрение», 1991, № 8). «Кот», «крокодил», «чёрное бархатное ничтожество» - вот не полный перечень нелестных отзывов о возлюбленном. Естественно было бы предположить, что поступки «мятежной Марины» принципиально отличались от поведения «ничтожества» в подобных ситуациях временной разлуки.

1923 год. Роман в письмах с А.Бахрахом, облачённый в самые пышные слова, скоропостижно скончался, стоило молодому человеку месяца не отвечать на письма поэтессы. Свою измену

женщина объяснила предельно просто: «Я рванулась, другой ответил...» («Литературное обозрение», 1991, № 9).

29 декабря 1926-го года умер Рильке, которого Цветаева, по её словам, любила «больше всего на свете» (Здесь и далее в статье переписка Цветаевой, Пастернака, Рильке будет цитироваться по следующему источнику: Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак Марина Цветаева. Письма 1926 года. - М., 1990). Поэтесса узнала об этом перед самым Новым годом. На следующий день - 1 января 1927-го года - она писала Б.Пастернаку: «Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне». Следует пояснить данную ситуацию.

В августе 1926-го года М.Цветаева порвала с Б.Пастернаком, сосредоточившись только на чувстве к Рильке. Поводом к этому шагу послужило письменное признание Пастернака о наличии в нём «воли». Цветаева, видимо, не предполагала, что после многочисленных признаний мужчины в любви к ней (таких, например: «безмерно любимая», «люблю совершенно безумно») и её благословений («Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери всё, что пожелаешь... Бери всё это с лирической - нет, с эпической высоты...») Б.Пастернак принадлежал и жене, сыну. К тому же М.Цветаева сама неизбежно шла к разрыву с Пастернаком ради Рильке.

Чувство к австрийскому поэту - редчайший эпизод в жизни Цветаевой, когда она не могла позволить себе «любовь втроём», как было ранее и впоследствии не раз. Цветаева писала Рильке: «Не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог». В минуты освобождения из словесного плена, выдуманного мира, в минуты пробуждения от почти вечного лживо-красивого сна-любви женщина оценивает себя и других не с «эпической высоты», а с высоты единственно верной - традиционной христианской морали. И как результат - строки к Рильке, объясняющие разрыв с Пастернаком: «Когда я узнала об этой его второй загранице, я написала: два письма из-за границы! Двух заграниц не бывает...

Пусть жена ему пишет, а он - ей. Спать с ней и писать мне - да, писать ей и писать мне, два конверта, два адреса (одна Франция!) - почерком породнённые, словно сестры...».

И вот сразу после смерти Рильке, не побыв даже дня в трауре, М.Цветаева вновь вспомнила о советском поэте Пастернаке. На письмо, которое уже цитировалось, на приглашение встретиться в Лондоне Борис Леонидович, с точки зрения поэтессы, ответил отпиской. Цветаева навязчиво повторяет попытку: «Я, упорствующая на своём отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Рильке. Его смерть - право на существование моё с тобой, мало - право, собственноручный его приказ...».

Итак, рассмотренные и не рассмотренные примеры свидетельствуют, что во взаимоотношениях с мужчинами, в «любви» поэтесса руководствовалась теми же принципами, что и «ничтожество» Вишняк. Более того, Цветаева вела себя ничтожней Геликона, ибо её «романы» протекали на фоне мужа, на фоне детей.

В одном из писем к А.Бахраху М.Цветаева даёт следующую характеристику И.Эренбургу: «Люди его породы, с отточенной - и отчасти порочной мыслью, очень элементарны в чувствах. У них мысль и чувство, слово и дело, идеология и природный строй - сплошь разные и сплошь враждебные миры» («Литературное обозрение», 1991, № 8). Эти слова применимы и к самой поэтессе.

Если мы обратимся к её эпистолярным романам с Бахрахом, Рильке, Пастернаком и другими, то создаётся впечатление, что сам уровень и границы отношений, устанавливаемых Цветаевой («Я говорю с духом», «не внести быта» и т. д.), заранее обрекают «любовь» «небожителей» на неуспех. Перед нами игра, спектакль, где режиссёр, сценарист, главный герой-актёр выступают в одном лице.

Можно говорить и об определённых цветаевских правилах игры в «любовь». Сначала следует наплыв высоких слов: «Вы были первым

- за годы, кажется, - кто меня в упор (в пространстве) окликнул. О, я сразу расслышала, э<то> был зов в ту жизнь: в любовь, в жар рук, в ту жизнь, от которой отрешилась» («Литературное обозрение», 1991, № 10). (Здесь всё, мягко говоря, преувеличение: и в отношении «первого», и в отношении «отрешилась».) Далее идёт искусст-

венное нагнетание страстей: «Я приняла Вас не как такого-то с именем и отчеством, а как вестника жизни, которая ведёт в смерть... Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: «мне надо умереть», из всей чистоты вашего десятилетия сказать: «Да» (Там же).

Естественно, могут возразить: в словах-признаниях Цветаевой

- её сущность, а не игра, естество, а не искусственность и т. д. Если это так, то где тогда подтверждения серьёзных отношений и глубоких чувств, где поступки. Я, конечно, понимаю, насколько абсурден, с точки зрения поэтессы, такой подход, ибо она была убеждена: «Любовь живёт... в словах и умирает в поступках» (Рай- нер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года.-М., 1990).

Как следует из приведённых и множества не приведённых фактов, высокие слова чаще всего вступали в конфликт, не совпадали с низкими деяниями М.Цветаевой. Не об этом ли говорит она в письме к Рильке? Приводя свою строчку: «В великой низости любви», Цветаева уточняет её смысл по-французски: «Высшая низость любви». Или в письмах к Бахраху в минуты редких прозрений, пробиваясь сквозь маскарад слов, поэтесса очень точно определяет сущность своей «любви»: «волшебная игра», «большие слова, похожие на большие чувства» («Литературное обозрение», 1991, № 8), «Ведь я не для жизни. У меня всё - пожар! Я могу вести десять отношений (хороши «отношения!»), сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он - единственный (именно так и происходило на протяжении всей жизни. -Ю.П.)... Всё не как у людей. Могу жить только во сне...» («Литературное обозрение», 1991, № 10).

Итак, если в Цветаевой и не живут одновременно два человека, что она отрицала, то о наличии разных амбивалентных начал говорить вполне возможно. Как они проявляются в творчестве, и предстоит выяснить. При этом будем помнить: лирический герой и автор-творец в мире «мятежной Марины» - тождественные величины.

Нередко можно встретить утверждение, что поэзия Цветаевой сверхэмоциональна и потому неподвластна логическому анализу, к ней нельзя подходить с традиционными критико-литературоведческими мерками и т. д. Подобные утверждения верны лишь отчасти, ибо, несмотря на действительное наличие небольшого числа «тёмных мест» в творчестве поэтессы, в нём без труда можно выявить постоянную, чётко обозначенную систему ценностей личности, которые, как правило, находятся в противоречии с ценностями традиционными. М.Цветаева отлично знает эти ценности, держит их в уме и часто ведёт с ними открытый и скрытый диалог - спор.

Во многих произведениях традиционная система ценностей православной личности, точнее, отдельные проявления её - своеобразная отправная точка в развитии действия. Она может находиться в начале («Пригвождена к позорному столбу // Славянской совести старинной» - «Пригвождена...»; «Дурная мать! Моя дурная слава...» - «Памяти Беранже»), середине («Что в моей отчизне // Негде целовать», «А у богородиц - // Строгие глаза» - «Дон-Жуан»), в конце стихотворения («Долг и честь, Кавалер, - условность» - «Кавалер де Гриз! Напрасно...»), а может отсутствовать вообще, хотя её подтекстное наличие чувствуется и в этом случае («Але», «Горечь! Горечь! Вечный привкус...», «Любви старинные туманы»). Через прямое или косвенное опровержение традиционных ценностей, православного взгляда на мир и на человека утверждается авторский идеал.

В стихотворении «Рыцарь ангелоподобный...» главным героем является «долг», понятие, так редко возникающее в духовном мире лирической героини М.Цветаевой. Из шести сравнений, через которые определяется «долг», наиболее оценочный характер имеет следующее: «Белый памятник надгробный // На моей груди живой». В сравнении этом заложен конфликт между живой душой и символом смерти. Очевидно, что долг - условность, как говорится в другом стихотворении, понятие не для жизни, поэтому и нарушение его - не грех, явление нормальное и, более того, - благое. Ситуация не меняется даже тогда, когда речь идёт о материнском долге, главном, с точки зрения традиционного православного сознания.

В стихотворении «Памяти Беранже» героиня приводит ряд фактов, подтверждающих её славу дурной матери. Каждый из них подчёркивает если не отсутствие, то значительную ущербность материнского начала в женщине. Особенно показательны следующие примеры: «То первенца

забуду за пером...», «Гляжу над люлькой, как уходят - годы, // Не видя, что уходит молоко!» Естественно, возникает вопрос: умение увидеть своё падение со стороны - это холодная наблюдательность, констатация факта или осознание, переживание, осуждение, начало возрождения героини. Её ответ: «И кто из вас, ханжи, во время оно // Не пировал, забыв о платеже!» - свидетельствует, что перед нами холодная наблюдательность.

Ктому же приведённая аргументация - это защита, переходящая в наступление, это контратака, главный смысл которой сводится к утверждению идеала, противоположного материнскому: «Дурная мать, но верная жена!» Даже если лирическая героиня действительно жена и действительно верная (в чём возникают сомнения, если исходить из первых двух строк), то всё равно она - не женщина, не жена в традиционном понимании...

Критерием мужчины измеряется и творчество. Так, из стихотворения «Руки, которые не нужны...» следует, что поэзия, которая произрастает не из любви к «милому», - творчество остаточного принципа, хотя и служит оно Миру. Как бы громко ни назывался такой поэт - «Мирская Жена», например, сие «доблестное звание» произносится героиней как бы сквозь зубы, с грустной иронией, срывающейся в сарказм, трагедию: она поёт «незванным на ужин». Поэтому и аргумент «Милый не вечен, но вечен - Мир. // Не понапрасну служим» не срабатывает, звучит как формальное утешение, за которым

- нереализованность личностная, творческая.

В «Поэме Горы» («самой моей любовной и одной из самых моих любимых и самых моих, моих вещей» - учтём столь знаменательное признание автора) сконцентрированы и наиболее чётко обозначены самые распространённые лейтмотивы любовной лирики Цветаевой. Если в отдельных, немногочисленных стихотворениях поэтессы можно лишь гадать о позиции автора, то в данном произведении она предельно прояснена.

В «Поэме Горы» Цветаева вновь противопоставляет избранных

- небожителей любви - всем остальным - простолюдинам любви. Вновь перечёркиваются традиционные ценности, семейные, прежде всего. Любовь в семье - это, по Цветаевой, «любовь без вымысла», «без вытягивания жил», любовь лавочников, любовь - пре-любодеяние, а носитель её - «муравей» (иной вариант любви в семье как в поэме, так и во всем творчестве Марины Ивановны, отсутствует. Факт показательный, свидетельствующий о неизменности позиции автора). Любовь вне семьи - это любовь избранных, это любовь-гора.

Любовь-гора - любимый образ поэтессы, встречающийся во многих её произведениях и письмах, призванный подчеркнуть высоту чувства эгоцентрической личности, - представлен в поэме двумя уровнями: уровнем жизни и уровнем неба. Думается, что второй уровень - это уровень миражей, то есть оценок и характеристик, ничем не только не подтверждённых, но и, по сути, опровергаемых «любовью» первого уровня. Поэтому все образы второго «этажа» (такие, например: «Та гора была, как горб // Атласа, титана стонущего», «Та гора была - миры! // Боги мстят своим подобиям») воспринимаются, если перефразировать одну из строк, как высокий бред над уровнем жизни, как красивая блестящая этикетка, ничего не говорящая о сущности, качестве любви-горы.

Эту сущность можно выявить, лишь обратившись к образам уровня жизни. Они - «безумье уст», «незрячья страсть», «вихрь», «столбняк» - оттеняют лишь одно качество, они - вариации на тему страсти. Итак, любовь-гора - это любовь-страсть, а точнее, - греховная страсть.

Конечно, в словах: «Пока можешь ещё - грешить», - при желании, если очень сильно пофантазировать, можно увидеть и вызов, и маску, и противопоставление якобы мещанскому идеалу любви... Можно говорить, что и делается часто в подобных случаях, об условности, символике, гротеске художественных образов и т. д. Но очевиднее другое: любовь-страсть в поэме, как и в большинстве произведений Цветаевой, величина постоянная. И именно нарушение традиционных норм нравственности является её определяющим фактором. Это подтверждается, в частности, такими заветами героини (чья позиция, голос полностью совпадают с позицией, голосом автора): «Будут девками ваши дочери...», «Дочь, ребёнок расти внебрачного! // Сын, цыганкам себя стравли!»

И даже «тронное мы» вместо «я», завершающее произведение, венчающее любовь-гору, положения, сути не меняет. Речь вновь идёт о нераздельности тел, и только.

В «Поэме Конца», естественно продолжающей «Поэму Горы», антитрадиционный пафос достигает высшей точки. Это происходит потому, что, в отличие от аналогичных ситуаций разрыва, возлюбленный уходит не к другой, не к сестре по беспутству, а домой. Данный факт, а не сам уход вызывает острые переживания героини; возникает ряд сравнений, которые говорят сами за себя: дом - «гром на голову», «сабля наголо», «публичный дом».

Ключевые образы поэмы: «Жизнь - это место, где жить нельзя: // Еврейский квартал...», «Жизнь. Только выкрестами жива! // Иудами вер!», «Гетто избранничеств!.. В сём христианнейшем из миров // Поэты - жида!» - несут в себе хорошо знакомые, заветные идеи М.Цветаевой: любовь, как и поэзия, - дар избранных, дар нарушения, дар преступления.

Иногда, как исключение, противоречащее главной линии любви в творчестве поэтессы, встречается и иной вариант этого чувства. Так, в стихотворении «Я - страница твоему перу..» героиня является выразителем традиционного женского начала, начала принимающего, хранящего, воспроизводящего. В этом случае женщина без надлома и насилия над собой, естественно и добровольно подчиняется мужчине.

Своеобразной кульминацией в «антологии» цветаевской греховной страсти является «Федра». Третья жена царя Тезея - тридцатилетняя Федра - полюбила своего пасынка, двадцатилетнего Ипполита. Под сильным, на наш взгляд, художественно и психологически неубедительным нажимом кормилицы она открывает ей свой секрет. После опять же искусственного диалога-спора старой женщине удаётся побудить Федру к активным действиям, к признанию Ипполиту.

Формально-сюжетно царица и кормилица - антиподы. Первоначально, в отличие от старухи, Федра осознаёт (в какой степени, сказать очень трудно, скорее - невозможно) греховность и низость своего чувства. Но её справедливые, с позиции христианской морали, доводы («мать - ему, и, по-людскому, - сын...», «Но замужем! Жена ведь! Муж...») не убеждают кормилицу и саму женщину. Она лишь - внешне - спорит со старухой, а внутренне, сущностно - с самой собой.

То есть Федра и кормилица больше единомышленники, чем антиподы. Поэтому и удаётся старой женщине убедить молодую в негреховности (по крайней мере) этого поступка. Кормилица, выступающая сначала в роли «сводни», «ведьмы», берёт как бы на себя часть греха царицы, который, как выясняется, совсем не грех. К тому же действия старухи - не насилие над личностью Федры, а лишь «озвучивание» скрываемых царицей чувств, мыслей, ускорение решений и событий, которые назрели.

Прежде чем определить и назвать чувства Федры к Ипполиту, есть смысл раздвинуть рамки разговора и ввести в него героев русской классики, аналогии с которыми невольно возникают. Для Катерины (А.Островский «Гроза») ребёнок, кабы его Бог дал, стал бы смыслом жизни, и грехопадение женщины не произошло бы. Татьяна (А.Пушкин «Евгений Онегин») и бездетной остаётся верна старому генералу, верна супружескому долгу - ещё одно подтверждение высоты её духовно-нравственного мира. У Анны (Л.Толстой «Война и мир») «нечистая страсть» (Н.Страхов), чувство к мужчине перевесило любовь к ребёнку, что обусловило духовную катастрофу женщины. Для бездетной Федры, как и для М.Цветаевой, ребёнок не играет решающего значения: «Был бы - радовалась бы. Нет - не печалюсь». Никто не в состоянии противостоять страсти.

Поэтесса, великий мастер в изображении страсти, и в данном случае остаётся на высоте. Сбиваясь, путаясь, трижды начиная заново, изнемогая под напором и тяжестью чувства, слов, Федра выговаривает, наконец, главное: «Началом ты был, в звуке рога, в звуке меди, в шуме леса...». Страсть героини - сильная, испепеляющая, непереносимая, разрушающая страсть. Она тем, в частности, отличается от любви, что её носитель не способен сказать себе «нет», не может остановиться у роковой черты, не в силах бороться с грехом. К тому же Федрин грех - вдвойне грех, ибо Ипполит - пасынок

Не случай, не увлечение мифами, античными сюжетами привели Цветаеву к столь «пикантной» ситуации. В «Федре», как и в «Ариадне», там, где факты противоречили

писательской концепции, её заветным мыслям, она смело использовала «ножницы» и фантазию. Известный сюжет привлекает М.Цветаеву возможностью выразить своё, наиболее близкое, что не раз ощущала к возлюбленным (О.Мандельштаму, Н.Гронскому, А.Бахраху и т. д.) и что ещё предстоит ощутить к сыну. Федринско-цветаевское заклинание «слаще первенца носимый в тайнах лона» созвучно цветаевско-федринским признаниям, например, А.Бахраху: «Я люблю вас как друга и ещё - в полной чистоте - как сына, вам надо расстаться только с женщиной во мне»; «Вы моё дитя...» («Литературное обозрение», 1991, № 10).

В драме, как и в «Поэме Горы», а также в своих многочисленных жизненных романах, поэтесса и эту «нестандартную ситуацию» решает на двух уровнях. С одной стороны, Федра говорит Ипполиту не о ночном ложе, а о вечном, «где ни пасынков, ни мачех, ни грехов, живущих в детях, ни мужей седых, ни третьих жён», с другой - и этому крику души веришь больше, чем «высокому бреду»: «Пока руки есть! Пока губы есть! Будет - молчано!» К тому же «вечное ложе» - даже не отпущение грехов, а снятие данной проблемы вообще. Об этом вполне определённо заявляется и в трагедии: «Нет виновного. Все невинные», - и в черновых записях самой поэтессы: «Дать Федру, не Медею, вне преступления, дать безумно любящую женщину, глубоко понятную» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 3 - М, 1994).

Особое место в творчестве Цветаевой занимает «Лебединый стан», цикл стихотворений, написанных в период со 2-го марта 1917 года по 31-е декабря 1920 года. Начало трагедии, а точнее, сама трагедия, с точки зрения автора, произошла (и это действительно так) именно в день отречения Николая II от престола - 2 марта 1917 года. Данное событие ощущается поэтессой как катастрофа, гибель национальная, государственная, личностная: «Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!» («Над церковкой - голубые облака...»). Поразительно то, что при всех «левых» симпатиях юности, аполитичности молодости, «левизне» как доминанте мировоззрения на протяжении всей жизни, М.Цветаева, одна из немногих среди писателей-современников, смогла точно - с «правых», православных позиций - оценить суть происходящего.

Показательно и другое: в «Лебедином стане» автор ни разу не упоминает об октябрьском перевороте, не проводит грани между Февралём и Октябрём, как делалось и делается очень часто. Позиция М.Цветаевой - классический образец монархического сознания. В стихотворении, наиболее показательном в этом отношении, «Это просто, как кровь и пот...» утверждается: между царём и народом существует тайная, божественная («Царь с небес на престол взведён») и земная, кровная, обоюдно-равноправная связь («Царь - народу, царю - народ»), В другом стихотворении - «Над чёрною пучиной водной...» - взаимоотношения между Царём и Церковью определяются как связь «верных содружников».

Это классическое триединство (самодержавие, Православие, народность), по сути, определяет все оценки и характеристики цикла. В их основу положен принцип контраста: белая кость - чёрная кость, лебеди - вороны и т. д. Данный однолинейный принцип, позволяющий выявить главные, определяющие черты человека, явления, времени, оставляет за скобками произведения многомерность, полутона изображаемого. С учётом этого обратимся к характеристике «старого мира», «лебединого стана».

В юнкерах, разорванных в клочья на посту в июне 1917 года («Юнкерам, убитым в Нижнем...»), в генерале Корнилове, держащем речь летом того же года («Корнилов»), в возлюбленном, ставшем за честь отчины («На кортике своём: Марина...»), в безымянных воинах белогвардейской рати («Дон»), в индивидуальных и коллективных характеристиках М.Цветаева многократно подчёркивает объединяющее всех начало - долг, честь, верность до гроба. Более того, поэтесса уверена: в словарях будущего «задумчивые внуки» станут определять «долг» через слово «Дон» («Дон»),

Повторяющиеся характеристики автор использует на уровне цвета, где преобладает один - белый - символ благородства, святости, божественности: «белое дело», «белогвардейская рать», «Белый полк», «белы-рыцари», «белы-лебеди», «белое видение», «белая стая» и т.д. В цикле нет той образной концентрации, композиционной сложности тропов, которыми насыщены многие произведения поэтессы. Образность «Лебединого стана» ненавязчива, естественна, «незаметна». Она - искусное художественное выражение идеалов «белого» движения, которые были положены в его основание (их Цветаева почувствовала, поняла на

расстоянии, «вслепую», что вызывает восхищение) и которые, о чём не говорится автором, сохранить в чистоте, белизне не удалось.

Именно в нравственном превосходстве, по Цветаевой, залог успеха Белой армии:

Белизна -угроза Черноте, Белый храм грозит гробам и грому, Белый праведник грозит Содому Не мечом - а лилией в щите, Только агнца убоятся волк, Только ангелу сдаётся крепость.

Занимая однозначно позицию «белых», поэтесса в главном - в трактовке проблемы гуманизма - остаётся на христианских позициях, ибо в восприятии событий не переступает черту, разрешающую кровь по совести, что выгодно отличает её от многих писателей-лей-современников, сторонников как «красного», так и «белого» движений.

З.Гиппиус, например, до Октября - певец декабристов, Февраля, Учредительного Собрания, пленник свободы, - после переворота в духе времени, с позиций кровавого гуманизма констатирует: «Если человек хуже зверя - я его убиваю» («Если») - и спокойно, без пафоса призывает: «Но только в час расплаты // Не будем слишком шумными. // Не надо к мести зовов // И криков ликования: // Верёвку уготовав - // Повесим их в молчании» («Песня без слов»), М.Цветаева же делает акцент на невозможности уподобиться злу в борьбе с ним, в нравственной белизне она видит силу и залог успеха.

Мир чёрных воронов и мир белых лебедей, существующие в цикле как миры враждебные, взаимоисключающие друг друга, в стихотворении «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь...» (1921), примыкающем к «Лебединому стану», соединяются в неразрывное целое общей кровью, общими ранами; теряется грань между «своими» и «чужими», «белыми» и «красными». Цветаева (как и немного позже М.Булгаков в «Белой гвардии»), заявляющая о равенстве человека перед смертью, Богом, достигает в данном произведении вершины христианского мировосприятия.

На этой высоте ей редко удаётся удержаться в последующие годы эмиграции (1922-1939). В жизни и творчестве поэтессы преобладает позиция «ни с кем», «одна». «Одна», не только и не столько в плане политическом, сколько в онтологическом.

Небожителство, избранность, эгоцентризм самоценной личности - стержень Марины Цветаевой, человеческа и поэта (что, естественно, не исключает наличия иных начал). Личностно-творческая доминанта проявляется и на уровне любви (об этом уже говорилось), и на всех других («Деревя», «Поэт», «Хвала времени», «Двое», «Стол», «Уединение» и т.д.). Отметим, что не имеет значения, в какие формы выливается сия самоценность: безмерность в мире мер или добровольное несовпадение со временем.

Лишь любовь к Родине периодически выводит М.Цветаеву за пределы индивидуализма-сиротства. Так, в стихотворении «Тоска по Родине» через самые разные факты из жизни лирической героини: одиночество, бездомство, безденежье, унижение, непонимание - ставится под сомнение само понятие «Родина». Раз она не помогает, не спасает, ничего не меняет в жизни героини, значит, по сути, и не существует. Поэтому Родине противопоставляется как реальная ценность «единоличье чувств», доведённое до крайнего предела: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, // И всё - равно, и всё - едино». Однако две последние строчки стихотворения, оборванные на полуслове, ломают, взрывают, опровергают логику суждений героини. То есть Родина - не морока, не пустой звук, как утверждалось ранее, и никакие логические доводы, удары судьбы не в состоянии уничтожить любовь к ней.

Следует сказать, что настроения, представления о Родине, выраженные в большей части стихотворения, - это настроения-представления самой Цветаевой в разные периоды её жизни. В их основе лежат «левые» ценности, которые чаще всего проявлялись так, как в очерке «Кедр» (о книге кн. С.Волконского «Родина»),

В нём поэтесса заявляет: «Своё отношение к предмету мы делаем его качеством» («Новый мир», 1991, № 7). Сия точная самохарактеристика проявляется в «Кедре» буквально во всём, начиная с названия. Родина как ценностный идеал отсутствует у Цветаевой. Более того, она подменяет её кедром - одиноко стоящим, возвышающимся над всеми деревом. Родина по воле автора сплюсчивается до отдельного человека, который символом её быть не может. Правда,

поэтесса к этому и не стремится, скорее, наоборот: С.Волконский в её восприятии - абстрактный человек, общечеловек, «человек - вне века, князь вне княжества, человек - без оговорок: че-ло-век».

С.Волконский, по Цветаевой, олицетворяет духовное избранничество - противовес «мёртвому мещанству». Интересно, что к последнему отнесены и «гуща церковная», и равная ей «гуща базарная». В конце концов человек-идеал не случайно рассматривается поэтессой вне русских «культов»: Бог, Родина, народ, - ибо, по Цветаевой, «само понятие «общежитие» уже искажение понятия жизнь: человек задуман один, где двое - там ложь». Такое лево-либеральное представление поэтессы о человеке переплетается с её периодически возникающими просоветскими настроениями.

В «Стихах к сыну», говоря о России как о стране отцов, стране прошлого, и о СССР - стране детей, стране настоящего, Цветаева будущего сына связывает не с Францией - границей, а с Родиной - СССР: «Езжай, мой сын, домой - вперёд. - // В свой край, в свой век, в свой час - от нас - // В Россию - вас, в Россию - масс». Решая таким образом судьбу сына, поэтесса, осознанно или нет, протягивает СССР руку если не примирения, то признания. Ещё более открыто просоветские настроения М.Цветаева выражает в стихотворении «Челюскинцы». Откликаясь на известные события, она заявляет: «Сегодня - смеюсь! // Сегодня - да здравствует // Советский Союз!»

В СССР М.Цветаева возвратилась вместе с сыном в 1939 году, последовав за мужем и дочерью. На Родине жизнь и творчество не сложились: арест С.Эфрона и Ариадны, безденежье, одиночество, невозможность публиковаться, война, которую поэтесса восприняла, по свидетельству Л.Чуковской, как гибель России, как победу мирового зла вообще. Эти и другие внешние обстоятельства и, главное, особенности мировоззрения и характера Цветаевой (о чём я говорил и что точно сформулировала сама поэтесса в письме к РГУ-лю в 1923 году: «Я не люблю земной жизни, никогда и не любила, в особенности - людей») - определили, по сути, закономерный итоговый поступок - самоубийство.

Итак, конфликт со всеми, борьба с национальными традициями и ценностями привели М.Цветаеву к выпадению - физическому и духовному - из русского мира во многих и разных проявлениях. Вот, например, как поэтесса реагирует на одну из составляющих этого мира, правда, переименовав название её: «Народный элемент? Я сама народ, и никакого народа кроме себя - не знала, даже русской няни у меня не было (были - немки, француженки, и часть детства - к отрочеству - прошла за границей) - и в русской деревне я не жила никогда» (Цветаева М. Письма // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 7. - М., 1995). То есть с детства М.Цветаева была лишена русской духовной родины, «параметры» которой она в неполном объёме со знанием дела называет: няня, деревня, народ.

Однако поэтесса не пытается эту родину обрести, не считает нужным свои идеалы, творчество поверять народно-национальными идеалами. М.Цветаева сознательно отвергает этот путь, по которому обязательно проходит любой русский писатель. Она сплющивает понятие «народ» до эгоцентрической личности, до собственного «я».

Показательно-закономерно и другое - восприятие поэтессой знаковых «фигур» русской литературы, по которым также происходит национальная идентификация писателя. Сочинённый под себя, сверхпроизвольно трактуемый АЛУшкин - это отдельная тема. Приведу лишь некоторые прямые характеристики, свидетельствующие о духовном самоотторжении М.Цветаевой от русской классики: «Евгения Онегина» не любила никогда»; «Конечно, Толстого не люблю <...> Достоевский мне в жизни как-то не понадобился». На сей разрыв - кровный и духовный - указывает сама поэтесса: «Вообще, не ошибитесь, во мне мало русского <...>. Я и духовно - полукровка» (Цветаева М. Письма // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 7. - М., 1995).

В нарушение (в очередной раз) русской традиции М.Цветаева определяет свою культурно-литературную принадлежность через кровь. В письме к Ю.Иваску от 24 мая 1934 года она, ссылаясь на свои остзейские корни по материнской линии, называет немецкую кровь родной и признаёт: «...Стихотворная моя жила - оттуда» (Там же). Голос крови у М.Цветаевой совпадает с духовной «самоприпиской». Лишь о Германии она говорит так «Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа...» (Цветаева М. Воспоминания о современниках. Дневниковая проза // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 4. - М., 1994).

Однако более явственной и значительной представляется другая тенденция в творчестве М.Цветаевой - через отрицание традиционных национальных ценностей личности и литературы утверждение, как идеала, эгоцентрической личности и безнациональной словесности. Подтверждением сказанному, в частности, служит следующее высказывание поэтессы, в котором, по сути, формулируется и творческое кредо: «Я не русский поэт и всегда недоумеваю, когда меня им считают и называют. Для этого и становишься поэтом <...>, чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть - всем. Иными словами: ты - поэт, ибо не француз» (Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года.-М., 1990).

Сказанное, конечно, не исключает и наличия русского начала в личности и творчестве М.Цветаевой, что проявилось, прежде всего, в «Лебедином стане» и о чём уже шла речь. Русское «я» даёт о себе знать и в критических суждениях поэтессы, которые по глубине понимания проблем могут быть отнесены к вершинным, классическим. Приведу только три высказывания из письма и статьи: «Прочла <...> отзыв Каменецкого: умилилась, но - не то! Барокко - русская речь - игрушка - талантливо - и ни слова о внутренней сути: судьбах, природе, героях <...> не ради русской речи же я писала!»; «Когда в ответ на моё данное, где форма, путём черновиков, преодолена, устранена, я слышу: десять а, восемнадцать о, ассонансы <...>, я думаю о том, что все мои черновые - даром, то есть опять всплыли, то есть сказанное опять разрушено. Вскрытие, но вскрытие не трупа, а живого. Убийство»; «Часто, читая какую-нибудь рецензию о себе и узнавая из неё, что «формальная задача разрешена прекрасно», я задумываюсь: а была ли у меня «формальная задача» <...>.

Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придёт» (Цветаева М. Поэт о критике // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. - Т. 5. - М., 1994).

1996

Сергей Есенин: «Я хочу быть жёлтым парусом...»

С.Есенин, как известно, вошёл в литературу с лёгкой руки **А.Блока**. В одном - главном художественном компоненте - их поэзия периодически совпадала. В «Пришествии», «Преображении», «Инонии», «Иорданской голубице» и других произведениях 1917 -1918 годов точкой отсчёта для С.Есенина являются идеалы «малого народа» со всеми вытекающими из этого естественными антихристианскими последствиями. То есть идеалы не всего наро- да- крестьянства (как утверждают разные авторы от П.Юшина до МДунаева), а той части его, которая с позиций эвдемонической культуры верила в осуществление рая на земле и ставила личность в один ряд с Творцом.

Эта тенденция получила, на мой взгляд, непродуктивную оценку в работах современных исследователей. Станислав и Сергей Куняе- вы, например, утверждают: цикл «религиозно- космических» поэм по недоразумению назван «богохульным», ибо «такие катаклизмы бывают в душах больших художников, но они сродни не плоскому атеизму, не антирелигиозному хулиганству, а скорее мощной религиозной ереси. Это не порицание Бога, а переосмысление его воли, это действительно отчаянная попытка своего нового Третьего Завета. Это не порицание христианства, а попытка по-новому истолковать его и по-новому приневолить на службу тяготам и пределам земным!» (Куняевы Ст. и С. Божья дудка. Жизнеописание Сергея Есенина // «Наш современник», 1995, № 4).

В русле данной парадигмы мыслит и О.Воронова: «Тело, Христово тело // Выплёвываю из рта!» и им подобные строки - это не кощунство, богохульство, а «миротворение», «жажда «воскресения» без Голгофы», это духовные искания, созвучные идеям «нового религиозного сознания», Н.Бердяева, прежде всего (Воронова О. ...Между религией и «Русской идеей»: С.А. Есенин и Н.А. Бердяев // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. Есенинский сборник Вып. III. - М., 1997).

Стремление Куняевых, Вороновой и некоторых других авторов стать на позицию С.Есенина как на позицию безгрешную, изначально правильную порождает сущностную сумятицу, затемняет предмет исследования. Атеизм - вне зависимости от формы и качества - всегда останется атеизмом, как и «мощная религиозная ересь» никогда не станет явлением религиозно-духовно значимым и значительным. Попытки создания Третьего Завета Н.Бердяевым, Д.Мережковским или С.Есениным (всё равно кем), спор с «историческим христианством» или «тайной Бога» - это явления разрушительные, катастрофические, стоящие в одном ряду с антирелигиозным или религиозным хулиганством.

Не отрицая богохульственных, антихристианских настроений С.Есенина, я не склонен видеть в них творчествоопределяющую тенденцию. В этом случае уместна параллель с «богохульными» произведениями и высказываниями А.Пушкина. Подход к пониманию данного феномена, сформулированный митрополитом Анастасией, И.Ильиным, С.Франком, В.Непомнящим, применим и к вышеназванным поэмам С.Есенина. Так, НЛюбимов, отмечая «мерзость <...> кощунственной «Инонии», справедливо говорит о неглу- бокости чувств, породивших данное явление, а приводя пример из «Певчего зова», делает убедительный вывод: «Большевик, хотя Есенин и объявил себя таковым в «Иорданской голубице», этих строк не написал бы никогда» (Любимов Н. Неувядаемый цвет // «Москва», 1995, №6).

Именно с таких позиций, думаю, необходимо рассматривать и известные поступки С.Есенина, на которые обычно ссылаются исследователи: роспись стен Страстного монастыря, использование иконы на лучину и т.д. То, что «бесовство» поэта носило характер временного затмения, помрачения, свидетельствуют иные эпизоды из его жизни (рассказанные Лолой Кинел, например) и дальнейшее творчество: «Кобыльи корабли», «Пугачёв», «Страна негодяев», в первую очередь.

Образы разной эмоциональной и художественной концентрации в «Кобыльих кораблих» (1919) - небо, изглоданное тучами, волк, воющий на звезду, «рванные животы кобыл», «черепов златохвойный сад», мёрзнувшее солнце, выбитые окна, «настежь двери» - несут в себе реально-символические черты гражданской войны, через которые передана трагедия и миллионов, и отдельной личности. Трагедия не только настоящего, но и будущего, заложенного в настоящем, выраженная пророчески и художественно гениально: «Вёслами отрубленных рук // Вы гребётесь в страну грядущего». Понятно, что у такой страны, у таких «гребцов» нет будущего. Отсюда и «времен связующая нить» - смерть, символом которой являются «вороньи паруса» и «крик вороний».

Голод, стужа, смерть, бесчеловечный человек, съевший дитя волчицы (которое Бог дал!!!), новое зрение - третий глаз, ищущий кости помясистой, «бешеное зарево трупов» - это следствие одичания человека, которое, с точки зрения С.Есенина, вызвано революцией. Если раньше она виделась поэту «чудесной гостьей», которой он слагал песни, то теперь это - «злой октябрь».

В то время, когда многие писатели взывали к крови, ненависти, С.Есенин говорил иным языком - жалости, сострадания, христианской любви. Лирический герой поэмы - это уже человек, руководствующийся в своих поступках евангельскими заповедями. Поэтому закономерно и показательно, что лирическому герою приемлемым поведением во время голода видится следующее: «Половину ноги моей съем сам, // Половину отдам вам высасывать», - а бросанию камня в «сумасшедшего ближнего» предпочитается собственная смерть. Слова «Всё познать, ничего не взять // Пришёл в этот мир поэт» звучат как жизненное и творческое кредо, которому С.Есенин был верен до конца дней своих.

«Страна негодяев» (1922-1923) опровергает расхожий тезис о советскости С.Есенина литературоведения 60-80-х годов и либеральных исследователей 90-х годов.

В отличие от В.Маяковского, Б.Пастернака и многих других, воспевавших советскую власть, С.Есенин в «Стране негодяев» показал её истинную сущность. На протяжении повествования автор поэмы по-разному подчёркивает духовную несовместимость одного из представителей советской власти - Чекистова - со страной, в которой он проводит кровавый социальный эксперимент. Несовместимость проявляется уже на лексическом уровне: «народ ваш», «ваш русский равнинный мужик», «твою страну». То есть размежевание происходит на уровне государства и народа, всех народов, населяющих Россию.

Чекистов ненавидит «грязную мордву», «вонючих черемисов», русского мужика, который характеризуется наиболее резко-отрицательно: бездельник, самый бездарный и лицемерный. Герой не скрывает, что ему милее Европа, но в то же время нельзя сказать, что он укоренён в её или свою - еврейскую - почву. Чекистов - человек-космополит, представитель интернационального духа.

Метафизически личность героя идентифицируется через слово «чёрт», которое пять раз упоминает Чекистов и которым один раз клянётся, что символично-показательно. А его фраза «дьявол нас, знать, занёс» точно выражает духовное происхождение и сущность подобных индивидов.

Онтологически эквивалентом антихристианства, антируссости Чекистова является идея замены Бога благами цивилизации. Он, проклиная отсталых русских, предлагает перестроить храмы в отхожие места. Попутно планируется пустить под топор и крестьянские жилища - «глупые хаты». Показательно для советской исследовательской мысли то, что авторы разных поколений, люди с различным жизненным опытом и творческим диапазоном: А.Воронский (писатель, критик, редактор, референт В.Ленина) и П.Юшин (автор, посвятивший всю свою жизнь изучению творчества С.Есенина) - с интервалом почти в 40 лет высказали сходную - сверхпроизвольную - мысль: поэт солидарен с Чекистовым в оценке русского народа и с

планом преобразования крестьянской России (Воронский А. Сергей Есенин // Воронский А. Искусство видеть мир. - М., 1987; Юшин П. Сергей Есенин. - М., 1969).

Не столь внешне явно ошибаются исследователи, которые на протяжении 90-х годов утверждают, что прототипом Чекистова был Троцкий. Персонификация зла, вольно или невольно, локализует проблему, сужает масштаб образа, принижает провидческий дар С.Есенина. Этот дар, на мой взгляд, заключается в том, что поэт создаёт образ такой типической концентрации, которая позволяет видеть в нём революционера вообще, тип сатанинской личности, вобравшей в себя черты, присущие В.Ленину и Л.Троцкому, Н.Бухарину и Я.Свердлову, А.Зиновьеву и И.Сталину, многим другим представителям интернационального духа, захватившим Россию.

Называет себя «гражданином вселенной» и Номах. Главной движущей силой в сложных и запутанных отношениях его с действительностью является жажда социальной справедливости (что лежит на поверхности, следует из монологов и поступков героя) и духовной свободы (что лишь иногда проявляется, чаще остаётся за «кадром», сюжетными рамками и до чего читатель должен додуматься сам). Номах, не приемля мир лживых заговоров, где «душу человеческую ухорашивают рублём», выступает против и либераль- но-буржуазных, и социалистических отношений, проецирующих бездуховность, унификацию, уничтожение личности.

Только в варианте поэмы, опубликованном в 1998 году, появляются строки, где прямо говорится об этом тождестве: Ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры И вместе с революцией Всех взяли в плен...

Подчеркну: данная общность вытекает не из особенностей национального менталитета, не из сакрально-монархического ядра России, а из материалистического сознания, эвдемонической системы ценностей. Номах отвергает сии ценности, ибо власть денег, культ материального есть духовное рабство, при котором жизнь индивида подобна жизни в скотном дворе. То есть, видимо, не до конца осознавая, герой транслирует христианский взгляд на проблему.

На примере Номаха Есенин показал трагедию романтической амбивалентной личности, первоначально уверовавшей в человеческое, национальное братство, в социальную справедливость, а затем разочаровавшейся в своей вере. Через образ героя поэт выразил во многом свою трагедию и трагедию миллионов: Я пришёл в этот город с пустыми руками, Но зато с полным сердцем И не пустой головой. Я верил... я горел Я шёл с революцией,

Я думал, что братство не мечта и не сон, Что все во единое море сольются - Все сонмы народов,

И рас, и племён.

Пустая забава.

Одни разговоры,!

Трагедия Номаха - это трагедия отпадающей от Бога личности, трансформация сознания которой естественна и показательна. Сначала вера в Бога подменяется верой в социальное и человеческое абсолютное, затем, на этапе разочарования, «свято место» занимает собственное «я». Признания Номаха: «Что другие?», «Мне здесь на всё наплевать», «Я живу, как я сам хочу» - свидетельствуют об эгоцентризме его сознания, и, казалось бы, до разрешения крови по совести остаётся один шаг.

Однако герой окончательно не утратил в себе «подобие Божье». Соличность Творцу непоследовательно проявляется в мыслях и поступках Номаха. Он, единственный из действующих лиц поэмы, стремится руководствоваться принципами христианского гуманизма, пытается избежать кровопролития в годы гражданской войны. Поведение Номаха не меняется и тогда, когда речь идёт о Литза-Хуне, выследившем его.

Гамлетовская тема, по-разному заявленная в поэме, - это, прежде всего, история души в период социальных потрясений и гражданской войны. И бандитизм Номаха - своеобразная попытка сохранить в себе душу. Не случайно герой не раз подчёркивает свою общность с теми, кто находится в конфликте с властью, - от крестьян до жуликов. Бандитизм Номаха - это не совсем или совсем не бандитизм, ибо деньги его не интересуют, а помимо жажды острых

ощущений им движет желание доставить бедным праздник, борьба с теми, кто «на Марксе жиреют, как янки».

Из героев произведения комиссар Рассветов получил наибольшее количество положительных оценок «патриот нашей советской родины» (Зелинский К. В изменяющемся мире. - М., 1969), «патриот и верный сын России», человек со «многими замечательными чертами характера коммуниста» (Прокушев Ю. Сергей Есенин. - М., 1973). Однако Рассветов вполне определённо заявляет о своём «патриотизме»: «Вся Россия - пустое место. // Вся Россия - лишь ветер да снег». Трудно заподозрить героя в знании истории своей Родины, духовно-нравственного облика народа. К тому же Рассветов не скрывает, что борется против народа, являясь представителем «интернационального духа».

В сознании героя сочетаются, с одной стороны, холодно-прагматический взгляд, решение проблем страны (в том числе и военных) путём экономических преобразований: «Здесь одно лишь нужное лекарство - // Сеть шоссе и железных дорог. // Вместо дерева нужен камень, // Черепица, бетон и жёсть»; с другой - Рассветов согласен прибегнуть к помощи кнута при дознании, повесить «хоть бандитов сто». Комиссар не сомневается в правильности своих действий. Констатируя «страна негодует на нас», он легко объясняет это явление «дикими нравами». И как следствие игнорирования интересов подавляющего большинства народа в экономических преобразованиях (место деревни, с точки зрения Рассветова, должен занять город) и в других вопросах - философия кровавого гуманизма.

Чарин во время рассказа Рассветова об Америке сомневается в справедливости нечестного поступка Никандра, аргументации которого («Все они - // Класс грабительских банд. // Но должен же, друг мой, на свете // Жить Рассветов Никандр») он противопоставляет традиционно-народный взгляд: «Значит, по этой версии // Подлость подчас не порок?» Если в Соединённых Штатах средством для достижения цели Рассветова были «джентельмены удачи», то в России им стал народ, чьи слёзы, чья кровь были условием того, «чтобы чище синел простор коммунистическим взглядом». Естественно, что Чарин не приемлет такую политику, через его оценки и характеристики автор произведения выражает ту народную правду, которая не замечалась современниками С.Есенина В.Маяковским, Б.Пастернаком, О.Мандельштамом и многими другими: Их озлобили наши поборы, И, считая весь мир за бедлам, Они думают, что мы воры Иль поблажку даём вора́м.

Учитывая сказанное, невозможно согласиться с подобными утверждениями Е.Наумова: «Рассветов - человек <...> государственного ума, мыслящий историческими категориями», «С.Есенин целиком на стороне комиссара» (Наумов Е. Сергей Есенин. - М.-Л., 1965). Художнику во многом близка позиция Номы и Чарина, в их взглядах по-разному проявилась «всемирная отзывчивость» русской души, национальная традиция, которая в годы гражданской войны и последующие десятилетия в жизни и в литературе была не в чести. Эти высказывания критика в силу их очевидной неправоты можно было бы и не приводить, если бы в начале XXI века книга Е.Наумова не называлась в списке работ, положительно повлиявших на преподавание есенинского творчества в школе и вузе (Воронова О. С. А. Есенин в учебных изданиях для средней и высшей школы: опыт научно-практической экспертизы // Творчество С. А. Есенина: Вопросы изучения и преподавания: Межвузовский сборник научных трудов. - Рязань, 2003).

В период принесения в жертву и отдельной человеческой личности, и целых классов, в период наступления бездушно-механической силы рождаются «Сорокоуст», «Я последний поэт деревни...», «Хулиган», «Исповедь хулигана», «Мир таинственный, мир мой древний...» и другие произведения С. Есенина, в которых поэт, в отличие от многих писателей, оценивает человека, происходящее с позиций подавляющего большинства страны - крестьянства и шире - с христианских позиций. То есть «живые кони и стальная конница», «электрический восход», «ремней и труб глухая хватка» («Сорокоуст»), «каменные руки шоссе», сдавившие за шею деревню («Мир таинственный, мир мой древний...»), характеризуют ту враждебную чужую силу, тот город, который окрестил деревню «как падаль и мразь» и нёс уничтожение и отдельной личности, и живому традиционному крестьянскому миру, его основам, культуре. С.Есенин лучше других понял, что данный ход событий неприемлем, «ибо рубят и взрывают <...> мост из-под ног грядущих поколений» (Есенин С. Письма // Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. - Т.5. - М., 1962). У поэта, не отделявшего свою судьбу от судьбы деревни, возникает не только чувство обречённости («Только мне, как псаломщику, петь // Над родимой страной аллилуйя»

- «Сорокоуст», «Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час» - «Я последний поэт деревни...»), но и протеста, носящего чаще всего одежду хулиганства.

Важно подчеркнуть, что «разбойник и хам» появляются в лирическом герое как вызов «чёрной жуте», бродящей по холмам и струящей «злобу вора» («Хулиган»). «Хулиганство» - это ответная реакция на происходящее в деревне, стране, это бравада, маска, форма защиты (о чём говорится «открытым текстом» в «Исповеди хулигана», «Письме к женщине»). Поэт «деревянной Руси» сравнивает своё положение с травимым волком («Мир таинственный, мир мой древний...»), через два года он напишет о том же: «Но, обречённый на гоненье...» («Пушкину»),

Лирический герой уходит от «железных врагов», от роковой реальности в кабаки, предпочитая «чужому и хохочущему сброду» («Всё живое особой метой...»), бьющему в душу, общество бандитов и проституток («Да! Теперь решено. Без возврата...», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...»). Порой может показаться, что маска хулигана приросла к лицу и чудачества, желание забыться стали сутью героя. Но в любом стихотворении этого периода (за исключением «Пой же, пой. На проклятой гитаре...»), как солнце сквозь тучи, просвечивают чувства и мысли, свидетельствующие о наличии высокого духовно-нравственного идеала у героя и поэта («Дорогая... я плачу... // Прости... прости...» - «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...», «Шум и гам в этом логове жутком...» - «Да! Теперь решено. Без возврата...»), что не позволяет отождествлять их с миром дна жизни.

Любовь к женщине - вот что приходит на смену «жёлтому парусу» и хулиганству: «В первый раз отрекаюсь скандалить» («Заметался пожар голубой...»), «Бестрепетно сказать могу, // Что я прощаюсь с хулиганством» («Пускай ты выпита другим...»). У поэта рождаются строки, не характерные для него:

И стихи бы писать забросил, Только б тонкой касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошёл за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали.... Любовь к женщине, выдвинутая на первый план и готовая принести в жертву Родину, лиру - секундная слабость, которая больше

не повторится. Осенняя любовь, любовь - прощение и прощание, благословение - главный герой стихотворений «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...» и других произведений поэта.

«Нежность грустная русской души», любовь ко всему живому - конец одного и начало последнего этапа в творчестве С.Есенина.

Любовь - доминанта личности в поэзии автора - проявляется на разных уровнях: женщины, человека, природы, животных, крестьянского быта, малой родины, России. Любовь к Родине в лирике и эпике 1924-1925 годов вбирает в себя все любви, в ней тонет всё советски-рассудочно-ходульное в творчестве данного периода.

Но именно чувство России и любовь к Родине ставятся под сомнение некоторыми авторами. Ещё в 1926 году Вл. Ходасевич писал, что ключ к судьбе поэта - это отсутствие у него чувства России. «Правда <...> его - любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Её исповедовал он даже в облике хулигана: Я люблю родину; Я очень люблю родину!

Горе его было в том, что он не сумел назвать её: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Ино- нию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже СССР - одно лишь верное имя не пришло ему на уста: Россия. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка, и развязка его трагедии» (Ходасевич Вл. Перед зеркалом. - М., 2002).

С точки зрения формально-лексической Вл. Ходасевич явно неправ. Слова «Россия», «российский», по подсчётам В.Николаева (Николаев В. Великий ученик великих учителей: опыт математического исследования поэтической лексики С.А. Есенина // Творчество С.А. Есенина: Вопросы изучения и преподавания. - Рязань, 2003), употребляются в творчестве С.Есенина чаще, чем у Алёшки-на, Н.Некрасова, А.Кольцова, А.Блока. Однако суть не в этом.

При таком математическом подходе, на него сбивается и Вл. Ходасевич, игнорируется главное - по-разному выраженное духовное, онтологическое, сакральное пространство России.

То, что оно - реальность, думаю, доказывают рассмотренные и не рассмотренные произведения С.Есенина. К тому же необходимо иметь в виду те особенности поэтики С.Есенина, которые игнорирует Вл. Ходасевич и которые так точно определяет Ю.Мамлеев: «Поэзия Есенина - это контакт с сокрытым миром изначальных качеств русской души и русского бытия. Это введение в новый невидимый град Китеж, в град сокровенных пластов русского бытия»; «Именно благодаря совершенно необыкновенным, чисто русским интонациям даже самая обычная строчка в есенинской поэзии превращается в прорыв русской стихии. Кажется, что это даже не поэзия в обычном смысле, а какая-то поэтическая хирургия на сердце, вскрытие его» (Мамлеев Ю. Духовный смысл поэзии Есенина // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. Есенинский сборник Вып. III. - М., 1997).

На ином уровне С.Есенин отторгается от России в статье АМарченко. Она, объясняя причины успеха поэта в северной столице, прибегает к испытанному методу, пуская в ход обветшалые легенды: поэт попал в Петербург - славянофильский центр, охваченный русофобией и пользовавшийся «монаршим покровительством» (Марченко А. Поэтический мир Есенина. - М., 1989). Такой контекст, видимо, должен дискредитировать творчество С.Есенина, и не только его. «Блок, - утверждает АМарченко, - только что переживший «Поле Куликово» и мучившийся поздней и трудной любовью к «нищей» России, принял Есенина как её полномочного посла...». Но, во-первых, любовь А.Блока к России нельзя назвать поздней. Во-вторых, каким «аршином» измеряет жизнь и творчество поэта АМарченко, говоря, что «Блок только что пережил «Поле Куликово»? Семь лет, отделяющих этот цикл от 1915 года (года встречи С.Есенина и АБлока) - срок большой во всех отношениях.

Итак, с точки зрения АМарченко, неизвестный поэт явился к прославленному писателю как посол России, славянофильства, русофобии, поддерживаемой монархом. Такое понимание вопроса объясняется отношением критика к главной теме творчества АБлока и С.Есенина - теме Родины. О ней прямо и косвенно говорится явно без симпатии, например, как о «старом национализме». В этом, конечно, АМарченко не оригинальна. Подобные взгляды доминировали на протяжении многих лет, начиная ещё с 20-х годов. Правда, АМарченко идёт дальше своих предшественников. В отличие от них, связывающих трагедию С.Есенина с «рабским прошлым», исследовательница свела это сложное явление к драме самолюбия. Непризнанность художника новой властью, обида на неё привели к следующему: поэт «решил, что обиделся вместе с русским мужиком и за него тоже. Драматическое положение усугублялось тем, что при этом он не желал ни быть, ни слыть ходоком по рязанским делам» (Марченко А. Поэтический мир Есенина. - М., 1989). Ларчик, оказывается, просто открывался, но эта та простота, которая хуже воровства.

Эгоцентризм С.Есенина А.Марченко доказывает цитатой из автобиографии поэта: «Крайне индивидуален». Неудобно напоминать азбучные истины известной исследовательнице: крайняя индивидуальность - лицо любого настоящего художника, а между индивидуальностью и эгоцентризмом - пропасть, а не тождество, возникающее лишь тогда, когда индивидуальность - индивидуалист.

В 90-е годы была реанимирована формула национальной идентификации творчества С.Есенина, рождённая первой волной эмиграции и по понятным причинам не звучавшая в СССР: духовно-метафизически поэт связывает две России, «красную» и «белую». О.Воронова в статье «Пушкин и Есенин как выразители русского национального самосознания», отталкиваясь от слов Георгия Иванова, определяет поэта как символ единства нации, обусловленного соборностью сознания (Воронова О. Пушкин и Есенин как выразители русского национального самосознания // Пушкин и Есенин. Есенинский сборник. Новое о Есенине. Вып. V. - М., 2001).

Однако, как следует из дальнейших рассуждений О.Вороновой, соборность понимается ею узко-поверхностно. Это происходит прежде всего потому, что компасом в русском мире для О.Вороновой является Н.Бердяев. Принципиальные суждения исследовательницы вырастают из ряда спорных постулатов философа. Приведу вслед за нею одно из высказываний: «Русский народ в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей».

С.Есенина и А.Пушкина О.Воронова относит к якобы классическому русскому национальному типу, который и определяется, по Н.Бердяеву, как «совмещение противоположностей». Доказывается данный тезис следующим образом: «Действительно, как совместить тот дерзкий вызов самому мирозданию, не страшщийся ни Бога, ни дьявола, который звучит, например, в «Пире во время чумы» («Есть упоение в бою, // И бездны мрачной на краю...») с молитвенным вопрошанием Господу, преисполненным христианского смирения, в другом известном произведении «Отцы пустыnnики и жены непорочны...» (Воронова О. Пушкин и Есенин как выразители русского национального самосознания // Пушкин и Есенин. Есенинский сборник. Новое о Есенине. Вып. V. - М., 2001).

Вряд ли стоит удивляться конфликту идей в произведениях, написанных в разное время, отдалённых друг от друга четырьмя годами, в течение которых могли измениться человеческие и творческие приоритеты АЛУшкина. К тому же (и это главное) конфликт сей - лишь вымысел О.Вороновой, ибо нет никаких оснований утверждать, что через слова Председателя, цитируемые исследовательницей, транслируется авторское мироотношение. Закономерно, что в серьёзной пушкинистике стало типичным мнение, подобное следующему: «Гимн чуме» есть та вершина, к которой устремлялась романтическая абсолютизация свободы «могучего человеческого духа». Уже многие годы перед тем Пушкин сумел её достичь, но он уже и одолел к тому времени этот романтический соблазн. Он создаёт шедевр, чтобы тем непреложнее опровергнуть прельстительную ложь. В произведении (любом) всегда важно композиционное построение его, последовательность основных фрагментов. Вслед за гимном Председателя звучат обличения Священника (особый смысл в том, что безбожникам отвечает именно носитель духовной истины)...» (Дунаев М. Православие и русская литература: В 6-ти частях. Ч. I-II. - М., 2001).

В-третьих, слова С.Франка о «широте» личности АЛУшкина, приводимые О.Вороновой как аргумент в пользу своей версии, ничего не доказывают: во время творческого акта «ничтожность», питающая «широту», преодолевается, о чём писал поэт в известном стихотворении.

Вызывает также возражение итоговое суждение О.Вороновой, имплицитно доводящее бердяевский тезис до логической точки: «По своему духовному складу и Пушкин, и Есенин вполне могут быть отнесены к открытому Достоевским в пушкинских же творениях национальному типу русского духовного скитальца» (Воронова О. Пушкин и Есенин как выразители русского национального самосознания // Пушкин и Есенин. Есенинский сборник Новое о Есенине. Вып. V. - М., 2001).

Однако общеизвестно: тип скитальца, явленный в произведениях АЛУшкина Алеко и Онегиным, ФДостоевский определил как отрицательный тип и назвал черты, ему присущие: неверие в свою землю и народ, духовное иностранничество и лакейство, эмбриональная нравственность, гордость и праздность ума и т.д. Этому типу ФДостоевский вслед за АЛУшкиным противопоставил положительный тип в образе Татьяны Лариной. Её отличают укоренённость в национальную почву, сроднённость с народом и его святынями, супружеская верность... То есть АЛУшкин и С.Есенин, как и ФДостоевский, что следует из другой статьи О.Вороновой (Воронова О. ...Между религий и «Русской идеей»: С А. Есенин и НА. Бердяев // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. Есенинский сборник Вып. III. - М., 1997), не могут стоять в одном ряду с Алеко и Онегиным, АЛУшкин и Ф Достоевский - не духовные скитальцы, а одни из самых национально укоренённых русских писателей.

Периодически же возникающая в жизни и творчестве С.Есенина апостасийность всегда преодолевается, побеждается русско-право- славным началом, побеждается любовью.

1990, 2003

Поэма С.Есенина «Пугачёв»: бунт «сволочи»

Ещё в 60-е годы XX века П.Юшин выдвинул следующую версию прочтения «Пугачёва»: «Взяв в качестве сюжета пьесы исторический факт, **Есенин** перенёс его в послереволюционные условия, заполнив монологи героев характерными для первых советских лет авторскими переживаниями, ассоциациями и оценками» (Юшин П. Сергей Есенин. - М., 1969). В 90-ые годы XX столетия и в самом начале XXI века некоторые авторы осознанно или нет повторили данную версию, по-разному привязав её к конкретным событиям и историческим персонам.

В.Мусатов в учебнике 2001 года «История русской литературы первой половины XX века (советский период)», адресованном студентам вузов и рекомендованном Министерством образования страны, утверждает: «Есенина интересовал не XVII век (так у автора. -Ю.П.), а XX, и не Емельян Пугачёв, а Нестор Махно. Но писать поэму о Махно, который, организовав на территории Украины настоящую крестьянскую республику, вёл войну с красными и белыми одновременно, было слишком опасно». Станислав и Сергей Куняевы в своей книге «Жизнь Есенина» (М., 2001) настаивают на том, что в «Пугачёве» отражено антоновское восстание. Об этом свидетельствуют трёхкратная сознательная «ошибка» в наименовании столицы (не Петербург, а Москва), монолог Бурно- ва, где упоминается фонарщик из Тамбова, речи разгромленных пугачёвцев, в которых «слышится стон» крестьян тамбовской губернии, «умиротворённых» отрядами под командованием Тухачевского.

Самую оригинально-фантастическую версию высказала в 2006 году Алла Марченко: адмирал Колчак - «Второй Пугач», его личность и деятельность на посту Верховного Правителя России нашли зашифрованные отклики в поэме Есенина. Приведу показательный довод критикессы: «Есенинский Пугачёв, предлагая сподвижникам план спасительного отступления, упоминает Монголию, что, согласитесь, выглядит довольно странно. (Где Монголия, а где заволжские степи и Яицкий городок?) Зато в рассуждении Колчака ничуть не странно» («Вопросы литературы», 2006, № 6). Однако нигде в поэме Монголия как вариант убежища не называется. В последней главе Пугачёв и его сподвижники говорят о бегстве в Азию через Гурьев и Каспий. То есть обсуждается идея, которую действительно высказывал реальный Пугачёв, стремившийся в Персию или на Кубань.

Монгольские же орды, упоминаемые в монологе самозванца, - это условное название всех кочевых азиатских народов в поэме, включая башкир, татар, калмыков, воевавших на стороне Пугачёва. Доказательством тому являются слова самозванца в четвёртой главе, речь Зарубина в шестой главе и следующий ответ Крямина Пугачёву:

Знаем мы, знаем твой монгольский народ, Нам ли храбрость его неизвестна? Кто же первый, кто первый, как не этот сброд, Под Самарой ударился в бегство?

Есенин, думается, не в целях конспирации интересовался личностью Пугачёва и его эпохой. Подтверждением тому и само произведение, речь о котором впереди, и свидетельства современников, и известное высказывание поэта: «Я несколько лет изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя дворянская точка зрения. И в повести, и в истории. Например, у него найдём очень мало имён бунтовщиков, но очень много имён усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачёвцев. Я

очень, очень много прочёл для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачёв. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие другие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало» (Есенин С. Письма // Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. - Т. 5. - М., 1962).

Пушкинская версия Пугачёва - отправная точка для С.Есенина во время его работы над поэмой, поэтому есть смысл сказать о ней особо. Из «Истории Пугачёва» следует, что русский бунт - это не универсальное явление, русский бунт русскому бунту рознь. Показательно, как по-разному Пушкин оценивает действия противоборствующих сторон в событиях 1766-1771 годов и пугачёвского бунта 1773-1775 годов.

Справедливые жалобы яицких казаков в Петербург на притеснения со стороны членов канцелярии вызвали ответную реакцию местной власти. О ней - сочувственно и к власти, и к казачеству - говорится следующее: «Принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней» (Пушкин А. История Пугачёва // Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т.8. - М., 1958). Поводом к новым недовольствам казаков послужило предписание выступить в погоню за уходившими в Китай калмыками. На этот факт указывается в поэме С.Есенина как на преддверие пугачёвского бунта. Совмещение в произведении событий, разделённых расстоянием в два года, у АПушкина в принципе невозможно.

Невозможно по причинам, названным самим писателем в ответе на критику Броневского: «Я прочёл со вниманием всё, что было напечатано о Пугачёве, и сверх того 18 толстых томов in folio разных рукописей, указов, донесений и проч. Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мёртвые документы словами ещё живых, но уже престарелых очевидцев и вновь проверяя их дряхлеющую память исторического критиком» (Пушкин А. История Пугачёвского бунта / Разбор статьи, напечатанной в «Сыне отечества» 1 января 1835 года // Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т. 8. - М., 1958).

Отношение Пушкина к самозванцу и бунтовщикам в «Истории Пугачёва» однозначно-негативное. Последние чаще всего именуются «сволочью» и «разбойниками». Вот только одни из эпизодов их деятельности: «Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жён и дочерей, отданных на поругание разбойников. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвертованных страдальцев» (Пушкин А. История Пугачёва // Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т. 8. - М., 1958).

Самозванец в «Истории Пугачёва» - это бродяга, волею случая, волею яицких казаков ставший во главе бунта. Он - заложник и выразитель их воли. Его достоинствами называются «некоторые военные познания и дерзость необыкновенная».

Как исключение из правила, из общего кроваво-звериного поведения Пушкин отмечает в поступках некоторых бунтовщиков проблески человечности, милосердия. Так, при взятии Пречистенской крепости Пугачёв не казнит офицеров, а в другой раз по просьбе солдат милует капитана Башарина. Хлопуша после взятия Ильинской «пощадил офицеров и не разорил даже крепость».

Пушкин приводит факты, которые дают основания предположить, что после пленения Пугачёв вступил на путь раскаяния. Показательно точны его слова, сказанные члену следственной комиссии Маврину: «Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство!». И в дальнейшем линия осознания греховности содеянного или хотя бы внешнего раскаяния (насколько оно было глубоким и искренним, сказать трудно) выдерживается Пугачёвым. Академик Рычков, беседовавший с самозванцем, не верит его словам: «Винovat перед Богом и государыней» - словам, подтверждённым «божбою». Однако остаётся без комментария следующий факт: Пугачёв, глядя на плачущего по сыну Рычкова (он казнён самозванцем), «сам заплакал».

Знаменательно прощание самозванца перед казнью: «Пугачёв сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обратился к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне, в чём я согрешил пред тобою; прости, народ православный!».

Об изображении Пугачёва и бунтовщиков в «Капитанской дочке», отличающемся от изображения в «Истории Пугачёва», не говорю, потому что эта повесть не является «трамплином» в работе

С.Есенина над поэмой. Вообще наиболее глубокая и точная оценка «Капитанской дочки» дана в статье Владимира Касатонова «Хождение по водам (Религиозно-нравственный смысл «Капитанской дочки» А.С. Пушкина)» («Наш современник», 1994, № 1).

Первое действие «Пугачёва» - это сюжетно-образное зерно, из которого вырастает вся поэма. На фоне сложной и сложнейшей тропики произведения характеристика желанного Чагана, куда прибывает Пугачёв, предельно проста, лаконична и недвусмысленна - «разбойный Чаган, // Приют дикарей и оборванцев». Этот приют имеет для героя помимо социальной не менее важную - природную - составляющую.

Поэтически-романтический ореол Чагана, Яика создаётся, прежде всего, при помощи метафор и сравнений: «степей <...> медь», «луна, как жёлтый медведь, // В мокрой траве ворочается». Однако эти художественные тропы не характеризуют или мало характеризуют Пугачёва, ибо так живописно-образно воспринимают природу почти все разбойники и оборванцы в поэме. Признание героя, которому нравится «пропахшая солью почва», несёт в себе определяющий личность смысл: с крестьянской, хозяйственно-практической точки зрения непонятно, как могут нравиться неудобные для сельхозработ солончаки.

Есенинский Пугачёв, как и реальный Пугачёв, - это амбивалентная личность, в которой «дикарь и оборванец», перекати-поле значительно доминирует над крестьянином. То, что крестьянское начало окончательно не утрачено героем, свидетельствует его монолог:

Слушай, отче! Расскажи мне нежно, Как живёт здесь мудрый наш мужик? Так же ль он в полях своих прилежно Цедит молоко соломенное ржи? Так же ль здесь, сломав зари застенки, Гонится овёс на водопой рысцой, И на грядках, от капусты пенных, Челноки ныряют огурцов? Так же ль мирен труд домохозяек, Слышен прялки ровный разговор?

Такое видение крестьянской жизни недоступно духовным дикарям и оборванцам XX века, героям «Страны негодяев» Чекистову и Рассветову, объявившим мужику войну...

Уже в первой главе поэмы Есенин изображает Пугачёва как личность, находящуюся в субъектно-объектных отношениях со временем и окружающими людьми. Герой отзывается на зов «придавленной черни», и одновременно он приходит на Яик, чтобы осуществить свой замысел. Из произведения неясно, что чему предшествовало, соответствует ли замысел, интерес Пугачёва интересам «черни». Ясно другое: герой появился в нужное время в нужном месте, он «совпадает» с чернью в страсти к мятежу. Прежде чем сказать об этой страсти, следует уточнить: как соотносятся в представлении Пугачёва «чернь» и «мужик».

Те, кто не видит разницы между народом и пугачёвцами, между крестьянством и бунтарями, трактуют произведение С.Есенина с «левых» позиций, как, например, С.Городецкий: «Всё своё знание деревенской России, всю свою любовь к её звериному (разрядка моя. -Ю.П.) быту, всю свою деревенскую тоску по бунту Есенин воплотил в этой поэме» (Есенин С. в воспоминаниях современников: в 2 т. - Т. 1. - М., 1986). Деревенский быт как таковой в «Пугачёве» практически отсутствует, что вполне закономерно, ибо в центре произведения - «разбойники и оборванцы», люди, выпавшие из традиционной крестьянской среды, порвавшие с её укладом. Воспоминания Творогова, Бурнова, Пугачёва о деревенском прошлом, юности, возникающие в трагической ситуации выбора, между жизнью и смертью, - не основание говорить об их крестьянстве.

Единственная картина мирного традиционного деревенского быта в поэме дана в вышеприведённом монологе Пугачёва. В унисон С.Городецкому её прокомментировал В.Мусатов: «Пугачёв говорит языком есенинской утопии, он - идеолог крестьянского рая» (Мусатов В. История русской литературы первой половины XX века (советский период). - М., 2001). Непонятно, что в этих обычных картинах деревенской жизни из мира утопии, рая. Видимо, крестьянский мир представляется В.Мусатову как мир исключительно деревень «нееловых», «неурожаек» и т.д.

Для Пугачёва «чернь» и «мужик» - синонимичные понятия, что следует из диалога героя со Сторожем. Для С.Есенина «мужик» становится «разбойником», «дикарём», «оборванцем» в

определённые моменты, когда забывает о своей другой - «иконной», христианской сущности. Расслоение мужиков - на личностном, духовном уровне - выносится за рамки произведения, в поэме же через монологи Сторожа прежде всего делается ударение на общей черте коллективного сознания - страсти к мятежу.

Источником этой страсти является зримый социальный конфликт с дворянством и Екатериной. Его образно-природный эквивалент (приём, к которому постоянно прибегает С.Есенин, следуя традициям устного народного творчества) более чем красноречив: «И течёт заря над полем // С горла неба перерезанного».

С другой стороны, собственно мужичий Яик находится в невидимом, внутреннем конфликте с Пугачёвым и ему подобными. Конфликт этот - в самой природе крестьянства. «Собственническая» суть её, вызвавшая резкие оценки Маркса, Ленина, Горького и других ненавистников сельских жителей, передана при помощи параллелизма, который заканчивается так: И никуда ей, траве, не скрыться От горячих зубов косы. Потому что не может она, как птица, Оторваться от земли в синь.

Этот внутренний конфликт, эта крестьянская природа заранее предreshает исход пугачёвского бунта и любого бунта вообще. Отсюда оксюморонное отношение старика к своим землякам (жалость и осуждение одновременно), отношение, через которое выражена позиция автора.

Характеризуя тяжелейшее положение крестьян, Сторож первым указывает на выход из него - это возмездие, бунт. Выход, по-видимому, созвучный замыслу Пугачёва: «Волком жалоб сердце Каина // К состраданию не окапишь». Сторож первым формулирует и роль Пугачёва: «Уже мятеж вздымает паруса! // Нам нужен тот, кто б первым бросил камень». Эта идея подхватывается героем и почти дословно повторяется в IV действии:

Что ей Пётр? - Злой и дикой ораве? - Только камень желанного случая, Чтобы колья
погромные правили Над теми, кто грабил и мучил.

Изображая Пугачёва и его сподвижников в конкретно-историческом времени, С.Есенин оценивает их с позиций вечности как некий долгоиграющий феномен (тем самым давая почву для «привязок» его к Махно, Антонову и т.д.), несущий в себе тайну: Русь, Русь! И сколько их таких, Как в решето просеивающих плоть, Из края в край в твоих просторах шляется? Чей голос их зовёт?

Наиболее эмоционально окрашенный глагол «шляется» выделяется из контекста своей лексической сниженностью, которая, казалось бы, свидетельствует о бессмысленности таких передвижений. Но в то же время стариком, чей голос совпадает с авторским, допускается, что в этом «шлянии» сокрыт не подвластный приземлённому пониманию смысл. Из рассуждений героя, открывающихся словами: «Как будто кто послал их всех на каторгу // Вертеть ногами // Сей шар земли», - следует гипотеза: Пугачёвы - фермент, бродильное начало жизни.

Однако смысловая парадигма Пугачёвых - это парадигма исключительно тварного человека: «просеивающих плоть», «посох в пальцы», «купая тело», «вертеть ногами». И последующие события подтверждают диагноз первой главы, сделанный с позиций вечности: Пугачёв и ему подобные - тварные существа, лишённые божественного, духовного начала.

Во второй главе казаки, составляющие большую часть бунтовщиков, характеризуются по отношению к воинскому долгу в ситуации, в изображении которой С.Есенин допускает территориально-временной сдвиг. В этой неточности, не оставшейся без внимания многих исследователей, видится желание автора показать человечность казаков через события, произошедшие двумя годами ранее. К тому же казаки-терцы и казаки Яика - не одно и то же. Посему данная событийно-смысловая метонимия не кажется нам удачной.

Авторская версия природы пугачёвского бунта выявляется и через ответ на вопрос, почему не срабатывают аргументы атамана Тамбовцева: «Изменники Российской империи», «Кто любит своё отечество, // Тот должен слушать меня», «Казаки! Вы целовали крест! Вы клялись...». Это происходит прежде всего потому, что мятеж мыслится как противостояние Москве, Екатерине, как схватка государства и казачества:

Пусть носится над страной, Что казак не ветка на прогоне И в луны мешок травяной Он башку недаром сронит.

Некоторые исследователи оценивают угрозы казаков Москве как сознательную ошибку С.Есенина, которая даёт возможность проецировать действие поэмы на события XX века. Однако эта версия не имеет под собой никаких оснований, ибо казаки, как следует из оренбургских записей Пушкина, действительно апеллировали к Москве, а не к Петербургу: «То ли ещё будет? Так ли мы тряхнём Москвою?» (Пушкин А. История Пугачёва // Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т. 8. - М., 1958). Естественно, что и в «Истории Пугачёва» встречается аналогичная фраза: «То ли ещё будет! - говорили прощённые мятежники, - так ли мы тряхнём Москвою» (Там же).

В поэме на примере яицких казаков можно проследить генезис предательства. То, что в начале произведения (в случае с калмыками), выглядит как проявление гуманности или забота о казачестве, в конце концов оборачивается явной изменой, лично дифференцированной. Кирпичников, например, пытается по-большевистски доказать, что есть случаи, когда нарушение присяги не предательство. У Караваева мысли о долге отсутствуют вообще, поэтому он не прячется за казуистскую аргументацию и без внутренних переживаний, заговаривания совести, самообмана готов перейти на сторону турецкого султана, воюющего с Россией, Екатериной. И Пугачёв, начинающий, как ему казалось, с мести дворянству, императрице, заканчивает идеей мести стране, откровенным предательством: Уже давно я, давно я скрываю тоску Перебраться туда, к их кочующим станам, Чтоб грозящими волками их сверкающих скул Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Это желание созвучно всей деятельности Пугачёва, объективно наносящей вред России. Показательно, что существовало мнение о нём как о польском агенте, или, как сообщает Пушкин в «Истории Пугачёва»: «В Европе принимали Пугачёва за орудие турецкой политики». Думаю, нельзя говорить о самозванце как о россияnine по сути, то есть личности, наделённой надындивидуальным чувством государственности. Хотя он и утверждает обратное: Кто же скажет, что это свирепствуют Бродяги и отщепенцы? Это буйствуют россияне!

Понятно, почему мы не можем согласиться с мнением Н.Солнцевой из книги «Сергей Есенин» (М., 2000): «Самозванство позволяет Пугачёву объединить мятеж и идею государственности». К тому же, отталкиваясь от слов Сторожа о необходимости того, кто первым бросит камень, исследовательница заключает, что Пугачёв востребован самой историей. Думается, мнение старика - ещё не ход истории, через Сторожа транслируется точка зрения определённой части народа, «черни», лишённой чувства государственности.

В Пугачёве и пугачёвцах С.Есенин при помощи различных художественных тропов подчёркивает преобладающую природно-языческую сущность. И неоднократно в поэме «имя человека» определяется через звериную константу, так, например:

Знаешь?Люди ведь все со звериной душой, - Тот медведь, тот лиса, та волчица.

Очевидно и другое: социальная составляющая личностей бунтовщиков сводится почти поголовно к сословной мести. Мести простолюдина, на которого, как на движитель событий, указывает Пугачёв. Помимо этого он использует и национальный фактор, желая привлечь на свою сторону «монгольскую рать»: Пусть калмык и башкирец бьются За бараньи костры средь юрт!

Социальную направленность происходящего подчёркивает и губернатор Рейнсдорп, чьи слова с опорой на Пушкина комментируются Е.Самоделовой и Н.Шубниковой-Гусевой как исчерпывающая картина действительности: «Бунтовщики казнили одетых в дворянское платье людей и миловали остальных...» (Самоделова Е., Шубникова-Гусева Н. Комментарии // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. - Т. 3 - М., 1998). Однако в «Истории Пугачёва», на которую ссылаются известные есениноведы, как, правда, и в «Капитанской дочке», есть свидетельства о поступках иной направленности.

Пугачёв - борец не только и не столько против дворянства, чиновничьего произвола, но и самозванец - враг тех, кто является оплотом власти, а это люди разных сословий, низших в том числе. Так, во время первого боя у Яицкого городка из пятидесяти казаков, захваченных в плен, одиннадцать были повешены; после взятия крепости Рассыпной наряду с военными

был повешен священник; в поле под Татищевой крепостью расстреляны несколько солдат и «башкирцев» и т. д.

Думается, суть происходящего и сущность человека проявляется и в том, как убивается противник В «Истории Пугачёва» картин зверств предостаточно. Приведу одну: «С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи выдвинули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили <...> Вдова майора Веловского, бежавшая из Рассыпной, также находилась в Татищевой: её удавили» (Пушкин А. История Пугачёва // Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. - Т. 8. - М., 1958). Бессмысленная беспощадность, зверство как естество присущи, по Пушкину, многим бунтовщикам. Есенин уходит от подобной реальной фактуры, а звериную сущность бунтовщиков изображает как данность. Наиболее законченной «формулой» этой данности являются слова Хлопуши:

Завтра же ночью я выбегу волком Человеческое мясо грызть.

При зверстве как доминанте есенинских персонажей-бунтарей они - не однолинейные образы: в них живут и борются разные чувства, мысли, начала. Так, например, идея мести, неоднократно звучащая из уст пугачёвцев как верный и единственный способ решения всех проблем, не кажется самозванцу универсальной и совершенной:

Трудно сердью светильником мести Освещать корявые чащи.

Или в Пугачёве живёт внутреннее ощущение собственной греховности метоной:

Знайте, в мёртвое имя влезть - То же, что в гроб смердящий.

Однако не эти начала определяют личность героя. Есенинский Пугачёв в конце произведения, в отличие от частично раскаявшегося пушкинского, - это человек, красиво жалеющий о своей ушедшей мощи, юности, жизни. Он - эгоцентрическая личность, вызывающая у автора несомненную симпатию. И всё же вопреки ей у С.Есенина хватило мудрости, исторического чутья, художественной интуиции, чтобы не пойти вслед за своей, уже приводимой мной, устной оценкой Пугачёва и его окружения. Пугачёв - художественный образ и Пугачёв из беседы с И.Розановым - личности не только не тождественные, но и принципиально разные. В поэме намечился процесс изживания иллюзий политического бунтарства, идеалов романтической, антигосударственной, обезбоженной личности.

И нет никаких оснований, как это делают многие исследователи, говорить о понимании и приятии Есениным бунта 1773-1775 годов. Ещё больше вызывает несогласие характеристика Пугачёва в книге Н.Шубниковой-Гусевой «Поэмы Есенина» (М., 2001), где, в частности, он называется «гениальным человеком», «явно наделённым чертами Христа». Это даже на фоне версии исследовательницы о масонской символике «Чёрного человека» и посвящённости Есенина в философию вольных каменщиков удивляет, мягко говоря... Пора, наконец, понять, что научные, околonaучные и ненаучные игры и заигрывания с Пугачёвым, реальным человеком и литературным персонажем, - это всё равно, что продажа мотора за бутылку первача, так поступает «орясина», любитель песни о двух разбойниках, в известном стихотворении Ю.Кузнецова. Вслед за Юрием Поликарповичем я повторяю: «Не вспоминай про Стеньку Разина и про Емельку Пугача...».

Владимир Маяковский: в добровольном плену у политики.

В наши дни вновь популярна следующая точка зрения на жизнь и творчество

В.Маяковского: существуют якобы два поэта. Один - дореволюционный - чувствительный, ранимый человек, тонкий лирик, певец любви и т.д., другой - послереволюционный - поэт-трибун, принесший свой талант в жертву Октябрю и социалистическому строительству.

Данный подход считаю непродуктивным, ибо В.Маяковский, человек и поэт, - личность, на протяжении всей жизни и творчества не меняющаяся. Это постоянство, думаю, обусловлено следующими причинами.

Во-первых, хотя и родился поэт в семье лесника, природу как живой организм он не чувствовал, относясь к ней как к неусовершенствованной вещи, отдавая предпочтение делам рук человека, электричеству, например. Такая прагматичность, приземлённость автора принципиально отличают его от русских писателей XIX- XX веков.

Во-вторых, следует помнить о добровольной изъятости В.Маяковского из русской национальной среды, о его космополитизме с периодическими русофобскими проявлениями, как, например, в стихотворении «России», где автор вполне определённо заявляет: «Я не твой, снеговая уродина».

В-третьих, поэт пришёл в литературу как революционер. Революционер в широком смысле: не только как человек, обуреваемый желанием «делать социалистическое искусство», но и как личность, воспитанная не на русской классике, а на книгах, чуждых ей (КМаркс, ВЛенин), как личность, с юных лет прошедшая разрушительную школу ненависти.

Некоторые исследователи проделали огромную работу, чтобы нейтрализовать многочисленные «людоедские» строчки из «дореволюционного» Маяковского: «Понедельники и вторники // окрасим кровью в праздники!», «Выше вздымайте, фонарные столбы, // окровавленные туши лабазников», «Я тебя (Христа. -Ю.П.), пропахшего ладаном, раскрою // отсюда до Аляски!», «Я люблю смотреть, как умирают дети». Эти и подобные проявления духовной не- русскости автора необходимо рассматривать не в свете различных фантазий, начинённых ссылками на условность, образность, признания поэта и т.д., а с точки зрения христианских ценностей, традиций русской литературы.

Начнём с темы любви, идя вслед за известным признанием В.Маяковского из письма к Л.Брик «Исчерпывает ли для меня любовь всё? Всё, но только иначе. Любовь - это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё прочее. Любовь - это сердце всего» (Брик Л. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний // «Дружба народов», 1989, № 3). Поэтому обратимся к любви как факту литературы, как к показателю духовного уровня личности героя и творца.

В стихотворении «Ко всему» (1916) лирический герой (в данном случае его совпадение с автором несомненное) даёт себе следующую характеристику: Вот - я, весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души.

Первая часть утверждения лейтмотивом прошла через многие произведения поэта и получила наиболее образное выражение в следующих словах: «Я ж // навек // любовью ранен - // еле-еле волочусь» («Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»), Тесно связан с первым и второй лейтмотив творчества В.Маяковского - мотив неразделённой любви.

Показательна реакция героя на уход возлюбленной в стихотворении «Ко всему». В отличие от пушкинского «Как дай вам Бог...», есенинского «и простим...», звучит язычески-ветхозаветное: «Око за око». При этом месть мыслится самая изуверская: дайте любую красивую, юную, -

души не растрочу, изнасилую)

и в сердце насмешку плюну ей!

Такая реакция героя заставляет не только усомниться в величии его души, но и позволяет говорить о его духовном родстве с красногвардейцами из поэмы Блока «Двенадцать». И в том, и в другом случае в качестве потенциальной жертвы мыслится человек, не имеющий никакого отношения к героям, и что ещё важно подчеркнуть - любой инкогнито: в «Ко всему» - «любая красивая, юная», в «Двенадцати» - любой «буржуй» или тот, кто на глазок будет зачислен в этот класс. Сказанное не означает, конечно, что реакция на месть, направленная против непосредственного виновника страданий героя, должна быть иной.

В поэмах «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», в стихотворении «Ко всему» в качестве первопричины любовной измены выдвигается следующая: герой не в состоянии конкурировать с сильными мира сего - собственниками. При этом взгляды на любовь как на предмет купли-продажи у соперников совпадают.

Доказательством служат не столько суждения, подобные следующему: «Знаю, // каждый за женщину платит» («Флейта-позвоночник»), сколько тот факт, что при различных вариантах любовных измен герой ни разу не усомнился ни в своей возлюбленной, подчиняющейся законам сделки, ни в самом себе. То есть художественная логика поэмы такова: деньги - превыше чувств, деньги - главный арбитр «любви».

Любовь, испытываемая героем, больше разрушает, чем созидает его как личность, она - всепоглощающая страсть. В.Маяковский создаёт грандиозные образы, передающие силу и тяжесть, именно тяжесть данного чувства. Особенно впечатляет картина «пожара сердца» в поэме «Облако в штанах»: Люди нохают - запахло жареным! Нагнали каких-то. Блестящие! В касках! Нельзя сапожища! Скажите пожарным: на сердце горящее лезут в ласках. Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу. Дайте о рёбра опереться. Вискочу! Вискочу! Вискочу! Вискочу! Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

В поэзии В.Маяковского любовь-страсть не только прекрасная, но и опасная, даже смертельная болезнь лирического героя. Отсюда и мотив самоубийства. Самоубийство - и предлагаемое лекарство от «любви», и своеобразное зеркало «любви». Так, во «Флейте-позвоночнике» смерть представляется герою как избавление от любовной пытки, поэтому он, взывая к Богу, предлагает ему разные варианты желаемой собственной кончины: «Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, // и вымчи, // рвя о звёздные зубья», «Млечный Путь перекинув виселицей, // возьми и вздёрни меня, преступника. // Делай, что хочешь. // Хочешь, четвертуй».

Лиля Брикуже после смерти поэта утверждала, что мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского (Брик Л. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний // «Дружба народов», 1989, № 3). Так это или нет, судить не берусь. Однако в творчестве поэта данная идея «обыгрывается» не раз. И если слова: «А сердце рвётся к выстрелу, // а горло бредит бритвою» - воспринимаются во многом как поэтический ход, то от строк «он здесь застрелился у двери любимой» («Человек»), «Прощайте... Кончаю... Прошу не винить...» («Про это») - веет кровавым пророчеством, в них видишь своеобразный сценарий, которому суждено было воплотиться в жизнь.

В.Маяковский не только поэтически предсказывал собственную смерть, но и, как известно, дважды пытался уйти из жизни. В обоих случаях, особенно во втором, когда Маяковский позвонил Л.Брик и предупредил её о готовящемся шаге, видится нечто театральное, неважделешнее. Маяковский, человек и поэт, точно знает наперёд, что самоубийство - игра, которая не может закончиться смертью. Он не допускает такого малодушного шага. Отсюда и «Кто, // я застрелился? // Такое загнут!» («Человек»), и «В этой жизни помереть не трудно. // Сделать жизнь значительно трудней» («Сергею Есенину»), Но всё-таки любовная лодка разбилась... Разбилась, по версии поэта, о быт. После Октября именно быт становится, по Маяковскому, главным врагом высокого чувства. В понимании любви поэт был выразителем «левых» идей, поэтому естественно, что наряду с «генералами классики» множественным атакам в его творчестве подверглись традиционные семейно-бытовые ценности, получившие однозначную негативную трактовку как порождение «ушедшего рабьего». И как следствие, дом, по Маяковскому, - «единая будняя тина», а любовь в семье - «любовь цыплячья», «любовь наседок» («Про это»)...

В.Маяковский, подобно Марине Цветаевой, выносит любовь за рамки быта, семьи, то есть, предлагает в виде идеала «свободную любовь». Трудно понять, почему высокое чувство не совместимо с домашним чаем или штопкой носков. Конечно, хорошо, если ты имеешь кухарку, как лирическая героиня поэмы «Про это», или домработницу и деньги на питание не дома, как сам поэт. Но что делать тем, кто не имеет таких условий для «любви», кто в силу моральных принципов не может себе позволить «жизнь втроём», как лирические герои произведений В.Маяковского? Следствием взирания с домкомовских высот на людей, живущих традиционным семейным бытом, являются строки, в комментариях не нуждающиеся: «Сахара - и здесь // с негритоской курчавой //лакает (разрядка моя. - Ю.П.) семейный чай негритос» («Про это»),

В.Маяковский противопоставляет любви «квартирного маленького мирика» «любовь-громаду», выросшую из социальной почвы, из Бутырок, камеры 103. Как правило, в творчестве поэта идеологическая основа любовных отношений лирического героя настолько всеобъемлюща, что не позволяет говорить об этом чувстве: В поцелуерукли, губ ли,

в дрожи тела близких мне красный цвет

моих республик тоже

должен пламенеть.

«Письмо Татьяне Яковлевой».

Политизация и взнудание, смирение «чувства отпрысков дворянских» (второе ставит себе в заслугу поэт) привели, на мой взгляд, к полной рационализации отношений, к расчёту. Только если ранее он был денежный, то в послеоктябрьском творчестве - политический.

Какие бы скидки на условность, образность многочисленных любовных деклараций ни делались («Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Про это»), в них есть лишь неимоверно вывихнутые взаимоотношения между мужчиной и женщиной («Я не сам, // а я // ревную // за Советскую Россию» - «Письмо Татьяне Яковлевой»), лишь абстрактно ходульные лозунги («Любить - // это значит // в глубь двора...» - «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»).

Вселенский любовный пафос поэмы «Про это» и других произведений, игнорирующий отдельного человека с его маленьким «миром», явление нередко далеко не безобидное. Поэтому следующие строки из программного стихотворения «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», навеянные «громадой-лю-бовью», воспринимаются как закономерные: «Чтоб вражды головы спиливать с плеч хвостатой сияющей саблей».

В статьях «За что борется ЛЕФ?», «В кого вгрызается ЛЕФ?» В.Маяковский сформулировал основные идейно-эстетические принципы и свои, и этой организации. Писатель, с его точки зрения, должен выполнять в первую очередь агитационную функцию, поэтому предпочтение отдаётся публицистическим жанрам или, как писал В.Маяковский: «Наше оружие - пример, агитация, пропаганда» (Маяковский В. В кого вгрызается ЛЕФ? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 12.-М., 1959).

Художник, подобно своим собратьям по группировке, явно преувеличивал влияние искусства на действительность, что обусловило появление тезиса: литература - «искусство-строение жизни» (Маяковский В. За что борется ЛЕФ? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 12. - М., 1959). Узкий, прикладной взгляд сказался и в игнорировании вечной направленности искусства, в концентрации внимания на злобе дня, социальных, главным образом, аспектах её, в упрощённом изображении человека как продукта социальных отношений, продукта истории. Последнее наиболее ярко проявилось в известном утверждении В.Маяковского: «Единица - вздор, единица - ноль» («Владимир Ильич Ленин»), в требовании О.Брика «давать не людей, а дело...», так как видный теоретик ЛЕФа считал: «Формула Горького «Человек - это звучит гордо» для нас совершенно не годна, потому что человек - это может звучать подло, гадко, в зависимости от того, какое дело он делает» (Брик О. Разгром Фадеева - «Новый ЛЕФ», 1928, № 5).

В 1923 году В.Маяковский заявил о пересмотре тактики футуристов-лефовцев по отношению к культурному наследию. На смену лозунгу: «Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности» (1912) - пришёл тезис учёбы у «национализированных классиков» (Маяковский В. В кого вгрызается ЛЕФ? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 12. - М., 1959). Необходимо подчеркнуть, что поэт, как Горький и Луначарский, призывая к учёбе, имел в виду усвоение определённых приёмов, техники, грамотности письма. По отношению же к идеям, ценностям, выдвинутым русской литературой XIX века, позиция В.Маяковского и всех лефовцев оставалась неизменной. Для него неприемлемы ни «пыльные классические истины», ни «излияния о вечности и душе», ни чеховский язык, в котором поэт находит «проплёванность, гниль выражений с нытьем...». Поэтому центр «литературной тяжести» переносится на пролетарских писателей. Им В.Маяковский противопоставляет «классиков-попутчиков»: Пушкина, Толстого и других. Несовременность последних доказывается в духе самых неистовых ревнителей Пролеткульта и РАППа: «Достаточно сравнить татьянинскую любовь и «науку, которую воспевал Назон», с проектом закона о браке, прочесть про пушкинский «разочарованный лорнет» донецким шахтёрам или бежать перед первомайскими колоннами и голосить: «Мой дядя самых честных правил» (Маяковский В. Как делать стихи? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 12. - М., 1959) .

Утверждая, что «величайшие произведения искусства со временем умирают,дохнут, разлагаются...», В.Маяковский вступает в спор (сознательно или нет) с известным высказыванием Пушкина о вечной юности истинных творений. Трибун революции не только поддерживает попытки Мейерхольда «взбудить покойников» (то есть произвольно осовременить классику, Гоголя в частности), но и оценивает сие действо как «величайшую заслугу» этого режиссёра и любого другого, избравшего данный путь. Станиславскому же, продолжавшему традиции русского театра, ставится в вину и «Моя жизнь в искусстве», и «Дядя Ваня» А.Лехова, и «Белая гвардия» М.Булгакова. Вот только одно характерное утверждение В.Маяковского: «...Белая гвардия <...> явилась только завершающей на пути развития Художественного театра от аполитичности к «Белой гвардии» (Маяковский В. Выступление по докладу А.В. Луначарского «Театральная политика Советской власти» 2 октября 1926 года // Маяковский

В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 12. - М., 1959). Пьеса характеризуется поэтом как писк буржуазии.

Такие же несправедливые, вульгарно-социологические оценки даёт «трибун революции» «попутчикам»-современникам: А.Блоку,

С. Есенину и многим другим. Нет смысла спорить с утверждениями, подобными следующему: «Тов. Полонский радовался, что Есенин - распространённый писатель. Дай бог такому писателю поменьше распространения» (Маяковский В. Выступление на диспуте «Упадочное настроение среди молодёжи (есенинщина)» 13 февраля и 5 марта 1927 года //Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т.-Т. 12.-М., 1959). Обратимся лишь к тому критерию, которым В.Маяковский измеряет творчество С.Есенина, ибо критерий этот во многом помогает понять судьбу самого «трибуна революции»: «Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать орудие класса, оружие революции?» (Маяковский В. Выступление на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи (есенинщина)» 13 февраля и 5 марта 1927 года //Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т.-Т. 12.-М., 1959).

Через многие произведения В.Маяковского («Приказ по армии искусства», «Юбилейное», «Приказ № 2 армии искусства», «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Послание пролетарским поэтам», «Во весь голос» и другие) лейтмотивом проходит утверждение, что художник - боец на «баррикадах сердец и душ». И если С.Есенин даже в те периоды жизни, когда его мировоззрение находилось в согласии с «октябрём», не мог подчинить, отдать ему свою лиру («Русь советская»), то В.Маяковский на протяжении всего послеоктябрьского творчества определял «по коммуне стихов сорта» («Послание пролетарским поэтам») и периодически становился «на горло собственной песне» («Во весь голос»).

Несмотря на заявления: «Ныне наши перья - штык да зубья вил» («Юбилейное»), «И сегодня рифма поэта - ласка, и лозунг, и штык, и кнут» («Разговор с фининспектором о поэзии»), несмотря на многочисленные атаки на лирику и лириков, В.Маяковский осознавал, что он, ведущий в интересах революции «служебную нуду» («Юбилейное»), - лирик и принесение в жертву лирического начала нанесло значительный ущерб творчеству поэта.

Ущерб выражается в огромной нехватке своеобразных произведений, место которых заняли стихотворения на случай («Барабанная песня»), стоящие, как правило, в одном ряду с агитками тех лет и не представляющие интереса как явления искусства. Ущерб видится и в общем снижении идейно-эстетического уровня творчества В.Маяковского, в схематичном изображении человека и времени.

Футуристически-лефовские взгляды поэта, его уверенность в том, что завтрашний мир можно строить «по чертежам деловито и сухо» («Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому»), по чертежам не ошибающегося архитектора - партии, приводили довольно часто к недооценке человеческого фактора (природа, духовно-нравственный мир личности и её роль в истории трактовались упрощённо), к появлению произведений, где действительность изображалась либо схематично - поверхностно, больше с точки зрения будущего, чем настоящего («Левый марш», «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», «Марш ударных бригад»), либо в корне искажалась («Урожайный марш»).

Задачу «выволоочь республику из грязи» В.Маяковский решал преимущественно как поэт-публицист. Поэтому и удача приходила тогда, когда материал не противоречил законам жанра («Прозаседавшиеся»), Особняком стоят поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», влияние на которые публицистического начала огромно.

В первой главе поэмы «Хорошо!» В.Маяковский с лефовских позиций констатирует конец «старого» искусства: «...Были времена // - прошли былинные. // Ни былин, // ни эпосов, // ни эпопей» - и противопоставляет ему новое искусство, в основе которого лежит его величество Факт. Но именно факты и особенно их осмысление вызывают возражения.

Сегодня очевидно, что картина взятия Зимнего дворца, представленная в поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», как и огромное множество ей подобных в литературе и кино, мало соответствует реальным событиям. Можно предположить, что это несознательное искажение исторической правды - результат принятия на веру официальной точки зрения, которая была созвучна художнику.

Естественно, что просчёты в «большом» не могли не сказаться в «частном», то есть в эпизодах, дополняющих общую картину. Так, В.Маяковский явно солидарен с логикой путиловца, который, как утверждалось на протяжении многих десятилетий, даёт урок новой нравственности: «Ты, парнишка, выкладывай ворованные часы - // Часы теперича наши» («Хорошо!»). Действительно, речь идёт об утверждении какой-то новой морали, основывающейся на классовой целесообразности: если не наше, то, по популярному выражению того времени, «грабь награбленное».

Принципиальное значение имеет спор Маяковского с Блоком, который трактовался обычно в пользу первого. В.Енишерлов справедливо пишет по этому поводу: «Даже если оставить в стороне явную фактическую неточность Маяковского, перекочевавшую позже в его поэму «Хорошо!», касающуюся гибели Шахматова и реакции на неё Блока, необходимо заметить, что двойственности, о которой пишет далее Маяковский, у Блока по отношению к революции не было» (Енишерлов В. В те баснословные годы. - М., 1985).

Что касается вопроса о тонущей России Блока, то прежде нужно сказать об отношении Маяковского к России вообще - ключевой проблеме для любого русского художника. «...Возненавидел сразу - всё древнее, всё церковное и всё славянское» (Маяковский В. Я сам // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. - Т. 1. - М., 1959) - это детское чувство осталось неизменным на протяжении всей жизни поэта. История, вызывающая любовь, начинается для Маяковского с революционной борьбы рабочего класса. Такая ненависть-любовь, получившая название «национальной гордости великороссов» (Вленин), естественно, способствовала тому, что тема России почти не получила отражения в творчестве русскоязычного «трибуна революции». Это коренным образом отличает его от Блока и Есенина, для которых она была главной.

Идеал мира «без России, без Латвий» («Товарищу Нетте, пароходу и человеку») - это образная формула интернационального общежития, глубокое убеждение человека-космополита, русскоязычного писателя. Свидетельство тому, в первую очередь, девятая глава поэмы «Хорошо!».

Определение отношения к земле, тебя породившей, через материальные и прочие блага не ново. В.Маяковский сводит чувства людей, оказавшихся за границей, к выгоде, к текущему счёту, что несправедливо, ибо трагедия и любовь большинства, как их называет поэт, «бывших русских» широко известны.

Любовь - иррациональное чувство, особенно любовь к родине. У автора «Хорошо!» оно в высшей степени разумно, социально. Непродуктивно противопоставлять «инжир с айвой», «воздух как сладкий морс» (условия, по Маяковскому, не способствующие настоящей любви) разнообразнейшим лишениям, борьбе, помогающим обрести глубокое чувство. Очень многие из тех, кто «вынылчил» «социалистическое отечество», прямо или косвенно уничтожали национальные ценности, способствовали тому, что слова «русский» и «Россия» стали сначала символами контрреволюционности, а затем и действительно были утрачены.

Для Маяковского тонущая страна Блока - не только Россия «незнакомок», но и Русь историческая. Смерть её для поэта закономерна и радостна.

Непосредственно связана с этим вопросом тема крестьянства. Здесь, как и в других случаях, «трибун революции» был в добровольном плену у официальных легенд. Поэт в силу своего жизненного опыта, в силу своих убеждений не знал и не мог знать русскую деревню. Отсюда и плакатно-примитивные картинки («В деревнях - крестьяне. // Бороды-веники. // Сидят папаша. // Каждый хитр. // Землю попашет, // попишет стихи» - «Хорошо!»), и дилетантские рецепты, даваемые с видом знатока («Чем жить, зубами щёлкая // в голодные года, // с проклятою // трёхполкою // покончим навсегда» - «Урожайный марш»), В целом же крестьянство - опасный груз на правом борту, и ему, как несознательному, необходим «пролета-риат-водитель» («Владимир Ильич Ленин»),

По такой же известной схеме изображается в «Хорошо!» крестьянское движение - стихия, «прибираемая партией к рукам». Если в данной поэме об этом процессе сказано отвлечённо, общо, то во «Владимире Ильиче Ленине» Маяковский более конкретен, и ошибочность его точки зрения очевидна.

Можно лишь гадать, почему в произведении продрозвёрстка направлена только против кулачества. Либо для поэта все крестьяне - кулаки, либо он сознательно (неосознанным, вследствие общеизвестности фактов, это быть не могло) искажает политику советской власти по отношению к сельским жителям. В любом случае ясно, что Маяковский - приверженец «железной диктатуры». Он, в отличие от Есенина, не приемлющего революционного кровавого гуманизма, без тени сомнения заявляет: «Разве // в этакое время // слово «демократ» // Набрёт // какой головке дурьей? // Если бить, // так чтоб под ним // (кулаком. - Ю.П.) панель была мокра...» («Владимир Ильич Ленин»),

Итак, творчество поэта находилось в добровольном плену у Маяковского-политика. Это привело к нарушению исторической, художественной правды, к схематизации изображения мира и человека, выхолащиванию живой жизни. В.Маяковский действительно явил новый тип отечественного писателя, сознательно порвавшего с национальными традициями, утверждавшего своим творчеством ценности, несовместимые с традиционными, христианскими ценностями русской литературы. Место человека с «лицом», созданного по образу и подобию

Божьему, в его поэзии занимает социально или чувственно детерминированный индивид.
Думаю, нет никаких оснований относить творчество В.Маяковского к русской литературе. Поэт
- один из первых и один из самых «химически чистых» русскоязычных авторов в словесности
XX века.

1990

Румянцевский музей

Юрий Павлов. Человек и время в поэзии, прозе, публицистике

XX - XXI веков. М., 2011

Человек и время в «Белой гвардии» и «Собачем сердце» Михаила Булгакова.

Немало исследователей утверждает, что **Булгаков** - атеист и даже сатанист. Думаю, нет оснований говорить об атеизме как неизменной величине мировоззрения писателя, а сатанизм - это из области фантазии.

Булгаковскую позицию в «Белой гвардии» проясняют следующие дневниковые записи, сделанные в период работы над романом: «Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ»; «Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого»; «Помоги мне, Господи»; «Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть Он ей поможет»; «Богу сил!»; «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясён. Соль не в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно Его! Не трудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000). Эти, как и некоторые другие, высказывания дают основания говорить, по меньшей мере, о религиозности - непоследовательной вере - М.Булгакова в момент написания «Белой гвардии», что проявляется и через систему образов романа.

Имя Господа довольно часто - более 150 раз - называется героями «Белой гвардии». В одних случаях - их меньшинство - это происходит формально-машинально, как, например, в начале монолога подполковника Гцёткина: «Ах, Боже мой. Ну, конечно же. Сейчас. Эй, вестовые <...>». В других случаях обращение к Господу или название Его имени происходит осознанно, как в молитвах Елены Турбиной, Ивана Русакова, Якова Фельдмана.

К помощи Божьей взывают многие и разные - по национальности, политическим взглядам, нравственному уровню - герои романа. Чаще всего это происходит в критических пограничных ситуациях: в момент опасности, на краю гибели - физической или моральной. И, естественно, определяющую роль для понимания героя играет то, какую цель при помощи молитвы пытается достичь просящий. Для выяснения этой цели приведу молитвы Турбиной, Русакова, Фельдмана: «На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На тебя. Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо... Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай»; «Господи, прости и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова... Я верю в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе... У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи... Не дай мне сгинуть, и я клянусь, что я вновь стану человеком»; «Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев... Всё берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!»

Эти молитвы показательны в нескольких отношениях. Во-пер-вых, слова Елены Турбиной об общей ответственности позволяют говорить о христианской составляющей её личности. Сознательно избегаю понятий «христианская личность», «христонсная личность». По словам

преподобного Иустина (Поповича), спасение и обожение человека осуществляется через таинства и добродетели (Преподобный Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. - СПб., 1998). Проявления же минутной добродетели мысли Турбиной - ещё не основание для сущностных выводов.

Во-вторых, символичен тот духовный перелом, который происходит в Иване Русакове: христоносные истины открывает для себя один из самых грехопадших героев, индивид, сознательно порвавший с Господом, богохульствующий в жизни и творчестве. Такой человеческий тип выбран М.Булгаковым не случайно: он - своеобразное доказательство и проявитель сущности веры, христианских идей вообще. Этот выбор писателя снимает многие вопросы о его вере - неверии. К тому же человек неверующий, не знакомый с канонами христианской патристики, не смог бы так точно изобразить духовное перерождение человека.

Через покаяние и обретенную веру Русакову даруется прощение за грех прелюбодеяния и хулу на Духа Святого. Вера героя - здесь М.Булгаков вновь следует христианским канонам - это дар Божий человеческому естеству, дар, доступный каждому: по словам святого Игнатия Брянчанинова, «мы имеем его в зависимости от проявления нашего, - имеем, когда захотим» (Брянчанинов И. Сочинения: В 4 т. - М., 1993). Подчеркну, что речь идёт, используя терминологию Брянчанинова, о «естественной» вере, а не о вере «деятельной», которая есть результат использования евангельских заповедей и которую «стяжают подвижники Христовы».

Естественная вера открывает перед Русаковым горизонты мысли, недоступные другим героям романа. Одним из принципиальнейших является следующее суждение Ивана: «...Если бы Тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что Ты существуешь...». Эти слова Русакова перекликаются, совпадая по сути, с известными высказываниями святых отцов и православных мыслителей. Через эти слова выражается авторское представление о человеке, несовместимое с гуманистическим идеалом автономной личности, согласно которому человек может быть добрым, совершенным без помощи Божьей.

Молитва Якова Фельдмана начинается по-русски, а заканчивается по-еврейски: «Шмаисроэль!» Данное обращение указывает, что это не христианская, а иудейская молитва, поэтому оценивать её следует с соответствующих позиций.

Фельдман, как Турбина и Русаков, просит Господа о чуде. Если Елена хочет спасти брата Алексея, то Иван и Яков - себя. Турбина и Русаков воспринимают сложившиеся ситуации как наказание за грехи - собственные и всеобщие, у Фельдмана подобные мысли не возникают совсем. Только у него обращение к Богу идёт параллельно и даже сливается воедино с мольбой к петлюровцам. Поэтому приходится гадать, кому герой предлагает одиннадцать тысяч карбованцев за жизнь. Судя по словам автора, «не дал», всё же - Господу.

Такое необычное с христианской точки зрения предложение можно рассматривать и как акт отчаяния, и как своеобразное жертвоприношение, вроде бы вписывающееся в традицию. По свидетельству С.Пилкингтона, специалиста по иудейским культам, молитва всегда шла рука об руку с жертвоприношением (Пилкингтон С. Иудаизм. - М., 2000). Правда, жертвоприношение Фельдмана более похоже на куплю-продажу, на сделку: подрядчик и перед Богом, и перед смертью остаётся подрядчиком.

Только несчастному еврею Господь (который в художественном произведении подчиняется воле автора) не дарует жизнь. В этом факте при желании можно увидеть проявление якобы булгаковского - го антисемитизма... Смерть Фельдмана символизирует и не закат империи, как считает М.Каганская, человек с богатой фантазией (Каганская М. Белое и красное. - «Литературное обозрение», 1991, №5). Смерть подрядчика есть результат, во-первых, его неверия или недостаточной веры, во-вторых, стечения обстоятельств.

Спасение от смерти физической и духовной возможно только через искреннее обращение к Богу: через покаяние, молитву. Эта чётко прослеживаемая романная закономерность, свидетельствующая о жизненной позиции автора, не замечается или по-разному дискредитируется даже в 80-90-е годы XX века. В частности, в этот период становится довольно популярным «леонтьевский» (буквалистский, буквоедский) подход. Так,

М.Петровский утверждает: «Булгаковские персонажи - искренние и горячо верующие - вполне обходятся (без литургии. -Ю.П.)...

Исступлённо, обливаясь слезами, молится о братьях (в романе, конечно, о брате. -Ю.П.) Елена Тальберг <...>, но молится она, конечно, не в храме, а в своей спальне, у домашней божницы. Алексей Турбин идёт к о. Александру <...>, но идёт, заметим, не в храм, а в жилище священника... Вот, казалось бы, случай Алексею Турбину попасть во Владимирский собор - там отпевают порубанных под Киевом офицеров, но Турбин не только не попадает в храм, даже на паперть его не ступает, наблюдая всю сцену похорон издали...» (Петровский М. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгакова. - Киев, 2001).

Критик помещает эпизоды «Белой гвардии» в безвоздушно-бес- событийное, умозрительно-экспериментальное поле и подгоняет их под свою концепцию. Например, молитва Елены дома вызвана не неприятием Церкви, не своеобразным протестантизмом автора, на чём настаивает М.Петровский, а тем, что эта молитва совершается тогда, когда героиня узнала и сама поняла: брат Алексей умирает. Отсюда её переживания, которые передаются автором при помощи художественных деталей разной степени выразительности: «Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твёрдыми шагами»; «Ни один из них (Карась, Мышлаевский, Ларио- сик. -Ю.П.) не шевельнулся при её проходе, боясь её лица». Таким образом, молитва Елены - это естественный поступок героини, это реализация её личности через почти немедленное обращение к Богу. Турбин же находился вне храма во время похорон офицеров не по религиозным соображениям, о которых в романе ни слова, а потому что выполнял приказ полковника Малышева, давшего на сборы один час.

Антихристианский мир в «Белой гвардии» персонифицированно представлен Троцким, Шполянским, Петлюрой, Козырем, другими большевиками и украинскими националистами. При этом Троцкий и Петлюра - дьяволы, которые возглавляют аггелов разных мастей. Аггел - это не дьявол, сатана, как утверждает В.Петелин (Петелин В. Краткие комментарии // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 4. - М., 1997), а бес. Версия же критика - Троцкий, предводитель дьявола, - есть плеоназм, ибо предводителем сатаны может быть только сатана.

Троцкий наименее выписанный герой «Белой гвардии», что объясняется и сюжетно-композиционной логикой произведения, и дьявольской природой Троцкого, и его политическим весом в годы создания романа. Троцкий-образ и Троцкий-человек на протяжении последних примерно пятнадцати лет - объект взаимоисключающих версий, непрекращающихся споров исследователей, в которых обязательно, в качестве альтернативы Льву Давидовичу, присутствует Сталин. При этом нередко литературоведы и критики навязывают Булгакову свои политические пристрастия.

Б.Соколов, например, на рубеже 90-х годов так оценивал события 8 января 1924 года: «Писатель пронизательно осознал, что устранение Троцкого открыло путь к единоличной и абсолютной диктатуре Сталина в недалёком будущем, и это вызвало у него обоснованную тревогу за судьбу России» (Соколов Б. Михаил Булгаков. - М., 1991). В «Булгаковской энциклопедии», вышедшей в 1996 году, тот же автор трактует данный факт внешне несколько иначе, но, по сути, схоже: «Очевидно, он считал победу Троцкого меньшим злом по сравнению с приходом к власти Сталина... Вероятно, для писателя в образе Троцкого навсегда слились апокалипсический ангел - губитель белого воинства, яркий оратор и публицист и толковый администратор, пытавшийся упорядочить Советскую власть и совместить её с русской национальной культурой» (разрядка моя. -Ю. П.) (Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. - М., 1996).

Поводом для таких утверждений послужила следующая дневниковая запись М.Булгакова: «Итак, 8-го января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть Он ей поможет» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000). В ней, думается, речь идёт о неопределённости положения, о возможности нового, неожиданного, ещё более неблагоприятного развития событий в стране. Характеристика Троцкого - это плод фантазий Б.Соколова. Его версия зиждется на эпизодах из ранней редакции «Дней Турбиных»: Мышлаевский сначала предлагает выпить за здоровье Троцкого, а потом в финале пьесы говорит: «Троцкий. Великолепная личность. Очень рад. Я бы с ним познакомился и корпусным командиром назначил бы...». Эти эпизоды ничего не доказывают, ибо таким образом проявляется позиция героя, и не более того. Если руководствоваться

подобной логикой, то почему тогда не взять высказывания Алексея Турбина из «Белой гвардии»: «У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас - Троцкий». Так поступают исследователи от А.Кубаревой до ВЛосева, видя в словах героя проявление авторской точки зрения, что частично подтверждается, добавлю от себя, оценкой Троцкого в «Грядущих перспективах»: «зловещая фигура» (Булгаков М. Дьяволиада. Повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 //Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 1 - М., 1995).

И всё же нет никаких оснований принять версию ВЛосева, типичную для части исследователей: «Возможно, Троцкий был для Булгакова олицетворением самого чудовищного врага России. Во всяком случае, таким предстаёт Троцкий в произведениях писателя» (Лосев В. Комментарии // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10.- М., 2000). Врага ВЛосев не называет, как и не называет произведения. Но, судя по другим его высказываниям, под врагом подразумевается явно не большевизм, советская власть, а еврейство.

В этой связи одни критики и литературоведы считают, что М.Булгакову был присущ бытовой антисемитизм, который проявлялся в подчёркивании еврейской национальности несимпатичных ему людей (Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. - М., 1996). Другие рассматривают произведения писателя как явление СРА - субкультуры русского антисемитизма (Золотоносов М. «Сатана в нестерпимом блеске...» - «Литературное обозрение», 1991, № 5).

Еврейская тема проходит через всё творчество М.Булгакова - от публицистики до разножанровых художественных произведений.

Конечно, еврейский контекст необходимо учитывать при определении булгаковского видения личности Троцкого в «Белой гвардии»: такая логика восприятия задаётся и высказываниями Ивана Русакова, и следующими дневниковыми записями: «Новый анекдот: будто по-китайски «еврей» - «там». Там-там-там-там (на мотив «Интернационала») означают много евреев»; «Мальчишки на улицах торгуют книгой Троцкого «Уроки Октября», которая шла очень широко. Блистательный трюк в то время как в газетах печатаются резолюции с преданием Троцкого анафеме, Госиздат великолепно продал весь тираж. О, бессмертные еврейские головы»; «Это рак в груди (о книжном деле Френкеля. -Ю.П.). Неизвестно, где кончатся деньги одного и начинаются деньги другого»; «Эти «Никитинские субботники» - затхлая, советская рабская рвань, с густой примесью евреев»; «У меня нет никаких сомнений, что он еврей (французский премьер-министр Эррио, «допустивший» большевиков в Париж. -Ю.П.). Люба мне это подтвердила... Тогда всё понятно»; «Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника (в номерах «Безбожника», в редакции которого, по словам еврея, сопро-вождавшего Булгакова, «как в синагоге». -Ю.П.), и именно его. Не трудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000).

В отличие от современных исследователей (М.Каганской, Б.Соколова, М.Золотоносова, с одной стороны, А.Кубаревой, В.Петелина, В. Лосева, с другой), М.Булгаков, констатируя национальность Троцкого в дневниках и «Белой гвардии», не ставит её во главу угла, как и не заикливается на фигуре Льва Давидовича вообще. Он лишь объективно указывает в «Грядущих перспективах» и «Белой гвардии» на его руководящую роль в годы гражданской войны.

Приведённые записи и то, что осталось за «бортом», дают основание предположить: для Булгакова национальная составляющая человека, по большому счёту, имеет значение лишь настолько, насколько она противостоит традиционным христианским основам бытия. Отсюда мотив «Белой гвардии»: Троцкий - антихрист, большевистская Москва - город дьявола.

Вообще нельзя говорить о закреплённом смысловом значении за словом «еврей». Оно употребляется в романе в разных контекстах не только как символ революции, но и империи. Так, из хора голосов во время встречи Петлюры следует, что «жид», «офицер» и «помещик» одинаково ненавистны толпе, все они подлежат уничтожению.

Примечательно, что смерть именно еврея (ещё одно - теперь художественное - опровержение антисемитизма М.Булгакова) вызывает эсхатологические размышления автора, в которых национальная ипостась личности естественно и незаметно переходит в общечеловеческую. (Другое дело, что жидовская морда... шпион - это выкрики пьяного петлюровца, которые могут не нести никакой реальной подоплёки.) Писатель, по-библейски говоря о жизни и

смерти, преступлении и наказании, утверждает ценность любого человека. Позиция М.Булгакова в этом и некоторых других вершинных эпизодах романа - это позиция христианского гуманиста, который человека воспринимает без сословных, национальных, религиозных, расовых ограничений, как существо, созданное по образу и подобию Божьему.

Показательно, что в современных интерпретациях «Белой гвардии» на смену социально-классовому подходу пришёл национально-государственный. Правда, нередко он сводится к примитивной «левой» парадигме «метрополия - колония». Так, исследовательница из Израиля М.Каганская неоднократно утверждает, что «Белая гвардия» - имперский роман (Каганская М. Белое и красное. - «Литературное обозрение», 1991, № 5).

Эта идея была подхвачена профессором МГУ Е.Скороспеловой и спроецирована на пьесу «Дни Турбиных»: «Драматург остановился на событиях, связанных с бегством гетмана Петлюры, что с цензурной точки зрения было наиболее приемлемо» (Скороспелова Е. МА. Булгаков // Русская литература XIX-XX веков: В 2 т. - Т. 2.: Русская литература XX века. - М., 2000). И в качестве аргументации профессор приводит суждение М.Каганской о «Белой гвардии», воспринимаемое как аксиоматичное: «Противостоит великодержавность - сепаратизму, метрополия - колонии, Россия - Украине, Москва - Киеву». Не меньшее недоумение вызывает вторая часть рассуждений М.Каганской, принятых Е.Скороспеловой, рассуждений, из которых следует, что П.Скоропадский - символ московской, русской великодержавности.

Данная версия не нова. Ещё С.Петлюра и его сторонники упрекали Скоропадского в «москофилии». И если бы не типично-показательная реакция профессора МГУ на этот миф, я бы не стал приводить следующие факты. Сошлюсь не на мемуары В.Шульгина и других «правых», которые, с точки зрения каганских-золотоносовых, заранее и всегда не правы. Сошлюсь на свидетельство Н.Василенко, министра в правительстве П.Скоропадского, и В.Вернадского, президента Украинской Академии наук

Н.Василенко выдвинул идею «Украины до Сухума», и он же предполагал, что «после такого шовинистического (украинского. - Ю.П.) министерства будет стремление к унитарной России» (Вернадский В. Дневники 1917-1921. - Киев, 1994). В.Вернадский в своих дневниках отмечал как то, что и для русских создаётся «совершенно невозможное положение», так и «повсеместное сопротивление» национальной политике правительства Скоропадского: «Сейчас в Полтаве очень тревожное чувство в связи с начинающейся насильственной украинизацией... Небольшая кучка людей проводит, и начинается отношение такое же, как к большевикам»; «Любопытно отношение к украинскому вопросу творческих сил в Полтаве - отрицательное»; «Палиенко рассказывает, что в Харькове резкое движение против украинцев, не сравнимое с Киевом»; «Крым не хочет «воссоединяться» с Украиной. Рассказывали, что в Крыму официальный язык - русский, допускаются немецкий и татарский. Пропущен украинский» (Вернадский В. Дневники 1917- 1921. - Киев, 1994) ■

Этот исторический контекст не учитывается многочисленными авторами, упрекавшими М.Булгакова и его героев в украинофобии. Так, ещё в 1929 году украинские писатели требовали от Сталина снять пьесу «Дни Турбиных», ибо в ней унижается украинский народ и она пронизана великодержавным пафосом единой и неделимой России. Незадолго до этого, видимо, руководствуясь той же логикой, вопреки воле М.Булгакова, на генеральной репетиции МХАТа была изъята «петлюровская» сцена - избиение и гибель еврея. Но дальше всех в этом направлении пошла, уже в наши дни, М.Каганская. Она, в частности, утверждает: «Ничего украинского не признавал в Киеве и Булгаков. Потому и не захотел вписать в роман настоящее имя города <...> Вот Булгаков пишет: «...наступил белый, мохнатый декабрь». Неправда: в Киеве наступает не безличный двенадцатый месяц, а «грудень» <...>.

И роман называется не «Белая Армия», - как принято именовать регулярные части, сражавшиеся с большевистской напастью, - но «Белая гвардия», ибо гвардия - это Империя. Вот и выходит, что петлюровщина - не что иное, как бунт давно покорённого варварского племени <...>. И выглядят петлюровцы как варвары: «чёрные в длинных халатах», на головах - тазы...» (Каганская М. Белое и красное. - «Литературное обозрение», 1991, № 5).

Комментировать подобные высказывания, мягко говоря, не очень продуктивно. Отмечу лишь «новаторскую» трактовку М.Каганской художественных тропов. Она, пожалуй, первой увидела в сравнении, метонимии проявление имперскости. Но если бы исследовательница не была столь пристрастна, то наверняка бы заметила, что в романе в тазах гораздо чаще

«фигурируют» немцы, чем петлюровцы: «Но однажды, в марте, пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были металлические тазы, предохраняющие их от шрапнельных пуль»; «к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах»; «Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах»; «И тазы немецкие козырнули»; «пролетят немецкие машины, или же покажутся чёрные лепёшки тазов». И если украинцев М.Каганская упрекает в неправильном отношении к Булгакову («На нынешней Украине Булгакова сильно не любят. А надо бы ненавидеть»), то что же она посоветует «бедным» немцам, которые не только в тазах, но и «похожи на навозных жуков»?

Известные высказывания героев «Белой гвардии», которые оцениваются как антиукраинские и киевским исследователем В.Малаховым (Малахов В. Гавань поворота времён (Онтология Дома в «Белой гвардии» Михаила Булгакова). - «Вопросы литературы», 2000, № 5), не есть собственно антиукраинские, имперские и т. д. Они порождены прежде всего той самостийной национальной политикой, о которой говорилось выше. Через эти высказывания Булгаков объективно отразил господствующие настроения среди населения, украинского в том числе.

Тема любви и войны, заявленная в «Белой гвардии» уже в первом абзаце как звёздное противостояние Венеры и Марса, получает далее онтологическое развитие как тема жизни и смерти. Кончина матери Турбиных воспринимается её сыновьями как несправедливость, недоступная человеческому разумению. Смерти, вызванные гражданской войной, усиливают чувство метафизической несправедливости. А идея возмездия, наказания, лейтмотивом проходящая через весь роман, не является качественно равноценным полюсом, полностью или частично уравнивающим эту несправедливость, о чём открыто, с явной горечью сказано лишь в конце «Белой гвардии».

Узаконенная земная несправедливость неприемлема для многих героев романа, поэтому они пытаются найти то, что не уничтожается смертью. Эти идейные, духовные, онтологические искания героев происходят в двух временных плоскостях: во времени-совре- менности и времени-вечности. Приём монтажа, активно используемый М.Булгаковым, позволяет ему рассматривать судьбу отдельного человека и гражданскую войну в целом с позиций вечности, а также осовременивать вечные чувства, проблемы, явления. Так, бассейн из школьных задач главных героев становится «проклятым бассейном войны», вмещающим в себя три года метаний в седле, чужие раны, унижения и страдания. А медаль Максима (во время обучения Алексея Турбина в гимназии), «медаль с колесо на экипаже», ассоциируется с колесом истории, судьбой, которая так быстро прокатилась.

Вечный план повествования не только расширяет хронологические рамки повествования, но и делает реальные исторические лица из прошлого своеобразными современниками, участниками событий. Помпеи и «ещё кто-то высадившийся и высаживающийся в течение двух тысяч лет» стоят в одном ряду с Алексеем Турбиным, ступившим на гимназический плац в декабре 1918 года. Тот же герой, чей голос в данном случае сливается с авторским, обращается к императору Александру I: «Разве ты, ты, Александр, спасёшь Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру».

При помощи такого приёма, несущего разные смысловые нагрузки, создаётся и эффект «перекрёстка» жизни как постоянного повторения общих ситуаций, определяющей среди которых является ситуация выбора. На «перекрёстке» оказываются прямо - почти все и косвенно - все герои «Белой гвардии».

В.Турбин, обращая внимание на эту неслучайную закономерность в художественном мире романа, делает следующий вывод: «...Улица пересекается с улицей, образуется пере-крёст-ок - сиречь, крест, распятие. Разумеется, распятие в контексте всех атрибутов современной цивилизации.

Участь евангельских мучеников достаётся обыкновенным людям. <...> Удел, однажды выпавший святому Иоанну Крестителю, ныне переходит к незлобивому иноверцу Фельдману...» (Турбин В. Катакомбы и перекрёстки. - «Москва», 1991, № 5). В размышлениях критика всё натяжка: и в отношении креста-распятия, и участи евангельских мучеников, и Фельдмана.

Думается, М.Булгаков использует традицию, согласно которой «перекрёсток» - это, как сказано в словаре В.Даля, «место роковое и нечистое», «тут совершаются чары, заговоры... На

перекрёстке нечистый волен в душе человека» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Т. 3- - М., 1995). И герои «Белой гвардии» в различных ситуациях, от любовной до военной, делают в конце концов метафизический выбор, выбор между Христом и антихристом, что, правда, редко кем из них осознаётся.

Сознательно вводя в роман высший критерий личности и жизни вообще, писатель следует христоцентричной традиции русской литературы. Поэтому в ключевых сценах романа появляются Елена Турбина, Иван Русаков, Петя Щеглов - герои, которые символизируют силу и разные грани христианских идеалов, противостоящих мечу войны, смерти физической.

Идея возмездия, расплаты, лейтмотивом проходящая через всё произведение, не случайно заменяется идеей Бога, христианской любовью, детской непорочностью. Символично, что меч на Владимирском соборе вновь превращается в крест. К небу, престолу Бога, к вечным ценностям, которые символизирует оно, открыто призывает обратиться М.Булгаков, обратиться к тем ценностям, которые в большей или меньшей степени забыли, через которые переступили почти все герои романа.

В момент написания романа мировоззрение М.Булгакова было пропитано большой дозой западничества, что проявилось, в частности, в дневниковых записях от 30 сентября и 26 октября 1923 года (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000). Все славянские народы, государства он относил к второстепенным, диким и противопоставлял им в качестве образца Германию и немцев в первую очередь. В «Белой гвардии» М.Булгаков как художник частично «снимает» эту альтернативу, переоценивая вторую - европейскую - её составляющую. Духовно «цивилизованные» немцы стоят в одном ряду с «дикими» русскими беженцами из Петербурга и Москвы, преимущественно интеллигентами. Их роднит злоба, ненависть, испытываемая к украинским крестьянам и русским мужикам. «Цивилизованные» немцы стоят в одном ряду с «дикими» петлюровцами, с Тальбергом («куклой, лишённой малейшего понятия о чести»), со «штабной сволочью» «белых», с трижды отрёкшимся капитаном Плешко и другими самыми продажными персонажами романа.

В «Белой гвардии» через разных героев транслируется идея о двойной игре и союзников, и немцев, игре, выявляющей их «цивилизованную» сущность и опрокидывающей схемы Булгакова-пуб- лициста. Двойная-тройная игра немцев может быть подтверждена и фактами, до сих пор не введёнными булгаковедами в научный и читательский обиход: германское военное руководство тесно сотрудничало с большевиками в уничтожении монархически настроенного офицерства летом 1918 года; немецкий министр иностранных дел на протест гетманского правительства против большевистского террора ответил, что это не террор, а уничтожение безответственных элементов, провоцирующих беспорядок и анархию; в «ноте Гинце» оговаривались взаимные обязательства Германии и Советской России в борьбе с Добровольческой армией...

Отношение же М.Булгакова к России, русскому и украинскому народам в «Белой гвардии» осталось практически неизменным - западническим. В пьесе с одноимённым названием, в первой редакции «Дней Турбиных», писатель наиболее открыто выразил своё отношение к известной традиции русской литературы и отечественной - «правой» - философской мысли. Согласно этой традиции народ, крестьянство в первую очередь, является носителем христианских идеалов. Имя Достоевского в этой связи возникает не случайно и уже на первых страницах произведения: Мышлаевский заявляет, что он с удовольствием повесил бы писателя за народ-бого- сец. Такое желание вызвано тем, что народ не оправдал своего предназначения, не выдержал испытания временем. Он, как в случае боёв за Киев, оказался не на той стороне - стороне Петлюры.

Конечно, можно предположить, что данная точка зрения на ситуацию и проблему в целом неприемлема для М.Булгакова, поэтому он вводит в текст суждение Алексея Турбина о Достоевском: «выдающийся писатель земли русской». Показательно, что в последующих редакциях исчезают и желание Мышлаевского повесить Достоевского, и турбинское высказывание. Неизменным остался лишь негативный пафос, направленный против народа, характеризуемого через классиков русской литературы.

Окончательная драматургическая «прописка» мужиков отличается от романной «прописки». Если в «Белой гвардии» фраза Мышлаевского выглядит так: «Я думаю, что это местные мужички-бого- носцы достоевские!.. у-у.. вашу мать», то в «Днях Турбиных» иначе: «А

мужички там эти под Трактиром. Вот эти самые милые мужички - сочинения графа Льва Толстого!».

Сама рокировка «Достоевский - Толстой» вряд ли равноценна, ибо народ по Достоевскому и народ по Толстому - понятия нетождественные. Это, как и сама полемика, многими исследователями не замечается. Они, подобно Вс.Сахарову, утверждают: «Жизнь классической традиции, линия Пушкина, Достоевского, Толстого в нашей литературе не обрывается, а книга о Турбиных доказывает это» (Сахаров Вс. Михаил Булгаков: Уроки судьбы - «Подъём», 1991, № 5). Те же авторы, кто указывает на спор с конкретными писателями и традицией в целом, характеризуют его недостаточно точно. Так, М.Чудакова утверждает, что «Булгаков спорит в сущности не с Некрасовым, Толстым или Достоевским по отдельности, а со всей этой традицией русской литературы второй половины XIX века, которая так или иначе формулировала патетическое отношение к народу..., призывая образованные слои склониться перед «мужиком» и поверить в возможность полного с ним единения во имя собственного «опрощения» и улучшения его участи» (Чудакова М. Весной семнадцатого в Киеве - «Юность», 1991, № 5).

Однако патетическое отношение вызывают у Некрасова и Достоевского принципиально разные типы «мужичков», разные типы личностей: бунтарь, борец за социальную справедливость - у Некрасова, христианская личность - у Достоевского. Несмотря же на то, что изредка представления об идеале у этих писателей совпадали, как в случае с Власом, в целом их взгляды на человека и народ - это явления преимущественно взаимоисключающие друг друга. М.Чудакова же выстраивает из них одну традицию, которую неудачно характеризует через «опрощение», хотя предмет спора - отношение к народу - с этой неверно определяемой традицией назван точно.

Третий подход к проблеме сводится к тому, что часть исследователей (И.Золотусский, например), признавая факт полемики как таковой, совершенно иначе обозначают один из субъектов её: «...То спор жизни с литературой <...>. Русская литература не могла предвидеть всего...» (Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова - «Литературная учёба», 1991, № 2).

Спор этот имеет в творчестве М.Булгакова свою предысторию. Отношение главного героя «Записок юного врача» к народу во многом напоминает первоначальное отношение острожника Достоевского к собратьям по несчастью: убийцам, насильникам и т. д. Существовавшая между ними стена - результат прежде всего сословно-ограниченного отношения друг к другу. Лишь случай на Пасху, воспоминания о детстве, мужике Марее помогают писателю увидеть в «чёрненьких», падших острожниках людей, окончательно не утративших зёрна человечности, духовности, увидеть под греховностью, грязью, зверством «золото народной души» (Ф.Достоевский).

Происходит переворот, определивший жизнь и творчество писателя, переворот, о котором точно сказал Вл. Соловьёв: «Худшие люди из мёртвого дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенции» (Соловьёв В. Три речи в память Достоевского // Соловьёв В. Литературная критика. - М., 1990). Острожники вернули писателю веру в Бога, веру в народ как носителя и выразителя христианских идеалов.

Автор «Записок юного врача» лишён этой веры, этого знания. М.Булгаков, как и герои, через которых проецируется его видение, находится в плену «левых» стереотипов. Так, в рассказе «Стальное горло» есть, казалось бы, незначительное событие - реакция фельдшера на поведение матери девочки. Закономерно, что частный эпизод в восприятии героя-автора вырастает до образа-символа: «Так они все делают. Народ, - усы у него при этом скривились набок» (Булгаков М. Собачье сердце. Повести, рассказы, фельетоны, очерки 1925-1927 // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 3.-М., 1995). В рассказе «Вьюга» герой подобным образом реагирует на реплику возницы. При этом народ уже вводится в контекст русской литературы XIX века, как бы подготавливаются выпады Мышлаевского: «Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Л.Толстого» (Булгаков М. Собачье сердце. Повести, рассказы, фельетоны, очерки 1925-1927 // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 3.-М., 1995). В «Тьме египетской», итоговом рассказе цикла, тот же фельдшер сводит жизнь народа к серии анекдотов. А главный врач, выразитель авторского «я», эту мысль разделяет: жизнь народа для него - только анекдот, уродство, тьма египетская.

Продуктивность и объективность такого подхода даже не ставится под сомнение критиками разных направлений. Принимая булгаковское отношение к деревне как данность, как аксиому, исследователи, как правило, трафаретно объясняют его происхождение - на уровне констатации известных фактов биографии будущего писателя. Приведу показательное суждение В.Сахарова: «Булгаков русских мужиков узнал хорошо уже в смоленской деревенской глуши (смотрите рассказ «Золотая сыпь») и во фронтовых госпиталях Первой мировой войны, и понравилось ему в них не всё. Гражданская война добавила чёрных красок» (Сахаров В. Михаил Булгаков: Уроки судьбы - «Подъём», 1991, № 5). Попытки оценить булгаковское восприятие деревни как тьмы египетской чаще всего заканчиваются диагнозом - западник со знаком плюс (Назаров М. Миссия русской эмиграции. - Ставрополь, 1992; Петровский М. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгакова. - Киев, 2001; Чудакова М. Весной семнадцатого в Киеве - «Юность», 1991, № 5).

Мне же кажется уязвимым, односторонним писательский подход к изображению человека из народа и крестьянской жизни вообще. Кажется уязвимым потому, что отдельные негативные эпизоды деревенской жизни возводятся М.Булгаковым в абсолют, в общее правило. И «западник», устоявшийся диагноз в этой связи, конечно, точен. Только он для меня - знак мировоззренческой болезни писателя, которая проявлялась неоднократно и на разных уровнях (публицистическом, эпистолярном, художественном), начиная со статьи «Грядущие перспективы», первой публикации автора.

Конечно, следует уточнить: западника М.Булгакова с таким же успехом и на тех же основаниях можно назвать большевиком, то есть его трактовка следующих принципиальных вопросов была вполне советской: царская Россия - отсталая страна; русский народ - дикий народ; крестьянство - недочеловеки. Более того, писатель утверждал: «...Деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000). Здесь, видимо, М.Булгаков ошибался: дальше - левее - принятых марксистско-ленинских стереотипов в восприятии крестьянства идти некуда. Идиотизм деревенской жизни - это вершина, точнее тупик

Итак, западнически-советские, «левые» взгляды на крестьянство и народ в целом проявились уже на первых страницах «Белой гвардии». Поэтому слово «богоносцы», имеющее вполне определённое происхождение и конкретный смысл, в высказываниях Мышлаевского и Алексея Турбина употребляется в иронично-пренебрежительном и даже кощунственном контексте: «богоносный хрен», «вашу мать». Писатель, по причинам указанным выше, не только не дистанцируется от подобных взглядов, но и подтверждает правоту, состоятельность Алексея, Николая, Елены Турбиных, Мышлаевского -го в их отношении к народу. Чаще всего это делается через авторские характеристики, как в следующем случае, например: «Но явственно видно предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалывшейся голове, и выл. В руках он нёс великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси».

Следует подчеркнуть, что во всех случаях герой и автор не просто высказываются о частных сторонах народной жизни, а выносят этой жизни окончательный приговор. Так, казалось бы, обычный эпизод - столкновение Николки с дворником - вызывает у него суждения обобщающего характера: «Не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас ненавидят». У героя, впавшего в интеллигентский раж самооплёвывания, естественно возникает и другая трафаретная мысль: европейская альтернатива «страшной стране Украине» - «Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо».

Оставим без комментариев эту европейскую альтернативу в её французском варианте (о нём в своё время по другому поводу хорошо сказал В.Кожин), отметим другое. Подобные мысли встречаются у монархиста Алексея Турбина, «демократа по натуре» Василисы, в словах автора: «В сущности, совершенно пропадающая страна»; «У нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачёвщину»; «Нет, задохнёшься в такой стране и в такое время! Ну её к дьяволу!» Ссылки на художественную условность, неавторское слово и тому подобное здесь неуместны, ибо генетическое родство приведённых мыслей с «Грядущими перспективами», дневниками и письмами М.Булгакова очевидно. Более того, в 30-е годы «западничество» писателя переросло в навязчивую идею, болезнь, о которой разговор отдельный.

Критики и литературоведы, которые следуют в фарватере таких булгаковских идей, приходят к заранее известным, вряд ли продуктивным результатам. И.Золотусский, например, в «Заметках о двух романах Булгакова», отталкиваясь от «Белой гвардии», выстраивает такие показательные образные ряды: символами европейского воздуха, европейского начала являются кремовые шторы, гобелены, покровитель Мольера Людовик XIV, розы, духи, вина. Русское начало представлено частушками, кровью, мятежом, грубыми и неприятными запахами, блевотиной в уборной с перепоем (Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова - «Литературная учёба», 1991, № 2). Через такие «ряды» трудно понять личность, народ, Россию.

Закономерно, что социально-ограниченный взгляд М.Булгакова проявляется в «Белой гвардии» через западнически и интеллигентски окрашенных героев, которые несут в себе заряд сословной ненависти разной концентрации и чья позиция совпадает с позицией автора. Так, Алексей Турбин оценивает постреволюционную ситуацию на Украине сквозь призму социальных мифов: «Да ведь если бы с апреля месяца он (гетман Скоропадский. -Ю.П.) вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы 50-тысячную армию. Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дорожкой душой».

Трёхкратное турбинское «все» свидетельствует, что герой многократно преувеличивает готовность указанных слоёв населения выступить на борьбу с большевиками. Как свидетельствуют очевидцы, факты, картина событий в Киеве и других городах России была принципиально иная. А иллюзии Турбина - это его видение происходящего, характерное для определённой части «романтических» монархистов. Иллюзии эти в романе психологически, личностно, исторически, художественно оправданы. Но М.Булгаков явно фальшивит, когда прямо и косвенно, через героев и авторские характеристики «узаконивает» такое видение революции и гражданской войны. Например, если по Булгакову, «в с е (разрядка моя. -Ю.П.) ещё офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в тёмные коридоры, чтобы ничего не слышать», то откуда взялось такое количество предателей, тех, кто годом раньше (а это офицеры Генерального Штаба) вступил в заговор против Николая II, тех (а их почти 50 процентов офицерства), кто перешёл на сторону новой власти и т. д. и т. п.

В «Белой гвардии» М.Булгаков неоднократно подчёркивает, что весь народ ненавидит дворянство. «Лютой ненавистью» охвачены крестьяне, городская толпа, дворник Нерон, дети Подола. Такой схематичный, однолинейный, чёрно-белый, социально-ограниченный подход к изображению человека и времени роднит М.Булгакова с писателями-соцреалистами. Показательно, что фадеевское видение революции и гражданской войны (смотрите его известное высказывание о «Разгроме») совпадает - только с другим знаком - с турбинско-булгаковским.

То, что отношение крестьян к прежним хозяевам, к высшим сословиям страны, определяла не только «лютая ненависть», свидетельствуют факты, приводимые самими жертвами революции. Вот некоторые из них. Княгиня Зинаида Шаховская сообщила Олегу Михайлову: «Нас защищали крестьяне. И чтобы выгнать нас из имения, большевикам пришлось вызвать из Москвы пулемётную команду» (Михайлов О. Встречи и расставания - «Родная Кубань», 2000, № 2). В своих воспоминаниях княгиня возвращается к этой ситуации, более подробно характеризует её: «За пределы усадьбы красноармейцы не рисковали выходить и выезжать. В деревню развлекаться не ходили, опасаясь народного гнева» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. - М., 1991); «Деревня ко мне не переменилась <...>. Расспрашивали о матери, охали, приговаривали, гладили меня по голове <...>. Бабы обещали собрать «яичек да маслица» и с оказией послать <...>, угощали меня «пирогом», пшеничным хлебом» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. - М., 1991). Княгиня Екатерина Сайн-Витгенштейн свидетельствует по сути о том же: погромы их имения осуществляли бандитствующие солдаты, а «крестьяне, освобождённые из-под ненавистного ига помещиков, вместо того, чтобы радоваться, уговаривали не губить экономию и даже спасали наши вещи и мелкий скот и потом переправляли его нам» (Сайн-Витгенштейн Е. Мы выросли, любя Россию - «Юность», 1991, № 12).

О разном, прямо противоположном отношении крестьян, народа в целом к прежним властям и имущим в «Белой гвардии» речи не идёт. М.Булгаков пишет только о ненависти, которая действительно полыхала над страной. И этот его выбор продиктован в конце концов особенностями мировоззрения и художественного дара. Себя, как известно, М.Булгаков называл сатирическим писателем, наследником Н.Гоголя и М.Салтыкова-Щедрина, что в значительной степени точно.

В 1935 году В.Вересаев так отреагировал на замечание М.Булгакова «слишком черно!»: «Почему же Вы в «Турбинах» сочли возможным одними чёрными красками (разрядкая.- Ю.П.) рисовать полковника-крысу и звероподобных петлюровцев» (Борыкин В. Михаил Булгаков. - М., 1991). Подобные упреки высказывались в адрес Н.Гоголя, начиная с Н.Полевого, который, в частности, утверждал: «Вы говорите, что ошибка прежнего искусства состояла именно в том, что оно румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть так, но, выбирая из природы и жизни только тёмную сторону, выбирая из них грязь, навоз, разврат и порок, не впадаете ли вы в другую крайность и изображаете ли верно природу и жизнь? Природа и жизнь так, как они есть, представляют нам рядом жизнь и смерть, добро и зло, свет и тень, небо и землю. Избирая в картину свою только смерть, зло, тень, верно ли списываете вы природу и жизнь! <...> Покажите же нам человека и людей, да человека, а не мерзавца, не чудовище, людей, а не толпу мертвецов и негодяев» (Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: Статьи, рецензии 1825-1842.-Л., 1990).

Н.Гоголь, думается, признал справедливость таких упреков, ибо осознал свой сатирический дар как односторонний, как полуправду, как болезнь, от которой стремился избавиться. И избавился в конце концов, обретя свет духовный, божественный в своих писаниях и в своей жизни. В творчестве М.Булгакова, в «Белой гвардии» в частности, два начала - мистическое и сатирическое, по классификации самого писателя, - боролись постоянно. И там, где в романе изображается народ, сатирический дар берёт верх над мистическим, Щедрин берёт верх над зрелым Гоголем.

Влияние Михаила Евграфовича, этого «ругающегося вице-гу- бернатора» (В.Розанов), созвучность с ним в самых принципиальных вопросах М.Булгаков признавал не раз. В 1933 году он писал: «Влияние на меня Салтыков оказал чрезвычайное, и будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Сочиняя для собственного развлечения обличительные фельетоны, я подражал приёмам Салтыкова, причём немедленно добился результатов: мне не однажды приходилось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны. Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная штука. Атаманы-молодцы, беспутные Клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывший Прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным» (Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. - М., 1996). Тремя годами раньше в известном письме к правительству от 28 марта 1930 года М.Булгаков признаёт свою общность с Щедриным в «изображении страшных черт моего народа» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000).

Щедринская настроенность на «страшные черты» помешала М.Булгакову увидеть, узнать и изобразить в «Белой гвардии» принципиально иное, о чём писали его современники. Так, Е.Трубецкой характеризует данную эпоху как эпоху великих контрастов, когда не только «сатана сорвался с цепи», но и была явлена «красота духовного подвига» (Трубецкой Е. Звериное царство и грядущее возрождение России - «Кубань», 1991, № 2). И особенно важно, что философ говорит о религиозных крестьянах. Одни - участники Церковного Собора - ясно осознают, что причина трагедии «есть общее осатанение» (их речи Е.Трубецкой относит к числу самых искренних и сильных). Другие - десятки тысяч из сотен селений - принимают участие в крестном ходе зимой 1918 года. Такой тип крестьянина, главный тип в «большом» народе, который в гражданскую войну сражался на стороне «белых» или избрал третий путь в разных его вариантах, такой тип христианской личности из народа в «Белой гвардии» отсутствует.

Булгаковское - только чёрное - изображение крестьянства созвучно видению большинства критиков и литературоведов. Часть из них, как Б.Соколов, утверждает, что «народные массы» руководствуются «устремлениями брюха» (Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. - М., 1996). Иные авторы, как М.Чудакова, интерпретируют революцию, гражданскую войну с

позиций «русского бунта - бессмысленного и беспощадного» (Чудакова М. Весной семнадцатого в Киеве - «Юность», 1991, № 5).

Частое, популярное цитирование «Капитанской дочки», как по команде, обрывается на приведённых словах и не случайно «забываются» булгаковедами, и не только ими, следующие - ударные - слова: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шея - копейка» (Пушкин А. Капитанская дочка // Пушкин А. Полн. Собр. соч.: В 10 т.

- Т. 6. - М., 1957). На извечную подчинённость - не мужичьим мозгам и интересам, уточню от себя - и бессмысленность бунта указывает и М.Булгаков: «<...> Так уже колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрёстке».

Всем тем, кто при помощи АПушкина трактует романские смерти как явление исключительно национальное, напомню, что другие

- не русские - бунты не менее бессмысленны и беспощадны. Приведу только один пример - эпизод из романа Э.Золя «Жерминаль». Эпизод, который явно перекликается со смертью еврея-шинкаря из «Белой гвардии». Приведу как своеобразный привет от «цивилизованных» французских «диких, тёмных» (М.Булгаков) русским: «Они окружили ещё тёплый труп, со смехом глумились над ним, обзывая грязным рылом разможжённую голову покойника.

<...> Земля, которую Маэ втиснула ему в рот, была тем хлебом, в каком он ей отказал.

<...> Но женщинам нужно было мстить ещё и ещё. Они кружили вокруг трупа, подобно волчицам. Каждая стремилась надругаться над ним, облегчить душу какой-нибудь дикой выходкой.

<...> Мукетта уже стаскивала с него штаны, жена Левака приподнимала ноги. А Прожжённая <...> ухватила мёртвую плоть и <...> вырвала её с усилием.

<...> Прожжённая насадила всё на кончик палки и понесла словно стяг; она мчалась по дороге, а за ней вразброд бежали воля женщины. Кровь капала с висевшей жалкой плоти».

Миру хаоса, беспорядка, ненависти в «Белой гвардии» противостоит мир традиции, чести, долга. Крестьянско-народному миру противостоит интеллигентско-дворянский, представленный семьёй Турбиных. Уже на уровне интерьера квартиры главных героев - от часов и голландских изразцов до шкафов с книгами - утверждается «совершенная бессмертность» этого мира. Поэтому естественно, что атрибуты интеллигентско-дворянской вселенной в романе есть своеобразные знаки вечности, противостоящие быстротекущему времени.

Так, условно говоря, форма выражает содержание, внутреннюю сущность данного мира - постоянство, повторяемость, традиции. Единство и взаимообусловленность формально-содержательных, тварно-духовных, быто-бытийственных сторон дворянской вселенной, конечно, проявляется и на уровне отдельных героев. Так, сдёрнутый абажур при бегстве Тальберга из дома Турбиных является символом трусости, предательства: «Никогда. Никогда не сдёргивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысёй побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте - пусть воет вьюга, - ждите, пока к вам придут».

Квартира Турбиных и квартиры, ей подобные, - это своеобразный вариант рая, по М.Булгакову. Не сад, не парк, как в ветхозаветной традиции, не небесный град Иерусалима, а квартира - мини-град земной. То есть в «Белой гвардии» представлена редуцированная оппозиция: Град Земной - Град Небесный, где квартира, дом во многом подменяет Град Небесный. Отсюда - не просто поэтизация дома, квартиры, её атрибутов, но и в какой-то степени их «обожествление», объяснимое ситуацией гражданской войны и необъяснимое степенью своей чрезмерности в некоторых случаях. В таком, например: «Башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам этого не зная, для одной лишь цели - охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует».

И это не просто авторский перехлест, это принципиальная позиция, которая проявилась в булгаковской концепции человека и времени в романе. В многочисленных высоких, иногда дифирамбических оценках главных героев «Белой гвардии» отсутствует понимание элементарного: квартира-дом и дом-Россия, честь семьи и честь офицера, гражданина есть понятия неразрывные. То есть общее положение в работах булгаковедов: семья Турбиных - семья чести - требует проверки критерием верности - верности военной присяге, царю.

Одни исследователи, как В.Боборыкин, исходят из того, что монархизм - это изначально по меньшей мере неполноценная идея, и к ней М.Булгаков мог прийти только в особых условиях гражданской войны: «А та неразбериха в тиши родного Киева, которой предшествовали постоянные перевороты, калейдоскоп властей и режимов, ни один из которых не был сколько-нибудь прочным, усиливали его тоску по ещё недавнему порядку, взорванному революцией, и укрепляли его в монархических если не убеждениях, то симпатиях» (Боборыкин В. Михаил Булгаков. - М., 1991). А.М.Чудакова говорит о близости М.Булгакова к ретроспективному монархизму, монархизму задним числом (Чудакова М. Весной семнадцатого в Киеве // «Юность», 1991, № 5). В.Лакшин считает, что нет никаких доказательств монархизма писателя, и в белой армии он оказался случайно. Правда, говоря о работе М.Булгакова над пьесой о Николае II, критик неожиданно заявляет: «Вероятно, <...> Булгаков пережил прощание с последними монархическими иллюзиями» (Лакшин В. Мир Михаила Булгакова // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. - Т. 1. - М., 1989). Откуда они взялись - непонятно. Б.Соколов же не доверяет монархическим строкам из «Грядущих перспектив», относя их к «уступкам внутреннему цензору» (Соколов Б. Михаил Булгаков. - М., 1991). Подлинные взгляды Булгакова, его якобы приверженность к Февралю проявились в пьесе «Сыновья муллы», написанной на самом деле ради хлеба насущного.

Думаю, в годы гражданской войны М.Булгаков был монархистом. Об этом свидетельствуют в первую очередь «Грядущие перспективы», написанные кровью сердца. Показательно, что по-монархистски, не в духе деникинской - февральской, демократической - пропаганды в один ряд преступлений поставлены «безумство мартовских дней», «безумство дней октябрьских», действия самостийных изменников и большевиков (Булгаков М. Дьяволиада. Повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 1. - М., 1995). Через четыре года в очерке «Киев-город» М.Булгаков вполне откровенно, с тех же монархических позиций отсчёт новой истории, которая внезапно сменила «легендарные времена», «времена счастья, спокойствия, тишины», ведёт от 2 марта 1917 года (Булгаков М. Дьяволиада. Повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924// Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т.- Т. 1.-М., 1995).

В годы гражданской войны будущий писатель был непоследовательным монархистом. Непоследовательность проявляется в западнической составляющей тех же «Грядущих перспектив». Она во многом обусловила мировоззренческую и творческую кривую: известная дневниковая запись о Романовых, «Дни Турбиных», «Бег», «Батум»...

Итак, помимо предвзятого отношения к идее монархии булгаковеды демонстрируют искажённое представление о гражданской войне и белом движении. Тот же Б.Соколов утверждает, что в деникинской армии «Февраль не жаловали, считая его началом всех несчастий» (Соколов Б. Михаил Булгаков. - М., 1991). «Вопреки общепринятому мнению, - справедливо утверждал историк Г.Вернадский, - белые не были монархистами, по крайней мере, официально» (Вернадский Г. Русская история. - М., 1997). В.Кожин и М.Назаров на многочисленных фактах истории убедительно доказали, что гражданская война - это война между двумя новыми властями - Февральской и Октябрьской, и только на закате борьбы Врангель и Дитерихс подняли знамя монархизма (Кожин В. Россия. Век XX-й (1901-1939). - М., 1999; Назаров М. Миссия русской эмиграции. - Ставрополь, 1992; Назаров М. Уроки Белого движения - «Кубань», 1993, №9-10).

Булгаковеды, как правило, игнорируют эти и другие очевидные истины, предпочитая проецировать старые и новые мифы о гражданской войне на героев «Белой гвардии». Сказанное в полной мере относится к вопросу воинской чести. Факт пребывания Турбиных, Мышлаевского, Най-Турса в белой гвардии очень часто оценивается критиками и литературоведами как историческая неизбежность, как явление безальтернативное. При этом А.Кубарева, В.Боборыкин, В.Петелин и другие подразумевают известные слова М.Булгакова: «...Изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы

брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии <...>» (Булгаков М. Письма // Булгаков М. Собр. соч.: В 10 т. - Т. 10. - М., 2000). М.Булгаков, думаю, сознательно использует такое объяснение выбора «белыми» героями жизненного пути как единственно понятное и приемлемое для советских критиков и идеологов.

Объяснение это идёт вразрез с реалиями «Белой гвардии», ибо выбор Мышлаевского, Турбиных, Най-Турса, Малышева и других героев есть смелый и отчаянный выбор единиц на фоне неучастия, дезертирства тысяч потенциально и реально «белых». И здесь М.Булгаков исторически точен, его художественная версия событий совпадает с мемуарными свидетельствами В.Шульгина, Адени-кина, Р.Гуля, П.Краснова и многих других.

Совестливую ответственность главных героев за происходящее писатель показывает через их чувства, мысли, поступки. В них нет той двойственности, расхождения между словом и делом, которые присущи, например, подполковнику Щёткину. Юношески-романтический восторг Николая Турбина от маузера Карася, чувство вины и стыда из-за своего «привилегированного» положения в Киеве - в тепле с водкой - по сравнению с замерзающими под Трактиром юнкерами естественно и полноценно реализуются во время боя и затем - в отношениях с семьёй Най-Турса. «Ораторство» Алексея Турбина за столом не оказалось словоблудием и пустозвонством, пафос речей был естественно продолжен готовностью исполнять свой долг в ситуации, когда, казалось бы, если мыслить трезво-прагматически, «поезд ушёл». Забота об обмундировании подчинённых Най-Турса естественно вылилась в заботу об их жизнях и в смерть героя. И в этом смысле Турбины, Най-Турс, Малышев, Мышлаевский - цельные, последовательные натуры.

Среди них, конечно, выделяется Най-Турс как совершенное явление «белого» воинства в том высоком и идеальном смысле, который наиболее точно определили И.Ильин, В.Шульгин, М.Цветаева. Най-Турс - воин Христов, который идеалы Всевышнего утверждает мечом, через борьбу с антихристианскими силами в самом разном политическом и человеческом обличье, утверждает и через собственное самопожертвование. В то же время, как правило, забываются другие герои, оставшиеся верными своему человеческому, воинскому кресту. Это безымянные офицеры и юнкера, артиллеристы, всеми брошенные, забытые, совершающие подвиг невидимый, погибающие не на «миру». Это и «один в поле воин» «румяный энтузиаст» Страшкевич...

Турбины, Мышлаевский, Малышев, несомненно, люди чести. Несомненно, на мой взгляд, и то, что они стоят на пороге бесчестия, идейного и человеческого. Странно, что все, писавшие о романе, прошли мимо свидетельства: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года». Естественно было бы предположить, что постареть он должен был в другой день, в день отречения Николая II от престола, тем более что сам Турбин нашу версию подтверждает: «Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда».

Думаю, таким образом проявляется непоследовательный монархизм М.Булгакова, которым он наделяет любимых героев «Белой гвардии». Несмотря на то, что Турбины, Мышлаевский, Малышев демонстрируют свой монархизм на уровне слова и дела, он в конце концов подменяется другим - семейным покоем, очагом. И «покраснение» героев в «Днях Турбиных», отказ от борьбы и монархизма - это не столько уступки цензуре, сколько реальный дрейф, падение человека, пытающегося вместе со своими героями спрятаться за кремовыми шторами от ответственности за происходящее, отдающего Родину на поругание антихристу.

Параллель же, очень часто возникающая у булгаковедов, Турбины - потомки Гринёва, неверна по сути. Понимание чести, которому остался верен Гринёв-младший, точно сформулировал Гринёв-старший: «Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыней своей совести; отец мой пострадал вместе с Волинским и Хрущёвым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..». Турбины же, как уже говорилось, люди чести, в конце романа приближаются к опасной черте бесчестия.

Этому способствует ещё одно качество, присущее Турбиным и их окружению. Им, за исключением Елены, недоступен такой ход мысли, такая оценка событий, какую находим, например, у Б.Зайцева и Е.Сайн-Витгенштейн: «Революция - всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны

России, Родины?» (Цит. по: Михайлов О. Литература русского Зарубежья. - М., 1995); «Но можем ли мы сказать, что виноваты все, кроме нас, что мы страдаем безвинно? Конечно, нет. <...> Виноваты все, и все должны это признать. Если нужна примирительная и искупительная жертва, я бы хотела быть ею» (Сайн-Витгенштейн Е. Мы выросли, любя Россию - «Юность», 1991, № 12).

Герои же «Белой гвардии» обвиняют всех, кроме себя, обвиняют крестьянство, народ, Петлюру, самостийников, Троцкого, Николая II, жидов и т. д. А начинать, конечно, нужно с себя. И.Ильин, прекрасный знаток вопроса, не только советовал монархистам: «Не воображать, будто в происшедшей трагедии русского трона повинны все, кроме них», - но и указывал на их особую вину: «Повинны первые, ибо выдавали себя за верных и преданных» (Ильин И. О грядущей России. Избранные статьи. - Казань, 1993).

Гддамович ещё в 1927 году назвал «Белую гвардию» первым действительно художественным произведением, имеющим отношение к революции. И это действительно так В большинстве случаев в изображении человека и времени М.Булгаков сумел подняться над своими пристрастиями, изобразил гражданскую войну как всеобщую трагедию. Поэтому в ключевых финальных сценах романа появляются Елена Турбина, Иван Русаков, Петька Щеглов - герои, которые символизируют силу и разные грани христианских идеалов, противостоящих мечу войны, смерти физической.

Сказанное позволяет утверждать, что человек и время в «Белой гвардии» изображаются с религиозных, непоследовательно православных позиций, позиций, когда в одних вышеуказанных случаях писатель верен христианским традициям русской классики, в других - отходит от них.

Отношение к народу и интеллигенции становится у М.Булгакова иным уже в «Собачем сердце». Прочтение повести при наличии небольших отклонений чаще всего сводится к следующему варианту: почти дегенеративному типу Шарикову-Чугункину противопоставит профессор Преображенский, отыскивающий в себе самом созидательные силы, чтобы выстоять. Многие авторы называют профессора интеллигентом, заранее вкладывая в это слово положительный смысл, что требует уточнения.

Действительно, Преображенский - интеллигент, но тот «левый» интеллигент, который генетически есть результат разрыва индивида с национальными традициями, о чём точно писали Достоевский, В.Розанов, И.Ильин, И.Солоневич и другие «правые» авторы. Поэтому естественно и закономерно, что профессор высокомер- но-презрительно относится к народу, к «людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают собственные штаны». Позиция Преображенского сродни позиции интеллигентов из «Записок юного врача», «Белой гвардии», позиции автора «Грядущих перспектив», дневника, письма к советскому правительству от 18 марта 1930 года. В «Собачем сердце» Булгаков-художник дистанцируется от такой позиции и показывает духовно-нравственную уязвимость профессора, его недочеловечность прежде всего.

Это проявляется неоднократно и на разном уровне. Отношение к окружающим, например, определяется у Преображенского, как у Шарикова и Швондера, социально-классовым фактором. При помощи говорящих художественных тропов, насыщенных большой долей иронии, периодически переходящей в сарказм, М.Булгаков, не любитель открытого «давления» на читателя, создаёт вполне чёткий и однозначный нравственный портрет профессора. Так, когда появляются у него в квартире четверо молодых посетителей, Филипп Филиппович встречает их «более неприязненно», чем собака Шарик Преображенский изначально настроен враждебно к людям, которые ему незнакомы, чья вина заключается в том, что они - пролетарии. И дальнейшее поведение профессора в принципе ничем не отличается от поведения нецивилизованных пролетариев - просто оно более тонко-цинично-высокомерно-вызывающе.

Сущность героя, мимо которой прошли критики и создатели фильма, раскрывается через речь, поступки Преображенского и авторские характеристики. Обед Филипп Филиппович начинает с кощунственного замечания-поучения: «Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими». А во время телефонного разговора профессора с высокопоставленным

лицом «голос его принял подозрительно вежливый оттенок», а затем Преображенский «змеиным голосом» обращается к Швондеру..

Высокий пафос многих речей профессора оттеняется, снижается либо полностью перечёркивается контрастирующими авторскими характеристиками, создающими горестно-комические ситуации. Так, говоря о разлуке, Филипп Филиппович «яростно спросил» «у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом: «Что вы подразумеваете под этим словом? - и сам же ответил за неё». Или после слов о двухсотлетней отсталости (любимый примитивно-убогий штамп «левых» разных веков) следует: «Филипп Филиппович вошёл в азарт, ястребиные ноздри его раздулись. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он, подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром».

Профессору присуща и такая «левоинтеллигентская» черта, как словоблудие. И хотя сам он утверждает, что никогда «не говорит на ветер», можно привести примеры, опровергающие эти слова. В те моменты, когда речь идёт о разорванной сове, разбитом Мечникове и прочих мелочах, Филипп Филиппович проявляет терпимость и, по терминологии ему подобных, гуманизм. Он взволнованно поучает Зину: «Никого драть нельзя... На человека и на животное можно действовать только внушением!»

Но стоит Преображенскому столкнуться с более серьёзными явлениями, как его «толерантность» испаряется. Он без тени сомнения прибегает к телефонному «приёму» в случае с четырьмя пролетариями или высказывается явно не в христианском духе: «Я бы этого Швондера повесил... на первом суку», «Клянусь, что я этого Швон- дера в конце концов застрелю». А выраженный следующим образом способ решения всех проблем: «Городовой... Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан» - зиждется на идеях сильной руки, социальной, творческой закрепощённости, предопределённости человека.

Конечно, слова о чистке сараев и подметании трамвайных путей можно трактовать и как призыв к профессионализму, к занятиям своим делом, что предлагают некоторые исследователи и что отчасти верно. Однако есть смысл обратить внимание на качество профессионализма, его направленность. В известном описании операции В.Гудкова видит лишь «пот, «хищный глазомер», темп, страсть, отвагу, виртуозность, риск и напряжение, которое можно сравнивать с напряжением скрипача либо дирижёра» (Гудкова В. Повести Михаила Булгакова // Собр. соч. : В 5 т. - Т. 2. - М., 1989). Думаю, в данном эпизоде М.Булгаков при помощи выразительных художественных средств, сравнений прежде всего, неоднократно подчёркивает безнравственность, бездуховность этого профессионализма: «лицо Филиппа Филипповича стало страшным», «Филипп же Филиппович стал положительно страшен», «зверски оглянулся на него», «злобно заревел профессор», «лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника», «тут уж Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир», «затем оба разволновались, как убийцы, которые спешат».

Такой профессионализм - продукт революционно-бездуховной идеи, которой живёт человек, фамилией призванный преображать людей. Он занимается евгеникой - улучшением человеческой породы - в первую очередь потому, что не верит в силы человека, в его способность к духовно-нравственному самоусовершенствованию, росту. В жизни профессора «абстрактные» категории не возникают вообще, он неоднократно подчёркивает свою приверженность здравому смыслу, свою заземлённость. Осознанно или нет, Преображенский, как и все сторонники здравого смысла (от Лужина из «Преступления и наказания» ФДостоевского до современных народных избранников), не видит в человеке лицо, личность, то, что он создан по образу и подобию Божьему. Несомненно, профессор - обезбоженный человек, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одно из них - социально-физиологический подход к человеку, определяющий жизненную философию Филиппа Филипповича. Её суть наиболее чётко проявляется в таких словах: «Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и, в эволюционном порядке каждый раз упорно выделяя из массы всякой мрази (разрядка моя. -Ю.П.), создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар».

Итак, десятки гениев, с одной стороны, все остальные - мрази - с другой. Известная философия избранничества, несомненно, роднит Преображенского с Родионом

Раскольниковым, Юрием Живаго и другими «наполеонами», эгоцентрическими личностями разных мастей. Роднит она профессора и с шариковыми, швондерами.

Только в одном случае на первое место выдвинут эгоцентризм природно избранных индивидуальностей, в другом - социально избранных личностей. Это прекрасно понимает М.Булгаков, поэтому и выносит своему герою однозначный «приговор», который, помимо сказанного, проявляется так: Преображенский, несколько раз исполняя арию, обрывает её на одних и тех же ключевых словах: «Боги нам укажут путь». И в этом «приговоре» М.Булгаков последователен и антиинтеллигентен. Он отказывает Преображенскому в дороге к священным берегам Нила, как позже откажет Мастеру в свете, рае. И во втором случае видится справедливый писательский приговор самому себе. Лучше «Белой гвардии» и «Собачьего сердца» М.Булгаков больше ничего не написал. «Дни Турбиных», «Бег», «Иван Васильевич», «Батум», известные суждения о Романовых и Сталине - это, по сути, отречение от русского «я», от Православия, самодержавия, народности, это измена самому себе. Видимо, поэтому умирающему М.Булгакову так хотелось света.

2002

Юрий Казаков: мгновения русской души.

Имя **Юрия Казакова** практически выпало из списков авторов, изучаемых в школе и вузе. Показательно, что статья А.Георгиевского о творчестве писателя была опубликована в журнале «Литература в школе» (1988, № 6) в рубрике «За страницами учебника». Для авторов разных направлений Ю.Казаков чаще всего является фигурой умолчания. Так, в учебнике В.Баевского «История русской литературы XX века» (М., 2003) Ю.Казаков даже не упоминается, зато отдельные параграфы посвящены А.Беку и Т.Бек, Сдовлатову и О.Чухонцеву, А.Приставкину и А.Межирову и другим русскоязычным писателям, авторам второго и третьего ряда. Хотя в учебнике Н.Лейдермана и М.Липовецкого «Современная русская литература: 1950-1990-е годы» (М., 2003) имеется раздел о творчестве Ю.Казакова, чей научный уровень, как принято выражаться, оставляет желать лучшего. Фактическая ошибка допущена даже в дате смерти писателя, анализ же большинства произведений Ю.Казакова выполнен на уровне студента вуза.

Конечно, периодически появляются суждения, в которых даётся высокая и высочайшая оценка творчеству Ю.Казакова. Однако высказывания и работы Г.Горышина, В.Распутина, Е.Евтушенко, АБитова, В.Огрызко и других в целом положения не меняют, к тому же нередко авторы подобных оценок (как, например, В.Аксёнов, Ю.Нагибин, М.Холмогоров) параллельно выдвигают версии, принципиально искажающие жизнь и творчество Казакова.

На протяжении почти 30 лет Юрий Павлович по-разному отвечал на вопрос: почему он стал писателем. К этому его подтолкнули и заикание, и неудача при поступлении в консерваторию, и желание славы. Мечта о писательстве, возникшая в 1949 году, уже в 1953-м станет судьбой, неизлечимой болезнью: «Не писать я уже не могу» (дневниковая запись от 16.01.1953).

Дневники начала 1950-х годов, первые публикации: «Новый станок», «Первое свидание», «Обиженный полисмен», «Тысяча долларов», «Голубое озеро» - свидетельствуют, что Ю.Казаков, мировоззренчески и творчески, во многом продукт своего времени. И удивительно, как быстро и практически без последствий Ю.Казаков преодолевает советские стереотипы. Происходит это во многом благодаря двум факторам.

Писатель, как известно, родился и вырос на Арбате, о чём с гордостью говорил. Однако его «арбатство», его любовь к малой родине, хотя и имела налёт «кастовости», не стала «религией», как у Б.Окуджавы, со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями. «Арбатство» Казакова через мать получило здоровую народную прививку.

Родители писателя, выходцы из Смоленской губернии, по-разному акклиматизировались в Москве. Отец Казакова быстро оплетарился, мать сохранила крестьянскую культуру. Через неё и её деревенских родственников шло национальное воспитание будущего писателя. Позже он утверждал, что его язык, творческий дар - от матери.

Второй фактор, определивший судьбу Ю.Казакова, - это поездка в Поморье. Здесь в 1956 году и состоялось его «второе рождение». На Севере студент III курса Литературного института открывает для себя традиционный народный мир. Он восторгается вековыми двухэтажными избами, которые явно не вписывались в «левые» стереотипы о бедных крестьянских жилищах

в дореволюционной России. У него вызывает удивление отсутствие запоров и замков: если кто-то уходил в море, то ставил палку к двери, что означало «хозяина нет дома». Поразили и величественная природа, и люди, и их язык. Позже Казаков вспоминал: «Окунувшись в поток настоящей живой речи, я почувствовал, что родился во второй раз <...>. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьёз начинает быть» («Литературная газета», 1979, 21 ноября).

На этом фоне выглядит неубедительной версия Аллы Марченко. Она в статье «Стать островом среди океана» с опорой на Льва Аннинского утверждает, что «выбирал» Казаков людей края потому, что тут, на краю русской жизни, он, Казаков, ещё мог чувствовать, «как мучится и куражится чугунная русская сила» («Новый мир», 1995, № 11).

Итак, в Поморье, которым Ю.Казаков «заболел» на всю жизнь, он, будучи уже автором двух пьес, рассказов, получил ту национальную прививку, без которой он не состоялся бы как большой русский писатель. Конечно, у Ю.Казакова (создателя «Тихого утра», «На полустанке», «Ночи» и других рассказов) было уже многое: и чувство прекрасного, и высокий духовный взгляд на мир и человека, и музыкальность стиля. Однако имелось и иное, то, что наметилось в некоторых рассказах, в «Доме под кручей» (1955), например.

В этом рассказе в лучших «левых» традициях выписан быт районного городка, где царствует религиозный староверческий дух, корёжащий людей, и они, по признанию девушки, «не живут совсем». Если сначала главный герой Блохин, впервые попавший в провинцию, относится с интересом, восторгом к этому миру, то вскоре молодой человек трезвеет и однозначно его не приемлет. Идеал полноценной, настоящей жизни Блохин видит в жизни столицы.

Данный рассказ является иллюстрацией расхожего «левого» стереотипа: деревня и провинция в целом - это «оплот косности, животных страстей» (Белая Г. Художественный мир современной прозы. - М., 1983), мир недочеловеков. И заслуга Ю.Казакова заключается, в частности, в том, что он ещё в 50-е годы XX века одним из первых среди писателей-современников порывает с этой «левой» традицией, которая по-иному, социальной своей стороной, проявилась в рассказе «Старики» (1958), написанном, по признанию автора, под влиянием И.Бунина.

Критики разных направлений очень часто называют Ю.Казакова учеником И.Бунина. Они утверждают, что Казаков унаследовал, развил традиции его прозы, музыкальность стиля, в частности. Однако это расхожее мнение не имеет под собой никаких оснований. Как известно, путь к писательству у Ю.Казакова лежал через музыку. В 15 лет он начинает играть на виолончели, затем - на контрабасе. В 1949 году Ю.Казаков окончил Гнесинское училище и свою дальнейшую судьбу связывал с музыкальным поприщем. Однако неудача при поступлении в консерваторию заставила его отказаться от этой идеи. То есть музыкальность Ю.Казакова - талант, данный от рождения, талант от Бога. И стиль писателя, с музыкальной составляющей в частности, сложился ещё до знакомства с прозой И.Бунина. Влияние же прославленного мастера проявилось в ином, и продуктивным его не назовёшь.

И.Бунин Ю.Казаков впервые прочитал в 1956 году и так впоследствии охарактеризовал свои впечатления: «...Когда на меня обрушился Бунин с его ястребиным видением человека и природы, я просто испугался» («Вопросы литературы», 1979, № 2); «деревня, увиденная его глазами, стала символом всех деревень России» («Литературная газета», 1979, 21 ноября). Однако в раннем творчестве, во время написания «Деревни», Бунин находился в плену «левых» представлений о русском крестьянстве, многие из которых впоследствии преодолел и стыдился своей повести. Изображение деревни в этом произведении назвал «очень односторонним» и Борис Зайцев в беседе с Юрием Казаковым в Париже в 1967 году («Новый мир», 1990, № 7).

Главные герои «Стариков» Ю.Казакова, рассказа, написанного под влиянием бунинской «Деревни», также созданы в «левых» традициях. Тихон - дикая мрачная сила с редкими минутами просветления, наступающими во время покоса, когда появляется тоска по прекрасному и он начинает любить всех. В конце концов, уже при советской власти, Тихон присмирел, подобрел. Однако неизменным осталось в нём главное - социальная ненависть.

В миллионере Круглове в традициях соцреализма собраны воедино самые разные черты, которые могут выразить бесчеловечность этого социального типа личности. Он и с восторгом повесил кошку, и папашу мышьяком отравил, и племянника утопил, и жену не простил. В Круглове, как и в Тихоне, стержнем личности является социальная ненависть и вытекающее из неё чувство сословного превосходства.

Естественно, я не подвергаю сомнению существование в действительности подобных человеческих типов. Однако непродуктивным видится социально заданный подход в изображении человека, который демонстрирует Ю.Казаков в данном рассказе.

«Левые» стереотипы в изображении провинции, крестьянства, проявленные в «Доме под кручей» и «Стариках», в творчестве Ю.Казакова больше не встречаются, а социальная предопределённость в видении судьбы человека исчезает вообще. Аполитичность прозы писателя, особенно бросающаяся в глаза на фоне большинства идеологизированных окрашенных произведений авторов-современников, в советское время оценивалась многими как серьёзный недостаток, а в последующий период - как достоинство. Правда, такая «смена вех» не приблизила большинство исследователей к пониманию творчества Ю.Казакова. Например, М.Холмогоров утверждает, что Казаков «был намеренно (разрядка моя. -Ю.П.) аполитичен и отродясь никакой крамолы не писал. Из всех его рассказов один только «Нестор и Кир» уже после публикации в алма-атинском «Просторе» подвергся основательной цензурной «чистке» и вышел изуродованным» («Вопросы литературы», 1994, № 3).

Но, во-первых, Ю.Казаков был естественно аполитичен, что для большинства авторов и было крамолы. Во-вторых, в «Просторе» «Нестор и Кир» вышел в уже изуродованном виде. Это подтверждает сам писатель в послании к главному редактору журнала ИШухову: «Эту главку (Нестор и Кир) я <...> предлагал многим журналам, но ни один не взялся напечатать. Можете поэтому представить мою радость, когда я увидел эту штуку, хоть с купюрами, напечатанной» («Новый мир», 1990, № 7).

Конечно, боязнь многих редакторов имела под собой основание: в «Несторе и Кире» крамолы было не меньше, чем в «Одном дне Ивана Денисовича», что сразу заметил секретарь ЦК КПСС по идеологии Г.Демичев. Ю.Казаков в письме от 11 ноября 1965 года сообщал АНурпеисову, что его «лягнул» Демичев за «Нестора и Кира» на московском партсобрании. «Троих он разругал за то, что якобы мы усомнились в целесообразности эпохи коллективизации (меня, Солженицына и Залыгина)» (альманах «Литрос», вып. 7. - М., 2006).

Вообще, в случае с Ю.Казаковым бесперспективно вести разговор в плоскости «политично - аполитично». Ст. Рассадин в «Книге прощаний» (М., 2004) рассуждает о мужестве, трусости, конформизме на примере судеб Ю.Казакова и В.Аксёнова. С опорой на воспоминания последнего говорится, что из двух вариантов дальнейшей судьбы Аксёнова «заграница» - «тюрьма» Казаков выбрал второй: «Хоть и в тюрьме, но с нами останешься, дома...». Взгляды В.Аксёнова и Ст. Рассадина на этот выбор совпадают: капитуляция.

Дом - вот главное слово, которое не услышали названные авторы. Со времени «второго рождения», когда произошло обретение дома, родины, Ю.Казаков этими ценностями измеряет жизнь свою и окружающих, жизнь литературных персонажей. Так, отсутствие дома остро ощущают и герой во многом автобиографического рассказа «Свечечка», и автор очерка о Бунине «Вилла Бельведер»: «Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или радости, как птица возвращается в своё гнездо»; «Вечный бродяга (И.Бунин. -Ю.П.), жил он то у родственников в Орловской губернии, то по отелям, гостиницам...».

Дом в мировоззрении и прозе Ю.Казакова - символ семьи, традиций, преемственности поколений. Дом - это и место, где совпадают, сливаются, естественно перетекая друг в друга, «я» человека, малая Родина, Россия.

И вопрос, который возник в связи с отъездом В.Аксёнова, Ю.Казаков решил для себя давно. В его очерке «Вилла Бельведер» (1968-1969) Франции, где жил любимый им Иван Бунин, «чужому дому», в котором настигла его старость, Франции, временно поразившей Ю.Казакова в 1967 году своими природными и «цивилизационными» прелестями, противопоставляется Родина. Перед её красотой, воспринятой по-казаковски, по-русски (здесь предвижу усмешки и комментарии в духе одесских пошляков-юмористов), всё заграничное меркнет, становится

ненужным, бессмысленным: «Рестораны, отели, бензозаправочные колонки, рекламные щиты, развлекавшие раньше, - вдруг надоели.

Я вдруг вспомнил, что уже самый конец марта, что у нас на Оке, в Тарусе, может быть, пошёл уже лёд, что скоро разлив, по вечерам красно будут гореть там и сям на берегу костерки, бакенщики и рыбаки начнут смолить лодки. Недавний мой Париж...».

А в очерке «Поедемте в Лопшеньгу» (1975) Ю.Казаков уже через судьбу КПаустовского и свою судьбу вновь писал о том, что традиционно вызывает глумливую реакцию у «граждан мира»: «Он совершил поездку на теплоходе вокруг Европы, побывал в Болгарии, в Польше, во Франции, Англии, Италии. Эти поездки, я думаю, укрепили любовь его к Тарусе, к Оке, к родине. Это Паустовский написал, побывав в Италии: «Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой». Не слишком ли красиво сказано? - подумал я когда-то. А теперь знаю: не слишком! Потому что сам пережил подобное чувство, когда в апреле в Париже вообразил вдруг нашу весну, с громом ручьёв по оврагам, с паром, с грязью, с ледоходом и разливом на Оке».

И закономерно, что смысл жизни, поиском которого заняты герои разных рассказов Ю.Казакова, неизменно открывается им только дома, через понимание правды другого, осознание народ-но-национальной правды. Так, в рассказе «Смерть, где жало твоё?» главный герой Акользин, москвич, доцент, проживший в мире «больших» категорий (революция, борьба, пафос и т. д.), мечтавший и говоривший о физическом и социальном переустройстве земли, лишь выйдя за пределы наезженной колеи, столкнувшись на Севере с иной жизнью, осознаёт: всё, что раньше читал в книгах, во что свято верил, - чепуха.

Перед смертью герой начинает смутно ощущать, что жизнь в главном своём проявлении должна измеряться и конкретным человеком, «девочкой, с таким неистово сияющим взглядом». Правда, Акользин ещё частично находится в плену сложившихся стереотипов, он, в частности, не может дать ответ на вопрос: как соотносится личная правда с национальной правдой.

С этой проблемой сталкивается и герой рассказа «Старый дом», композитор, живущий в иное, дореволюционное время. Вновь в деревне, среди русской природы и русских крестьян, ему открывается правда, созвучная авторской: «Наверное, только теперь он стал понимать свой народ, его историю, его жизнь, его поэзию, только теперь он понял, что если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слёз горькой и сладкой любви, так только это - только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжело работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше».

«Второе рождение» Ю.Казакова ознаменовалось и появлением в его творчестве героя, не характерного для прозы 50-х годов, но знакового для русской классики. АГригорьев и Н.Страхов выделили в литературе XIX века один из ведущих типов, который назвали «смирной» личностью. Не знаю, были ли известны Ю.Казакову изыскания этих критиков, но в «Поморке» (1957) и «Северном дневнике» (1960) он - раньше А.Солженицына и авторов «деревенской прозы» - изобразил данный народный тип, который назвал «тихим героем».

Праведная, святая жизнь девяностолетней старухи Марфы, поморки из одноимённого рассказа, на уровне естества немислима без постоянного труда и заботы о других. Поражает объём работы, которая выполняется женщиной как потребность души. Она «доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит <...> траву и картофельную ботву поросёнку; копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идёт к морю с корзинкой, собирает сиреневые кучки водорослей <...>; привозят ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх <...>; стирает, штопает, гладит, метёт и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы <...>».

Уже по-другому, чем в «Доме под кручей» и в «Страннике», Ю.Казаков изображает в «Поморке» верующего человека. Показательно и поразительно для литературы 50-х годов, что молитва женщины воспринимается писателем с православных позиций как соборное единение людей разных поколений: «Будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти

пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, будто это они молятся - не за себя, за мир, за Русь».

Итак, не «комиссары в пыльных шлемах» и «комсомольские богини», как у Б.Окуджавы, не Сольцы и Павлы Евграфовичи, как у Ю.Трифонов, не Ленин, как у А.Бознесенского, Е.Евтушенко и многих других, а их антиподы - старухи Марфы - являются духовным центром, идеалом личности, точкой отсчёта в прозе Ю.Казакова. Однако Марфа и весь рассказ в целом выпали из большой статьи о Ю.Казакове В.Недзвецкого «Возврат к жизни» («Литература в школе», 2001, № 2). А в называвшемся уже учебнике Н.Лейдермана и М.Липовецкого героиня характеризуется как «природный человек», что, по весьма нетрадиционному определению авторов, означает «человек, не зашоренный советским менталитетом». Оставляя в стороне вопросы, скажу об одном: авторы учебника, вышедшего в 2003 году удивительно большим по нынешним временам тиражом в 30 тысяч экземпляров, при характеристике Марфы «забывают» сказать о главном: её вере в Бога. Именно вера определяет праведную жизнь женщины, её, по оценке односельчан, «святость». Не меньше поражает и другое: Марфа у названных авторов стоит в одном ряду с Манькой из одноимённого рассказа (с её «несовершенством «нутряного» стихийного мироотношения») и Егором из «Тра-ли-вали», который «упёрся лбом в тайны бытия». И такой талант всё перепутать, навести тень на плетень демонстрируют все современные либерально мыслящие авторы, пишущие о Ю.Казакове...

Их предшественникам 1950-1960-х годов, В.Камяннову, в частности, писатель ответил сам в статье «Не довольно ли?», где дал характеристику «лирической прозе», выразив через неё и своё творческое кредо: «Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обострённое внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека - если эти достоинства <...> не замечать, то что же тогда замечать?» («Литературная газета», 1967, 27 декабря).

Названные писателем черты в полной мере проявились в лучших его рассказах 50-70-х годов: «Голубое и зелёное», «Поморка», «Арктур - гончий пёс», «Трали-вали», «Нестор и Кир», «Осень в дубовых лесах», «Адам и Ева», «Двое в декабре», «Свечечка», «Во сне ты горько плакал»...

Станислав Куняев в беседе с автором этих строк назвал «Трали-вали» (1959) своим любимым произведением Ю.Казакова. Этот рассказ имел особый резонанс (как очень положительный, так и резко отрицательный) прежде всего из-за главного героя, не типичного для прозы 50-х годов. «Отщепенец» - в этом журнальном редакторском варианте названия выражено советское отношение к Егору, к тому типу амбивалентной личности, который станет одним из основных в «деревенской прозе» и доминирующим - у «сорокалетних».

Многое во внешности и поступках Егора вызывает у рассказчика антипатию и, казалось бы, свидетельствует о «недоделанности» молодого человека. Однако два эпизода: встреча с Алёной (когда всё наносное исчезает в Егоре, и он становится как ребёнок) и сольное, а затем их совместное пение - показывают, насколько внутренне богат и красив этот человек. Пение Егора - своеобразный эквивалент души, национального «я» героя. Оно возвращает молодого человека к его подлинной сути, к народным истокам, делает Егора русским. И в этот момент он становится носителем той песенной традиции, которая есть и выразитель души народа, и свидетельство его жизни во времени. На это на протяжении всего повествования обращает внимание Ю.Казаков: «поёт он на старинный русский манер»; «как слышал он в детстве, певали старики»; «столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного»; «будто слились вместе прошлое и будущее»; «выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петь».

Пение «дух в дух», песня «сладость» и «мука», умение жить и чувствовать в песне так, что, кажется, «разорвётся сердце» и «упадут они на траву мёртвые», - катастрофически исчезает в последней трети XX века и сегодня как явление народной жизни практически не существует (что, если вспомнить Н.Гоголя, есть признак смерти народа). А все эти «русские песни», бабкины, кадышевы и т. д. (с их текстами типа «Напилася я пьяна...», с их самовлюбленно-

тью, пустотой и блудливостью глаз...) есть звучащее, перефразирую В.Розанова, «местечко» Москва, «где проживают «русские Моисеева закона».

«Нестор и Кир» - самый идеологически взрывоопасный рассказ Ю.Казакова. По этой причине он был опубликован лишь в 1965 году, через 4 года после написания, опубликован, напомним, в урезанном варианте. Полный текст рассказа появился в печати лишь в 1990 году в седьмом номере «Нового мира». Но даже первая публикация «Нестора и Кира» разрушала советский стереотип кулака, каким назывался тот зажиточный крестьянин, который использовал труд наёмных работников. Именно с таких позиций, например, изображены кулаки и зажиточные середняки в «Поднятой целине» М.Шолохова: все они имели батраков, и ни один из состоятельных хозяев хутора только своим трудом богатства не нажил.

В «Несторе и Кире» кулак - это «справный помор», рачительный хозяин, труженик. Уже при первом знакомстве рассказчика с Нестором в его внешности подчёркиваются «твёрдая негнушащаяся поясница и громадные сивые руки». Однако позже, когда Нестор характеризуется председателем колхоза как «жила», «из кулаков», у рассказчика срывается устоявшийся советский стереотип восприятия, и он начинает искать во внешности мужчины то, что соответствовало бы этому стереотипу. Правда, полноценный образ кулака уже не получается: помимо «звероватости», «цепкости», «жилистости» в Несторе есть «затаённая скорбь» и «надломленность».

Эти качества и образ героя в целом трактовались критикой советского периода предельно просто, в духе традиционной идеологической схемы. Даже Игорь Кузьмичёв, автор интересной и содержательной книги о Казакове, неоднократно высказывается в подобном ключе: «Возврата к былым порядкам нет, история не поворачивается вспять, приговор сословию Нестора она вынесла окончательный, и на правах побеждённого он пользуется теперь единственной привилегией - тоскует о несбывшихся мечтах, критикует с той пристальностью и развенчивает её с той пристрастностью, на какие только и способен побеждённый» (Кузьмичёв И. Юрий Казаков.-Л., 1986).

«Затаённая скорбь» и «надломленность» «побеждённого» Нестора своими корнями уходят в эпоху «раскулачивания» и советскую систему как таковую (что наиболее тщательно вычищалось при издании рассказа). Закономерно, что один из двух разговоров о богатстве Нестор начинает так: «Ты думаешь - кулак, и всё тут! Кулак - как бы не так».

Как следует из слов героя, до революции, когда поморам жилось вольно (торговали со всем светом и без всяких министров), Нестор два года обучался кораблестроению в Норвегии. Состоятельным же он стал прежде всего из-за своей рачительности, характера. В отличие от соседа-зайщика, который за работу получал не меньше и все деньги за три дня спускал в кабаке, Нестор часть денег тратил на хозяйственные покупки и подарки, другую - оставлял на развитие дела. Следующие идеологически окрашенные реплики героя из текста изъяти: «И он же после того бедняк, а я кулак? А? Ему все свободы, а меня к ногтю - вот такая ваша справедливость?»; «А этим гадам всё задарма пришло, от нас взяли - им дали». Но осталось то, на что обращает внимание рассказчика Нестор: как распорядились отнятым у семьи героя добром. Дом и хозяйственные постройки пустили на дрова (лень за ними было в лес ходить), а коровы «которые сами подошли, которых забили».

И другой случай, рассказанный Нестором, идёт вразрез с официальной советской историей, вычитанной героем-повествователем из книг. Ей Нестор противопоставляет правду хозяина. В середине 1920-х он вместе с отцом и двоюродным братом развернул производство камня так, что со всей России заказы пошли. И всё это благодаря трудолюбию, всевозможным лишениям и «русской сметке». Итог деятельности семьи - раскулаченный и сосланный на Соловки отец и «забритые» в колхоз Нестор и мастерская. Однако с «горлопанами» герой работать не захотел: не смог смотреть на то, что с деревней сделали.

Два последних факта были изъяти при редакторской правке, но во всех изданиях остался, можно сказать, апокалипсический вывод

Нестора: «Справные поморы были у нас, и уж прошай всё, не вернётся!» То есть скорбь и надлом героя вызваны не только личным - судьбой семьи, но и общественно-государственным - трагедией поморов, деревни, страны в целом.

«Кулак» Нестор, по словам И.Кузьмичёва, исторически проигравший, во многих отношениях не выглядит таковым. И в 50-е годы дом у него, который с восхищением описывается рассказчиком, лучше, чем у других. И в минуты трудности моряки просят у Нестора карбас, а он на этом примере показывает разницу между личной и общественной собственностью. Его слова: «Вот тебе общество! Вот твой коммунизм...» - были также изъяты.

Шестидесятилетний Нестор делает всё сам, на что настойчиво обращает внимание Ю.Казаков: «Сам выбрал себе...»; «сам следит...»; «сам всё помнит...». Герой не мыслит своей жизни без труда. Показательно, что у рассказчика, ещё частично настроенного против «кулака», при виде отца с сыном вырываются слова восхищения: «Как они работают! Как у них всё ловко, разумно, скупое в движениях, какой глаз и точность!»

В «Несторе и Кире» Ю.Казаков показывает столкновение двух правд - писательско-интеллигентской и народно-низовой - с позиции, которая до сих пор вызывает недоумение у многих авторов. Рассказчик, в чьих характеристиках явно слышится голос самого Ю.Казакова, с горькой иронией размышляет о привычной московской писательской жизни, которая на фоне живой жизни поморов-рыбаков выглядит, по меньшей мере, неполноценной.

Критика Нестора эту неполноценность усиливает. Не случайно в восприятии «кулака» совпадают и московский писатель, и институтская дама, и журналисты. Все они на одно социально-живое лицо: «Всё пишете... Дадим двести процентов плану! <...> Все, как один! Единодушно одобрили...».

И непонятно, как в такой ситуации можно говорить об «открывающихся возможностях» для «взаимного обогащения», что делает В.Недзвецкий в статье «Возврат к жизни. Лирическая новеллика Юрия Казакова» («Литература в школе», 2001, № 2). При этом имеется в виду, что Нестор должен обогащаться от рассказчика, «представителя духовной культуры». О том же, только иначе, писал в своей книге «Юрий Казаков» И.Кузьмичёв, настаивая на «духовной бедности существования» Нестора и Кира.

Ясно, что у В.Недзвецкого и И.Кузьмичёва типично «левое», интеллигентское, атеистическое представление о духовности. К тому же, нет никаких оснований называть рассказчика «представителем духовной культуры» и говорить либо о меньшей духовности, либо о бездуховности Нестора. Более того, сам рассказчик близок к тому, чтобы признать жизненное превосходство отца и сына, а Нестор неоднократно подвергает критике взгляды повествователя.

Например, «левому» отношению к народу как к некоему экзотическому экспонату, как объекту истории противопоставляет свою правду хозяина Нестор: «Теперь вот за песнями едут, нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я - хозяин, я тут всё знаю, я тут произрос - вот тебе и задача. У нас бы тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильни, морозильни всякие по берегу, у нас бы тут дорога асфальтовая была бы, мы бы в Кеге-то, в реке-то, бары расчистили бы, дно углубили, тут порт был бы!»

Конечно, планы Нестора не могли быть реализованы в советское время. Ещё фантастичнее они выглядят сегодня, когда всё на корню (от земли до власти) скупил абрамовичи, а последних Несторов по-разному уничтожают, народ превращают в киров и хуже того...

Виктор Конецкий в книге «Опять название не придумывается», комментируя письмо Юрия Павловича от 12 июня 1962 года, приводит слова Игоря Золотусского, который в прозе Казакова «нащупал такой порок «Фраза Казакова, его интонация берут иногда верх над реальностью, и тогда слушаешь не реальность, не жизнь, а эту интонацию. <...> Ритм завораживает и его (Ю.Казакова. -Ю.П.), и он уже не может сломать ритм <...>. И когда обстоятельства меняются, когда поворот их требует разрушения ритма - ибо тон их и тон прозы не совпадают - Казаков не может преодолеть инерции: он уже пленник её» («Нева», 1986, № 4). Позже И.Золотусский эту мысль развил, придал ей масштабность стиля в статье «Оглянись с любовью».

Своё несогласие с позицией критика я уже выразил («Литературная Россия», 2006, № 39), поэтому вернусь к утверждению Золотусского, приведённому В.Конечким. Справедливость точки зрения Золотусского вызывает сомнение, ибо у каждого рассказа Ю.Казакова свой тон. О том, как он выбирался, поведал сам писатель. «Опыт, наблюдение, тон» («Вопросы

литературы», 1968, № 9) – этот своеобразный мастер-класс – открывает творческие секреты Ю.Казакова и является достойным ответом всем, кто, как И.Золотусский, видит в писателе пленника инерции, тона, стиля. Приведу только одно характерное высказывание Юрия Павловича: «В разное время пишешь по-разному. <...> Я помню, как писал рассказ «Некрасивая» – рассказ довольно жестокий: о девушке, которую никто не любит <...>. Закончив этот рассказ, я скоро сел за другой – «Голубое и зелёное» – рассказ о первой любви. Я хотел его писать, используя те же самые приёмы, что и в «Некрасивой». Начинал его раза три и чувствовал, что у меня ничего не получается, потому что там очень молоденькие, очень наивные герои, и любовь их весьма романтичная – школьная любовь. Поэтому я интуитивно понял, что писать в том же ключе, в каком я писал предыдущий рассказ, нельзя, теперь надо писать в виде лирической исповеди, несколько сентиментальной, наивной. Материал диктует стиль (разрядка моя. -Ю.П.). То, о чём хочешь сказать, тебя направляет».

Из многих прекрасных, шедевальных рассказов Ю.Казакова о любви возьмём рассказ «Адам и Ева» (1962), ибо этот рассказ позволяет «убить двух зайцев». В этом произведении любовь и творчество связаны неразрывно.

Критики, рассуждающие о проблеме творчества применительно к Ю.Казакову, довольно часто ссылаются на следующее высказывание Агеева из рассказа «Адам и Ева», которое трактуется в либеральном ключе: «А они (критики. -Ю.П.), когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему прояснённому взору представляется непременно весь человек – страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся <...>». Правда, «левые» авторы «забывают» сказать о том, что «наполняет» «одного человека» конкретным содержанием, что человека делает человеком, индивида – личностью. Это – собственно любовь, то есть жертвенная любовь. А в случае с Агеевым – материнская любовь.

Художник с «запоздалой болью» вспоминает о своей матери, к которой был невнимателен и эгоистичен. Её же отношение к себе Агеев определяет как «постоянную любовь, какой уже не испытывал он ни от кого потом никогда в жизни». И лишь воспоминание о такой любви, недоступной Агееву, заставляет его усомниться в себе как художнике. Если чуть ранее он в шутку и всерьёз называет себя гениальным, то теперь близок к тому, чтобы признать правоту критиков: «Может быть, и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи – идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом».

Как видим, герой способен дать точный диагноз своей болезни, определить то, чего ему не хватает, а именно, по словам Агеева, «одухотворённости идеей». Верные самооценки художника свидетельствуют, что он ещё окончательно не утратил представление о традиционной шкале ценностей. К тому же, в его душе прорастает, просыпается, чаще всего неожиданно, «вдруг», тёплое неустоявшееся чувство к Вике. Отсюда неопределённость в авторских характеристиках и внутренних монологах Агеева при передаче этого чувства.

Если сравнивать казаковских Адама и Еву с сегодняшними жи-вотнообразными мужчинами и женщинами Виктора Ерофеева, Владимира Маканина и других русскоязычных авторов, то в некоторых интимных своих проявлениях они так дремуче-несовременны, так красиво-чисты. Вот как ведут себя Агеев и Вика в гостинице на острове: «Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела (здесь и далее разрядка моя. -Ю.П.) и отчаянно посмотрела на Агеева. Он отвёл глаза и нахмурился <...> Он тоже покраснел ирад был, что Вика не видит. Сзади что-то шелестело, шуршало, наконец Вика не выдержала и попросила умоляюще:

- Погаси свет!»

И всё же в Агееве берут верх другие начала. Он оказался не способен на уровне мысли, чувства, поступка преодолеть свой эгоизм, своё «мессианство». В решающие моменты в отношениях Агеева к Вике побеждает человек-эгоист, художник-небожитель. Так, когда девушка «плакала и задыхалась», «пророк» Агеев выбирает в конце концов отвлечённо-«вечное»: «И стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось. Он думал, что всё равно будет делать то, что должно делать. И что это ему потом зачтётся». Не зачтётся... И в этом Ю.Казаков последователен: любой художник, не освободившийся «от ужасного тормоза – любви к себе» (Л.Толстой), обречён на неодухотворённость творчества.

24 августа 1959 года тридцатидвухлетний Казаков записал в дневнике: «Жить - значит вспоминать, жизнь - воспоминание». А 23 февраля 1963 года у Юрия Павловича появился следующий план: «Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нём. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи». Ещё через четыре с половиной года у Казакова родился сын Алексей. И наконец, в 1973 и 1977 годах появляются рассказы «Свечечка», «Во сне ты горько плакал». Они - трансформированная реализация плана 1963 года, воплощение той внутренней биографии, о которой, со ссылкой на А.Блока, говорил Ю.Казаков.

«Свечечка», «Во сне ты горько плакал» - поэтическое выражение сыновней и отцовской боли и любви писателя. В 1933 году его отец был арестован за доноительство. На протяжении 20 лет Юрий Павлович не виделся с ним годами, либо встречи происходили один или несколько раз в год. Через время ситуация по-иному повторилась. По воле второй жены писателя Тамары Судник Казаков был лишён постоянной возможности видеться с сыном. В письмах к Нурпеисову от 19 июля и 29 октября 1969-го года, 9 июля 1971-го говорится о переживаниях Юрия Павловича, о сложных отношениях с женой, в которых, «главное <...>, конечно, Алёша». Тоска по сыну приводит к сердечному приступу, и Казаков оказывается в больнице с предварительным диагнозом «инфаркт». Позже он сообщает другу, что Алёша по воле матери вынужден проводить второе лето в Минске, «где пыльный воздух большого города», что сын такой «худенький и синяки под глазами» (альманах «Литрос», вып. 7. - М., 2006).

Сыновье-отцовское чувство лишь усилило то ощущение времени, которое давно было присуще Ю.Казакову. Глеб Горышин в воспоминаниях о писателе «Сначала было слово» («Наш современник», 1986, № 12) приводит его письмо, которое заканчивается словами: «Славно поохотимся, только бы дожить». И далее следует примечательный, очень точный комментарий Горышина: «Он, как говорится, в расцвете творческих сил, у него тепло и свет собственного дома, лес за окном, абрамцевские пейзажи, насыщавшие душу многих художников необходимой для творчества красотой; машина во дворе... Казаков заглядывает в бездну, постоянно сознаёт предел отпущенного ему срока без рисовки. И потому так остро воспринимает жизнь, преходящесть всего».

Действительно, у Казакова удивительное чувство времени: вре- мени-детства, времени- юности, времени-зрелости, времени-старо- сти. Все эти времена предельно естественно соседствуют в мире Юрия Казакова, пересекаются, перетекают друг в друга и в сумме составляют то, что называется жизнью и вечностью. Их неразрывно связывает писательское мироощущение, неожиданное и естественное ассоциативное мышление художника.

В очерке «Вилла Бельведер» среди благообразных старушек и страшных старух богадельни в Грассе Юрий Казаков вдруг вспоминает детский сад. Поводом к этому послужил общий запах «манной каши, компота, клеёнки и старого белья». Общность запаха перерастает в общность судеб как в повторение одних и тех же этапов жизни: «Когда-то все они были девочками, девушками, любили, и их кто-то любил, даже из-за некоторых из них, может быть, кончали самоубийством. Были у них мужья, любовники, дети, дома. А теперь им только ждать: чья теперь очередь, кого раньше повезут в госпиталь, а потом на кладбище».

Ощущением быстротечности жизни, жизни как мгновения пронизаны рассказы «Свечечка», «Во сне ты горько плакал». Чёрно- светлый пейзаж «Свечечки» соответствует контрастному настроению лирического героя. Сначала ему кажется, что всё вокруг - и победа осени над летом, и ноябрьский пейзаж, в котором преобладают цвета чёрный и тёмный - свидетельствует об увядании, убывании, тлении, смерти. И отец, обращаясь к своему полуторагодовалому сыну, готов «взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому!»

Тема ухода является одной из основных в этих рассказах. В «Свечечке» отец мертвеет от ужаса, что ребёнок может потеряться в лесу. В рассказе «Во сне ты горько плакал» героя потряс уход из жизни, самоубийство соседа Мити. И всё же в этом рассказе феномен ребёнка,

душевное несовпадение сына с отцом является не меньшей загадкой, чем смерть. И оба эти явления герой постичь не в состоянии.

Но в силах Юрия Казакова остаётся с редчайшим мастерством запечатлеть различные мгновения душевных переживаний отца и сына и бессилие первого перед названными загадками. Об одной из них говорится, в частности, так «Я почувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, - теперь далеко и с каждым годом будет всё отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не моё продолжение, и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдёшь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!»

Трагедийность последних рассказов Казакова уравнивается светлой печалью, которая отличает многие произведения автора. В «Свечечке» и «Во сне ты горько плакал» нет, с одной стороны, срыва во тьму беспросветную, с другой, - той оптимистической трагедии, которая характерна для многих современников автора. Русская печаль Юрия Казакова светлая потому что, как утверждается в этих рассказах, «всё на земле прекрасно - и ноябрь тоже», у человека в жизни есть смысл, «свечечка» - дети, дом, Родина, есть небо, где души, разминувшиеся на земле, «опять сольются».

М.Холмогоров, говоря об отношениях Ю.Казакова с журналами, утверждает, что они не сложились с «Новым миром», «Знаменем», «Октябрём». Завершается этот пассаж знаменательной фразой: «Как ни странно, в круг авторов либеральной «Юности» Ю.Казаков не вошёл» («Вопросы литературы», 1994, № 3).

Такое видение ситуации свидетельствует, что Холмогоров находится в плену весьма характерных и очень распространённых либеральных догм, довольно поверхностно представляет период журнальной «прописки» Ю.Казакова.

Он печатался в «Октябре», «Знамени», «Крестьянке», «Молодой гвардии», «Москве», «Огоньке», «Комсомольской правде»... «Новый мир» А.Твардовского не опубликовал ни одного произведения Ю.Казакова, что не случайно. Его рассказы были не востребованы в якобы оппозиционном журнале с его замкнутостью на социальном, с его известным требованием «Против чего...». И в отзыве Александра Твардовского на рассказы Казакова эти и другие изъяны социологического подхода, «реальной критики» проявились. Главный редактор «Нового мира» пишет как самый обычный, примитивный советский критик-ортодокс: «Они наблюдаются верно, но как-то односторонне, абстрагированно от множества жизненных сложностей, связей, так сказать, «в чистом виде». Вообще, по молодости опять же, автор думает, что чем более освобождён его рассказ от жизненных, временных примет, тем он «художественнее». Особенно показателен в этом смысле рассказ «Дым», где есть «отец», «сын», «отец отца» в их отношении к природе, цветам и запахам, в их ощущениях биологического (возрастного) счастья юности и горести старости, но нет ни намёка на практически-жизненную принадлежность их, кто есть кто - неизвестно. А ведь это так важно, что «дед», например, был мужиком, а «отец» генералом или бухгалтером, а «сын» учится и кем-то собирается быть. Другая цена (разрядка моя. -Ю.П.) была бы всем этим росным травам, запахам земли и воды, даже мыслям о юности, счастье, старости и смерти» (Твардовский А. Собр. соч.: В 6 т. - Т. 5. - М., 1980).

В этом ряду закономерной видится и мотивировка, с которой В.Конечному отказали в «Новом мире», о чём сообщает ему Ю.Казаков 18 ноября 1967 года: «Они сказали, что ты работаешь не в духе соц. реализма» («Нева», 1986, № 4).

В отличие от Холмогорова, меня не удивляет и то, что в либеральной «Юности» Ю.Казакова не печатали. Конечно, В.Катаев сразу уловил принципиальную разницу между Ю.Казаковым и

ВЛКСёновым, А.Гладшным, А.Битовым, которых он привечал и сразу назвал «русскими гениями». Приведу интересное свидетельство Леопольда Железнова, зама В.Катаева, в котором требовательность шефа иллюстрируется случаем с рассказом Ю.Казакова «Звон брегета».

По мнению В.Катаева, «вся манера письма, вся интонация, вся музыка произведения заимствованы у Бунина» («Юность», 1987, №6). В ответе Юрия Казакова звучит правда,

лежащая на поверхности, очевидная, но не замечаемая многими авторами, начиная с Александра Твардовского. Итак, Казаков сказал Катаеву: «У меня есть рассказы, которые я написал до того, как впервые раскрыл книги Бунина».

Данный довод Катаева не убедил, и он выдвинул версию опосредованного влияния Бунина через Паустовского. К тому же главный редактор «Юности» дал «дельный» совет: незаметно красть художественные находки у других писателей. Примерно с таких позиций рассуждает Ст. Рассадин в «Книге прощаний» (М., 2004). Он с той простотой, которая хуже воровства, легко выявляет многочисленные «заимствования» в прозе Казакова.

Юрий Павлович с иронией относился к подобной методе, 10 ноября 1963 года он писал В.Конечкому: «Как это про тебя гавкнули в «Звезде». Что Ремарку и Хему подражаешь. Это ты молодец! Сразу двум - это уметь надо. Но до меня тебе всё равно далеко, я сразу пяти подражаю, от Гамсуна до Чехова» («Нева», 1986, № 4).

Показательно и то, что другой, по словам Казакова, «немножко грустный рассказ» «Проклятый Север» был отвергнут «Юностью» и опубликован в «Москве». Об этом, как и других фактах, из которых складывается реальная картина отношений Ю.Казакова с журналом, в статье Холмогорова - ни слова. Ему известно всё заранее: с «реакционными» «Знаменем», «трусливым» В.Кожевниковым контакта у Казакова быть не может. Всё, что не вписывается в эту схему, умалчивается, не замечается...

Подобным образом поступили и в «Неве», где впервые было опубликовано повествование в письмах Виктора Конечного «Опять название не придумывается». В демократическом журнале не случайно опущено письмо автора повествования Ю.Казакову от 2 августа 1959 года. В нём выражается восторг от рассказа «Трали-вали», опубликованного в «Октябре», и звучат слова благодарности главному редактору Ф.Панфёрову за эту публикацию. Здесь же В.Конечкий предполагает: «Ведь по этому рассказу опять пальба пойдёт из всех пушек и пулемётов. И Панфёрову тоже достанется». (Попутно замечу, что была произведена в «Неве» и другая характерная правка: в послании Ю.Казакова В.Конечному от 31 июля 1958 года слово «еврей» заменено словом «армянин».)

Юрий Павлович в августе 1959 года тепло благодарит Панфёрова за публикацию, за помощь в самую трудную минуту и выражает надежду: «И мне очень хочется принести Вам ещё что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы ещё и ещё оправдать Ваше доброе внимание ко мне...» (Цит. по: Кузьмичёв И. Юрий Казаков, -Л., 1986).

История с «Октябрём» Панфёрова в очередной раз доказывает, что предвзятость либеральная ничем не отличается от предвзятости «классовой». Уход от групповых подходов, от чёрно-белого изображения человека и времени на пользу всем, что, в частности, позволяет прояснить и ситуацию якобы не сложившихся отношений у Казакова со «Знаменем».

В этом журнале работали Самуил Дмитриев, Лев Аннинский, Александр Кривицкий, Нина Каданер, Станислав Куняев... Последний в своей книге «Поэзия. Судьба. Россия» (М., 2005) передаёт атмосферу «одиозного» издания. Принцип «качелей» (еврей-русский), выбранный его руководством в отношениях с авторами, позволил и Ю.Казакову относительно долго и активно публиковаться в «Знамени». Так, только в 1961 году (когда, по версии М.Холмогорова, контакты с журналом прекратились) на страницах этого издания вышли в свет «Северный дневник» и «Вон бежит собака». К тому же, видимо, можно говорить и об определённом авторитете, который имел в «Знамени» Ю.Казаков. 9 июля 1957 года он сообщает Виктору Конечному: «Пошли «Росомаху» в «Знамя». На днях я буду у Кожевникова и скажу ему, что у тебя есть рассказ». А 21 марта 1960 года Казаков писал другу: «Вчера «Знамя» заказало мне статью о тебе» («Нева», 1986, № 4).

Юрий Нагибин утверждает, что Ю.Казаков «знал лишь творчество, но понятия не имел, что такое «литературная жизнь». И она мстила за себя - издавали Ю.Казакова очень мало» (Нагибин Ю. Дневник. - М., 1995). Думаю, что Ю.Казаков очень хорошо понимал, что такое «литературная жизнь». Достаточно прочитать его переписку с А.Нурпеисовым или В.Конечким. В письме к последнему от 10 марта 1963 года Казаков так передаёт один из характерных штришков этой жизни: «Мы с тобой единственные, которые о чём-то думают и что-то вообще говорят о жизни и литературе. Это я недавно подумал. Как-то я припомнил все мои разговоры за пять лет, что я околачиваюсь с друзьями-писателями (а это Е.Евтушенко,

Ваксёнов, Ю. Нагибин, Бахмадулина, Абитов и им подобные. -Ю.П.), и не мог ничего вспомнить, кроме одного мотива: слухи, слухи и слухи. Встретишься с кем-то, и сейчас же тебе: а Твардовского снимают, слышал? А Кочетов остаётся - слышал? и т. д. и т. п. - до бесконечности.

У меня в рассказе «Кабасы» парнишка всё хочет с кем-нибудь поговорить о «культурном, об умном», да так и не может - не с кем. Так и я» («Нева», 1986, № 4).

Не устраивает Ю. Казакова московская литературная жизнь и другой своей стороной, условно говоря, оторванностью от жизни простых людей, о чём предельно откровенно говорится в рассказе «Нестор и Кир»...

Итак, зная хорошо литературную жизнь, Ю. Казаков не случайно выбирает в конце концов затворничество в Абрамцево и журнал «Наш современник», о чём, конечно, не говорят М. Холмогоров, Ю. Нагибин, ВЛКСёнов и другие либерально мыслящие авторы. Закономерно, что свои классические рассказы «Свечечка», «Во сне ты горько плакал» Юрий Павлович публиковал именно в этом лучшем русском журнале.

Востребованность читателями для Казакова имела большее значение, чем востребованность издательствами и периодикой. В различных его интервью не раз прорывалось, что Юрий Павлович ощущал себя писателем без осязаемого, представляемого читателя. За три года до смерти он говорил: «Никогда не видел ни в электричке, ни в поезде, ни в читальнях, чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами, их как будто и в помине не было.

Я участвовал в нескольких литературных декадах, ну и, как правило, книжные базары, распродажа. К моим коллегам подходят за автографами, даже толпятся вокруг, а я один как перст, будто всё мною изданное проваливается куда-то» («Вопросы литературы», 1979, № 2).

Те же люди, чьё мнение Ю. Казаков ценил (например, поморы-рыбаки), его книги, как и многих других писателей, не читали. Их интересы, их жизнь никак не пересекались с миром «кудесников» слова. Об этом резко и печально повествуется в «Несторе и Кире». Тем, кто начнёт рассуждать на тему сходства и различия героя-повествователя и автора произведения, приведу слова Ю. Казакова, сказанные в очерке «О Владимире Солоухине» и полностью применимые к нему самому: «Солоухин же никогда не прячется за своего литературного героя. Если он пишет я, - это значит: я, Владимир Солоухин».

Периодически Казаков воспринимал своё писательство как неполноценный - немужской или не совсем мужской - труд. Вновь сошлюсь на «Северный дневник»: «Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски - тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте.

Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу <...>. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа - ловить ли сёмгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке... Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, - вещественные и такие необходимые, гораздо необходимей всех рассказов!»

Это ощущение ущербности своего труда - нормальное состояние Ю. Казакова и многих русских писателей. К тому же настоящий художник - всегда виноват, без вины виноват за несовершенства, уродства мира и человека. Подобное чувство, муки совести испытывают лишь те писатели, кто, как и Ю. Казаков, ставит перед собой задачи, традиционные для русской литературы.

К данной теме Ю. Казаков обращается неоднократно: в многочисленных письмах, очерке «О мужестве писателя», различных интервью. Одно из последних названо говоряще: «Для чего литература и для чего я сам?» («Вопросы литературы», 1979, № 2). Юрий Павлович в духе традиций русской классики утверждает, что назначение литературы - говорить о главном: жизни и смерти, красоте, любви, сокровенных переживаниях человека... Писательский труд, по Казакову, - это сизифов труд, ибо, несмотря на все достижения гениев литературы, человек и мир не стали лучше. «Так что же можешь сделать ты и нужен ли ты?..».

Себя Ю.Казаков, если перефразировать В.Маяковского, «чистил» под Л.Толстым и А.Леховым. И это оптимизма не прибавляло. Так, в письме к В.Конечкому в марте 1962 года он сообщает: «Взял Толстого «Исповедь», почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет <...>. Видишь, что ты есть дерьмо собачье и ничего больше» («Нева», 1986, №4).

Обуреваемый такими мыслями, сомнениями, Казаков замолкал на долгое время. Эти творческие «простои» получили самые разные объяснения. Наиболее немотивированное - у М.Холмогорова. Оказывается, писатель замолчал потому, что после процесса над А.Синявским и Ю.Даниэлем оттепель оборвалась, а с ней исчезли и надежды Казакова на новые творческие прорывы. Но «чтобы не терять формы, он взялся за многолетний перевод трилогии А.Нурпеисова «Кровь и пот» («Вопросы литературы», 1994, № 3).

Однако известный процесс и скончавшаяся оттепель не имели никакого отношения к творчеству Ю.Казакова. Он ещё в письме к А.Нурпеисову от 25 октября 1963 года говорит о переводе его романа. И большую роль в решении взяться за эту работу сыграли финансовые трудности. О них Казаков постоянно сообщает в письмах к казахскому прозаику, и не только к нему.

И полного творческого простоя у Казакова в данный период не было. Писались главы «Северного дневника», шла работа над романом о Тыко Вылка. Сам Юрий Павлович 24 марта 1968 года так оценивает своё «молчание» в послании к А.Нурпеисову: «Я, кажется, пишу сейчас гениальные страницы из «Северного дневника». Давно так хорошо не работал» (альманах «Литрос», вып. 7. - М., 2006).

Состояние временной немоты, сомнения, обуревавшее писателя, в конце концов, преодолевалось. Как сказано в очерке «О мужестве писателя», ещё неизвестно, «что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова». Ктому же, «если мы относимся к своему делу серьёзно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни». Когда же уверенность в способности литературы улучшить людей пропадала, смысл и счастье виделись Юрию Казакову в ощущении того, что ты пишешь хорошо. Об этом он говорит в письме к Виктору Конечкому 21 ноября 1982 года, за неделю до смерти («Нева», 1986, № 4).

Юрий Казаков не раз утверждал, что рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть мгновенно и точно: «мазок - и миг уподобен вечности, приравнен к жизни» («Литературная газета», 1979, 21 ноября). И всё творчество писателя можно назвать историей мгновений русской души.

P.S. Я хорошо помню тот день, когда узнал о смерти Юрия Казакова. Мы с дочкой, которой было чуть больше, чем Алексею из последних рассказов писателя, гуляли по Геленджику. Любовались синим-зелёно-чёрным морем, убегали от набегавших волн, собирали ракушки, кормили быстрых чаек и неуклюжих нырков, гладили и нюхали нашу сосну.. На обратном пути Настя сочиняла истории про Гоника. Дома я открыл свежий номер «Литературной газеты»... Я плакал так ещё один раз, когда получил известие о кончине Юрия Селезнёва.

Владимир Максимов: «Я без России - ничто».

Повторно имя Владимира Максимова стало вводиться в литера- турно-критический и читательский обиход во второй половине 80-х годов XX века. Уже по первым негативным оценкам Максимова «левыми» можно было понять, что мировоззрение и творчество писателя явно не вписывается в либеральную систему ценностей. Дискредитация писателя велась на уровне вскользь брошенных фактов или якобы фактов. Среди них чаще всего упоминались «сталинистские» стихи Максимова.

Обличители во главе с Виталием Коротичем, конечно, не вспоминали при этом «здравницы» Сталину, написанные ААхматовой, Б.Пастернаком, О.Мандельштамом. Не вспоминали «Балладу о Москве» и «У великой могилы» А.Твардовского, «Как вы учили» и «Дружбу» КСимонова, «Памятную страницу» и «Великое прощание» СМаршака и многие другие произведения подобной направленности. Не обращали внимание и на то, что В.Максимов, в отличие от названных авторов, в момент написания «крамольных» стихотворений был практически юноша.

АРыбаков в статье «Из Парижа! Понятно?!» («Литературная газета», 1990, № 20) привёл другие факты из биографии Владимира Емельяновича, призванные его опорочить. По мнению АРыбакова, в статье «Эстафета века» Максимов поддержал «погром», устроенный Хрущёвым интеллигенции в марте 1963 года. И как следствие, по версии Рыбакова, «в октябре 1967 года Кочетов сделал Максимова членом редколлегии журнала - рвление должно вознаграждаться». Также Рыбаков утверждал, что руководящая работа в журнале «Октябрь» пошла В.Максимову на пользу - пригодилась в «Континенте».

Подобные упрёки в адрес В.Максимова звучали и раньше. Показательно был сформулирован один из вопросов писателю Аллой Пугач: «Рискну вызвать неудовольствие, но вам часто припоминают <...> участие в редколлегии кочетовского «Октября» («Юность», 1989, № 12). В ответе Максимова - констатация факта, который многое объясняет: «А из редколлегии «Октября» я сам вышел через 8 месяцев, когда увидел, что не могу никак повлиять хотя бы на прозу. А вот кто из них это сделал?»

Возвращаясь к публикации Рыбакова, отмечу его очевидную предвзятость: Анатолий Наумович оставил за скобками своей статьи мизерный срок пребывания Владимира Емельяновича в «Октябре». К тому же, кто-кто, а Рыбаков хорошо знал, что член редколлегии в журнале чаще всего ничего не решает и, тем более, не руководит. И вообще, какая-то замедленная реакция у Вс. Кочетова: четыре с половиной года тянул с благодарностью... Утверждение же автора «Детей Арбата»: Максимов - пена «русской зарубежной литературы» - можно и не комментировать.

Нападки на Владимира Максимова со стороны В.Коротича, АРы- бакова, ЕЛковлева и других рассадиных были вызваны также и тем, что долгое время Владимир Емельянович воспринимался многими «левыми» как свой или почти свой. Для этого имелись формальные и неформальные предпосылки.

В 60-е годы среди писателей-приятелей Максимова «левые» значительно преобладали. Не случайно в Союз писателей Владимира Емельяновича рекомендовали А.Борщаговский, МЛисянский, Р.Рождественский. И обращение в защиту «группы» Агинзбурга через 5 лет Максимов подписал вместе с Л.Копелевым, ВАксёновым, Б.Балтером, В.Войновичем, Л.Чуковской, Б.Ахмадулиной... О многом свидетельствует и тот факт, что вскоре после выезда из СССР в 1974 году писатель возглавил «Континент», - то есть получил благословение ЦРУ на эту должность. И всё же именно в эмиграции начинается явное «обрусение» Максимова, возникают разногласия и конфликты со многими «левыми».

В этой связи довольно часто вспоминают историю с Андреем Синявским, якобы изгнанным Максимовым из «Континента». Андрей Донатович - фигура знаковая в том мире, в котором Владимиру Емельяновичу пришлось «вариться» почти всю творческую жизнь. Через Терца-Синявского «виднее» и сам Максимов, и «левая» интеллигенция (в эмиграции и Союзе), и главная причина их разногласий, точнее, резусной несовместимости.

ВАксёнов в отклике на смерть А.Синявского «Памяти Терца» выразил отношение к Андрею Донатовичу и стране, отношение столь характерное для большинства «левых». Приведу только небольшой отрывок из облыжно-злобного приговора ВАксёнова: «Нелегко будет России замолить свою вину перед Синявским. В его судьбе она раскрыла во всю ширь и глубину свою «бездну унижений». Эта, по его собственному определению, «родина-сука» выявила ещё в ранние студенческие годы исключительный талант, незаурядный ум, начала с ним «работать», то есть шельмовать самым гнусным образом...» (Аксёнов В. Зеница ока. - М., 2005).

Подобные обвинения в адрес России В.Максимов неоднократно опровергал, эмоционально-убедительно показывал их беспочвенность и абсурдность. Ему, как и самым разным авторам, было неприемлемо отождествление СССР и России. Владимир Емельянович не раз говорил, что боролся с идеологией, системой, а не страной. Это принципиально отличало его от русофобов разных мастей - от диссидентов до советского официоза с Александром Яковлевым во главе. Более того, Максимов-антикоммунист с уважением отзывался о тех коммунистах, кто не побежал из партии на рубеже 80-90-х годов («Юность», 1991, № 8).

В упомянутом эссе В.Аксёнов называет А.Синявского и Ю.Даниэля «символом борьбы и даже победы». Л.Бородин в книге мемуаров «Без выбора» (М., 2003) иначе оценивает своих сокамерников.

Юлий Даниэль, по определению Леонида Ивановича, «солдат», что, согласно терминологии автора мемуаров, означает «высшую оценку поведения человека в неволе». Синявского же Бородин воспринимал принципиально иначе. За равнодушно-прагматичное отношение к человеку Андрея Донатовича в лагере называли «людоедом», «потребителем человеков». Кумир либеральной интеллигенции и в зоне «жил среди людей, а не с людьми», «всякий человек бывал ему интересен только до той поры, пока интерес не иссякал».

А.Синявский, по Аксёнову, «борец и даже победитель режима», в лагере за примерное поведение (а оно включало и посещение политзанятий, от которых все политические, за исключением «синяв-цев», отказались ценою карцера и голодовок) получил блатную работу «хмыря» - уборщика в мебельном цехе. По свидетельству Бородина, «никто из политэзков на такую работу не пошёл бы и по приказанию».

Паскудно-мерзкие слова А.Синявского «Россия-сука», которые пришлись по душе ВАксёнову и большинству «левых» и за которые по меньшей мере нужно бить морду, - показательная иллюстрация всегдашнего отношения Абрама Терца к Родине. И в лагере он, как истовый «левый», по утверждению Бородина, с лёгкостью и радостью, хамством необыкновенным бранил Россию и русских и очень трепетно-подобострастно относился к евреям, что принимало подчас комические формы. Приведу отрывок из мемуаров Л.Бородина: «...В угоду иудею по вероисповеданию Рафаиловичу «вся честная компания» уселась в столовой, не снимая грязных лагерных шапок с тесёмками, чуть ли не плавающими в тарелках. Про нечёсанные и немые бороды уже и не говорю. Я отозвал в сторону «шурика», обслуживающего компанию Синявского, и сказал: «Слушай, объясни нашим русским интеллигентам, вон тем, за столом, что если быть последовательными, то надо дозреть и до обрезания».

Хамство моё сработало. Шапки все сняли».

Свои мемуары Леонид Бородин, отсидевший в лагерях и тюрьмах 11 лет (напоминая стенающим о «страдальцах» типа Иосифа Бродского и Андрея Сахарова), заканчивает символично, по-русски: «О себе же с чёткой уверенностью могу сказать, что мне повезло, выпало счастье - в годы бед и испытаний, личных и народных - ни в словах, ни в мыслях не оскверниться проклятием Родины». АСиняевский же, как и большинство представителей третьей волны эмиграции, на этом осквернении сделал себе карьеру...

Тема взаимоотношений Максимова и Синяевского в «Континенте» неоднократно возникает и после смерти Владимира Емельяновича. Так, в июне 2006 года на вопрос: «...Что послужило непосредственной причиной выхода АСиняевского из редколлегии «Континента»?» - Наталья Горбаневская, знающая ситуацию изнутри, не ответила. Однако она чётко заявила, что разрыв произошёл по инициативе Синяевского, который свой выбор внятно не объяснил.

Интересен следующий факт, характеризующий «диктатора» Максимова. Буковский и Галич, убеждённые, что в конфликте виноват Владимир Емельянович, попытались заступиться за Синяевского и урегулировать проблему. По свидетельству Н.Горбаневской, реакция главного редактора «Континента» ошеломила Буковского и Галича: «Пожалуйста, - сказал Максимов, - выделяю в «Континенте» 50 страниц, «свободную трибуну» под редакцией Андрея Синяевского, и не вмешиваюсь, ни одной запятой не трону. А вдобавок - вне этих 50 страниц - готов печатать любые статьи Синяевского» («Вопросы литературы», 2007, № 2).

Андрей Донатович отказался от столь щедрого предложения. Отказался, думаю, потому, что, во-первых, хотел и мог быть только первым, единственным, во-вторых, прекрасно осознавал свою несовместимость - человеческую и творческую - с Максимовым.

Именно отношение к России определило конфликт Владимира Максимова с А.Синяевским, ВАксёновым, Ф.Горенштейном, В.Войновичем и другими «левыми». К тому же, в отличие от подавляющего большинства представителей третьей волны эмиграции, В.Максимов свою жизнь вне родины воспринимал как несчастье. В первом же интервью, данном журналисту из СССР, Владимир Емельянович признавался, что за границей он больше потерял, чем обрёл, и своё внутреннее состояние оценивал как очень плохое («Юность», 1989, № 12). Любовь к Родине перевешивает у Максимова свободу, редакторско-писательский успех, материальные блага и другие преимущества заграничной жизни.

Эмиграция, редактирование «Континента», жёсткая и жестокая борьба идей и амбиций, редкая концентрация взаимоисключающих авторитетов на узкой площадке журнала и другое научили Максимова оставаться самим собой в любых обстоятельствах, быть одним в поле воином.

С начала перестройки Максимов, всегда ощущавший себя частью народа, страны, внимательно следил за происходящими событиями, всё принимая близко к сердцу. Он, зная, что «цивилизованный» мир не понаслышке, пытался от возможных ошибок уберечь, многие иллюзии развеять.

В статье «Нас возвышающий обман» («Литературная газета», 1990, № 9) В.Максимов не только утверждает, что свобода слова на Западе - это миф, но и поднимает руку на «святыню»: «Демократия - это не выбор лучших, а выбор себе подобных». А через год в беседе с Аллой Пугач он говорит об уродствах «цивилизованного» мира и, солидаризируясь с известной мыслью Игоря Шафаревича (который был в то время одним из самых сильных раздражителей для «левых»), утверждает: «...И тот, и другой путь, в общем, ведёт к одному и тому же социальному и духовному обрыву» («Юность», 1991, №8).

В.Максимов сразу и точно оценил Т.Толстую, А.Нуйкина, Б.Окуджаву, А.Бознесенского, Ст. Рассадина и всех тех, кто претендовал и претендует на роль идейных и культурных вождей. «Мародёрствующими шалунами» именует он их в статье с аналогичным названием и характеризует, в частности, так «Оказывается, они не прочь благословить мокрое дело, поскольку «для процветания»... Но читатель, я думаю, догадывается, что в данном случае сия витийствующая матрона (Т.Толстая. -Ю.П.) имеет в виду кого угодно, кроме себя. Кого же? Разумеется, «врагов перестройки», то есть тех, кто мешает таким, как она, безнаказанно пудрить мозги своим зарубежным слушателям <...>».

«Враги перестройки» с каждым днём всё более и более звучит как «враги народа». Ату их! Ошельмовать не удаётся, так и замочить не грех» («Континент», 1989, № 1).

Через четыре года прогноз В.Максимова оправдался. Правда, на совести «прорабов перестройки», подписантов и неподписантов известного письма 42-х, не только кровь безвинных жертв октября 1993 года, но и тех десятков миллионов, которые ушли из жизни раньше времени в результате «реформ», порождённых или благословлённых «мародёрствующими шалунами».

Несмотря на всё сказанное, единого отношения «левых» к Максиму на рубеже 1980-1990-х годов не было. Если одни сразу начали Владимира Емельяновича «мочить», то другие ещё надеялись вернуть его в свой стан. Показательно, кто и как встречал писателя во время его первого приезда на Родину. Так, по воспоминаниям Петра Алёшкина, 10 апреля 1990 года в аэропорту Владимира Емельяновича ожидали «всего несколько человек из журналов «Октябрь», «Юность», писатели Эддис, Крелин, Кончиц, с другими я не был знаком» («Литературная Россия», 1995, № 13). И на банкете в ресторане «Прага», по свидетельству Игоря Золотусского, были одни «свои». «Потом эти «свои» стали рассеиваться, потому что Володя вопреки «партийному» этикету стал встречаться с Распутиным, Беловым, посетил даже (разрядка моя. -Ю.П.) Станислава Куняева. На него уже начинали коситься, спрашивая: зачем ты это делаешь? Ведь это красно-коричневые» (Золотусский И. На лестнице у Рас- кольников. - М., 2000).

В.Максимов неоднократно заявлял, что он вне борьбы, над борьбой, не принимает групповые подходы и к каждому человеку и явлению относится конкретно-индивидуально. И это действительно так. Однако очевидно и другое: большинство высказываний и оценок Владимира Емельяновича в последние годы жизни звучат в унисон с самыми нашумевшими статьями «правых» критиков. Приведу два примера, как будто взятые из статей «Мы меняемся?..» В.Ко- жина и «Очерки литературных нравов» В.Бондаренко.

В письме от 26 ноября 1987 года к Александру Половцу Владимир Емельянович называет Виталия Коротича и Андрея Вознесенского «советскими проходимцами от литературы» и в качестве одного из доказательств приводит книгу первого об Америке «Лицо ненависти», вышедшую «всего четыре года назад» («Вопросы литературы», 2007, № 2). А в беседе с Лолой Звонарёвой В.Максимов так характеризует двух деятельных «перестройщиков»: «Мне противно слышать от Окуджавы, тридцать с лишним лет бывшего членом КПСС, его новые антикоммунистические манифесты. Сразу хочется спросить: «Чем ты там тридцать лет занимался?» А Борщагов- ский? Он председательствовал на собрании, которое выгоняло меня из Союза писателей, называя меня «литературным власовцем», а теперь я для него - «красно-коричневый». Трудно спокойно наблюдать, как люди меняются в очередной раз вместе с начальством» («Литературная Россия», 1995, № 1-2).

Максимов подстраиваться под демократическое время и нравы не мог и не хотел. Он с «правых» позиций многократно высказывался по взрывоопасному национальному вопросу. Уже в первом интервью советскому журналисту из «левого» издания национальные движения в Грузии и Латвии, которые приветствовались и всячески поддерживались либералами, Владимир Емельянович называет шовинистическими («Юность», 1989, № 12). А его высказывание из другого интервью и сегодня, когда в моде в бывших республиках СССР открытие музеев оккупации, звучит актуально: «...И когда, предположим, грузинские патриоты говорят об оккупации, я им отвечаю: речь может идти об «оккупации» в чисто политическом смысле. Идеальным руководителем её был Орджоникидзе, а военным - Киквидзе. И встречали их с распростёртыми объятиями в общем- то нехудшие представители грузинского народа - Окуджава, Ора- хелашвили, Мдивани. Да и Грузией все семьдесят лет правили грузины. <...> И в той же «порабощённой» Грузии ни один человек - не только русский - не мог занимать ответственные посты» («Москва», 1992, № 5-6). Версия Максимова об «оккупации» Польши, Чехии, Прибалтики также не совпадает с ныне модными примитивно-ложными мифами. Владимир Емельянович настаивал неоднократно на том, что все народы соучаствовали в данных событиях и каждый народ должен взять на себя часть общей вины. Сваливать всё на русских, по Максиму, несправедливо и аморально.

В отличие от «левых» Владимир Емельянович всегда признавал русофобию как факт, как явление в нашей стране и за её пределами. Приведу два коротких высказывания писателя на

данную тему: «Ты уже националист, если только произносишь это слово (Россия. - Ю.П.). Ты шовинист и фашист»; «Да-да, это не сегодня началось, не при советской власти. Когда Пётр I умер, все европейские дворы открыто устроили празднества по этому поводу <...>. Для них Россия всегда была враждебным государством, угрозой, которую надо уничтожить и растоптать» («Наш современник», 1993, № 11).

Когда кругом говорили, что политика - грязное дело, Максимов к политике и политикам предъявлял устаревший в глазах многих кодекс чести. Его он применял абсолютно ко всем, в том числе и к своим главным идеологическим противникам - коммунистам. В то же время Владимир Емельянович не приветствовал закрытие компартии, ибо она выражает мнение и интересы части народа, оставляя которую за пределами политико-социального поля несправедливо и губительно для общества. Поэтому данный поступок Б.Ельцина писатель назвал недостойным и так непривычно резюмировал: «Это даже не по-мужски» («Москва», 1992, № 5-6).

С аналогичных позиций Максимов оценивал и идею суда над компартией, идею нового Нюрнбергского процесса, которая и сегодня популярна среди «мыслителей» либерального толка. Тогда, по мнению писателя, на скамье подсудимых должен оказаться и Б.Ельцин, и не только он. «В том Нюрнберге судили идеологию и её представителей, доведших Германию до плачевного состояния. А вы хотите хорошо устроиться - хотите сдавать свои партбилеты и этим очистить себя от преступлений, к которым имеете самое непосредственное отношение! Я этого не понимаю и понять никогда не смогу» («Москва», 1992, № 5-6).

По иронии судьбы именно газета «Правда» стала для Максимова одной из немногих трибун в ельцинской России, где он получил возможность свободно высказываться по любому вопросу. Либеральная же интеллигенция в последние годы жизни писателя заняла по отношению к нему вполне предсказуемую позицию.

Уход Максимова из «Континента» в 1992 году, передача журнала Игорю Виноградову до сих пор вызывает вопросы. Сразу по следам событий ситуацию точнее других оценил В.Бондаренко. В статье «Реквием «Континенту» он, в частности, утверждал: «Конечно, чудовищно трудно убивать своё детище, но считаю нынешний компромисс Максимова - передачу журнала Виноградову - огромнейшей ошибкой. Надо было всё же закрыть «Континент» («День», 1992, № 27).

После ухода из журнала Владимир Емельянович, по его словам, планировал набрать писательскую форму, более полно реализовать своё творческое «я». Однако осуществить задуманное помешала смерть.

В.Максимов хотел, чтобы его возвращение к отечественному читателю началось романом «Заглянуть в бездну». В этом произведении почти все герои, размышляя о событиях революции и гражданской войны, не раз высказывают мысль: виновных не было - все виноваты. Как следует из авторских характеристик, многочисленных интервью и публицистики писателя, это позиция самого В.Максимова. Её нередко определяют как православную, с чем согласиться трудно. Когда все равны - все виноваты, и никто не виноват, - тогда нет разницы между добром и злом, правдой и ложью, убийцей и жертвой, предателем и героем, Богом и сатаной. То есть такая система ценностей не имеет никакого отношения к Православии.

В целом же в «Заглянуть в бездну», казалось бы, прямо по Библии, воздаётся всем героям по делам их. На уровне отдельных персонажей существует чёткое подразделение на правых и виноватых, ибо наказываются только последние, что автор постоянно подчёркивает при помощи повторяющегося композиционного приёма - «забегания вперёд», когда сообщается, какая расплата ожидала того или иного грешника.

В романе воздаётся прежде всего тем, кто имеет прямое или косвенное отношение к гибели Колчака: от Ленина, «тоненько-тонень- ко» воющего в Горках в ожидании смерти, до Смирнова, исполнившего предписание вождя на месте. К тому же, жертвами своеобразного возмездия становятся дочь и жена Смирнова. Поэтому, и не только поэтому, концовка главы (построенной не на авторском слове, по принципу монтажа различных документов и свидетельств), когда впервые в ней открыто заявлена позиция писателя («Вот так, господа хорошие, вот так!»), звучит не по-православному. Здесь и далее в романе Максимов нарушает

одну из главных традиций русской литературы, традицию христианского гуманизма. Смерть любого человека, героя не может быть объектом для иронии, сарказма, злобного удовлетворения и т. д. Юмор Максимова сродни юмору американской и еврейской литератур.

По делам воздаётся и героям, непричастным к смерти Колчака, но согрешившим по другим поводам. Например, о моряках Кронштадта, зверски расправившихся с офицерами, комендантом, генерал-губернатором в феврале 1917, без того же православного отношения сказано: «Знать бы в те поры разгулявшейся в безнаказанности <...> матросне, что спустя всего четыре года у того же рва их будут забивать, как скот, те, кто выманивал их на эту кровавую дорожку: как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил бы, да туго оказалось в ту пору с такой соломкой, ой, как туго!»

В.Максимов не раз выражал своё восхищение романом Б.Пастернака «Доктор Живаго». Эта реакция, думаю, объясняется и отчасти сходным подходом к пониманию вопроса «человек и время». В «Заглянуть в бездну», как и в «Докторе Живаго», через разных героев (Колчака, Удальцова, Тимирёву, других) и авторские характеристики утверждается мысль о ничтожности и беспомощности человека перед силой обстоятельств, лавиной времени: «С самого начала он (Колчак. -Ю.П.) обрёл себя на это (смерть. -Ю.П.) сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой её быстрине»; «Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо...».

Итак, с одной стороны, ничто и никто не спасёт от лавины роковых событий, и человеку остаётся одно - достойно умереть; с другой, - утверждается прямо по-советски, только с другим, противоположным, знаком сатанинская гениальность Ленина. И как следствие такого подхода - большую, а может, решающую роль в произведении играет чудо, которое помогает Ульянову и не помогает Колчаку.

Лавина, чудо - эти и им подобные образы затуманивают изображение времени и различных сил, определявших ход событий. В понимании революций и гражданской войны писатель находится чаще всего в плену «левых» стереотипов, что проявляется по-разному. Например, в таких мыслях Колчака: «Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары <...> выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов?» Однако известно, что на стороне «красных» сражалось 43% офицеров царской армии и 46% офицеров Генерального штаба.

Конечно, Колчак не мог всё знать, но он наверняка имел представление об общей тенденции. Незнание же подлинного положения дел, скорее всего, - незнание автора. А если допустить почти невозможное, что это действительно мысль адмирала, то такое незнание «не играет» на образ, который стремится создать писатель.

Велик соблазн поверить Максиму и в том, что Колчак был человеком далёким от политики, буквально случайно оказавшимся с ноября 1918 года Верховным Правителем России. Однако, думается, не случайно писатель довольно туманно, вскользь изображает заграничный период жизни Колчака, ибо период этот разрушает миф об аполитичности адмирала. С июня 1917 года по ноябрь 1918 года Колчак вёл переговоры с министрами США и Англии, встречался с президентом Вильсоном и, по его собственному признанию, являлся почти наёмным военным. По приказу разведки Англии он оказался на китайско-российской границе, позже - в Омске, где и был провозглашён Верховным Правителем России.

Вероятно, что В.Максимова и Колчака роднит не только одиночество (свидетельство самого писателя), но и общая судьба. Они оба, не сомневаюсь, по благородным побуждениям, стали зависимыми от тех сил, которые одного сделали Верховным Правителем, другого - редактором «Континента». Видимо, и поэтому у Владимира Емельяновича не хватило смелости до конца заглянуть в бездну.

Среди версий происходящего, высказываемых различными персонажами романа, выделяется ещё одна, транслируемая чаще всего Колчаком и Бергероном. Последний трижды на протяжении всего повествования говорит о существовании незримой силы, стоящей за спинами отдельных политиков, правительств, силы, дирижирующей многими событиями.

Однако французский офицер, по его признанию, боится бездны, которая откроется при таком видении происходящего, боится назвать эту силу.

Показательно, что и Колчак, поставивший подобный диагноз (и «красные», и «белые» - пушечное мясо, пешки в чужой игре), как и

Бержерон, уходит от ответа с таким объяснением: «Я не хочу чтобы ты знала об этом, Анна, тебе ещё жить и жить, а с этим тебе не продержаться!» То есть герой, похोдив у края бездны, в конце концов испугался заглянуть в неё.

Итак, договорю за героев романа и его автора, скажу то, что Максимов, несомненно, знал. Эта, по точному определению Бержерона, невидимая паутина, эта тайная сила, конечно же, - масонство. Его двойной член (французской и российской лож), небезызвестный Зиновий Пешков, был постоянным представителем сил Антанты при ставке Колчака.

В связи с этим и другими фактами, свидетельствующими о заговоре разных сил, о регулируемости многих событий периода революции и гражданской войны, вызывает несогласие концепция писателя, которая нашла своё воплощение и в мыслях, подобных следующей: «Рухнувшая под грузом собственной слабости монархия», - и в неоднократно высказываемых в романе, явно с авторской подачи, обвинениях в адрес Николая II. Приведу слова только трёх героев: генерала Хорвата, безымянного старика, Колчака: «Слуга я его Императорскому Величеству верный и вечный, но, возьму грех на душу, скажу: его вина!»; «А где ты их видал невинных-то... Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть»; «Когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочёл малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток и растерзание разнузданной бесовщины. И затем: бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель».

Эта настойчиво педалируемая В.Максимовым идея, мягко говоря, неубедительна и в главном, и в частности (осталось только к словам Колчака о нелепой смерти добавить высказывание из «Злых заметок» советского «адмирала» Н.Бухарина о немного перестрелянных царевнах, и получим «бело-красное» гуманистически-лю- доедское братство). Она ктому же не стыкуется с концепцией исторического фатализма, во многом определяющей, как уже говорилось, писательское видение событий.

Однако автор романа, несомненно, прав в том, что бездна скрывается в самом человеке, особенно в обезбоженном человеке, особенно, добавлю от себя, в той ситуации, когда этот человек явными или скрытыми, такими же обезбоженными, силами выдвигается в качестве идеала. И противостоят бездне не столько колчаки и тими- рёвы, сколько Егорычевы и Удальцовы, выразители традиционных православных ценностей в романе «Заглянуть в бездну».

Итак, есть все основания рассматривать данное произведение писателя как его творческую неудачу. Мне понятно, почему в начале 90-х Ст. Куняев отказался печатать роман в «Нашем современнике».

К числу лучших произведений В.Максимова можно отнести «Прощание из ниоткуда». И в этом романе образ бездны, один из самых любимых писателем, несёт многосмысловую нагрузку.

Бездна - это страшный, бессмысленный, беспросветный большой мир, куда «крохотным шариком, смесью воды и глины, железа и крови, памяти и забвения» является главный герой Влад Самсонов.

Бездна - это социальный мир, социальная тьма, которая с детства проникает в Самсонова, корёжит, деформирует его душу и мировоззрение, значительно затрудняя понимание Божьего промысла.

Бездна - это и сам человек, его многочисленные страсти, в первую очередь, «горная страсть дойти в конце концов до основания вещей», «страсть скоропалительной влюблённости», алкогольная страсть и т. д.

Бездна - это и болезненно завораживающий, идейно-безыдей- ный, честно-продажно-лживо- людоедский мир советской литературы. И не случайно, что первым шагом мальчика Влада в

этом мире стали следующие строчки, рождённые под влиянием газетной и социальной бездн: «Враг, нам вредить не смей! Получишь за это смерть!», «Пусть будет известно всему свету... // врагов притянем к ответу. // Предателей метким огнём с лица мы земли сметём. // Обрушит свинцовый дождь // На них наш любимый вождь».

Но бездна - это одновременно и путь к свету, Богу, это, в конце концов, крест, который человек должен нести с благодарностью.

Такое православное понимание В.Максимовым человека и времени принципиально отличает его от В.Гроссмана, А.Рыбакова, ВАксёнова, В.Войновича, ГМаркова и многих других русскоязычных авторов. К подобному видению Владу Самсонову предстояло прийти, преодолев длинный и сложный путь.

Долгое время в душе и мировоззрении Влада идёт борьба с переменным успехом, о чём писатель применительно ко многим персонажам говорит: «Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забытья, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключённый и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за его пределы...».

Герои, вызвавшие исцеление Самсонова, без труда могут быть названы поименно: дед Савелий, отец, Серёга, Агнюша Кузнецова, Абрам Рувимович, Даша и Мухамед, Ротман, Василий и Настя, Борис Есьман, Юрий Домбровский, отец Дмитрий, Иван Никонов и т. д. Эти персонажи, принципиально отличающиеся от героев «исповедальной» прозы (она, популярная в годы становления Максимов- писателя, появляется в романе и как фон, и как образец, предлагаемый Владу. В.Максимов негативно - мягко и резко - характеризует это явление русскоязычной словесности), далеко не идеальны, но определяющими их личности являются доброта и «Божественный дар Совести». И не случайно, что Самсонов, живущий в эпицентре советской литературы, долгое время не видит: клад под ногами, именно эти люди должны стать подлинными героями его книг.

Для понимания человека и времени писатель - кривое зеркало и увеличительное стекло - быть может, наиболее интересный персонаж. Влада на творческом пути поджидало много опасностей, бездн. В романе не раз высказывается мысль: литература сама по себе уже бездна, болезнь, наркотик, а советско-русскоязычная, добавлю от себя, - бездна вдвойне, в ней многие гибнут, а среди выживших и живущих преобладают, по словам В.Максимова, графоманы, по-разному оплачиваемые идеологические и прочие мародёры, чьи «творения» - отработанная порода, труха искусства.

Через авторские характеристики, речь персонажей: Влада, Есь- мана, Домбровского и других - писатель уничижительно-уничто- жающе характеризует советскую литературу (автономное тело, существующее параллельно реальности) и её представителей, обладающих кастово-эгоцентрическим сознанием, крутящихся в водовороте «фантастического маскарада», где каждый обманывает себя и других.

Однако индивидуальные «портреты» писателей, критиков, деятелей науки, искусства, политиков (А.Сахарова, например), «портреты» русскоязычных и русских авторов, политических и религиозных деятелей вызывают немало принципиальных возражений (не имеет значения, «портретируемый» назван своим именем или на него очень явно, по выражению А.Солженицына, «намёкнуто»). Вот лишь некоторые имена: Ю.Казаков, В.Кожин, отец Дмитрий Дудко, АСахаров. При их характеристике В.Максимов отрицательно, как с первыми тремя, либо положительно, как с АСахаровым, предвзят: фактологически неточен, оценочно или концептуально поверхностен или не прав.

Первоначально - в Сибири, Красноярске, Черкесске - Самсонов пытается идти по наезженной литературной колее, принимая существовавшие правила игры. Однако его «я» периодически на разном уровне противится и нарушает эти правила, о чём свидетельствуют откровенные «разговоры» с ответственным партийным работником в Краснодаре и национальным классиком Х.Х. в Черкесске, прозрение в грязной комнате со спящими ребятами, резкая оценка собственного творчества и т. д.

В Москве Влада подвергают искушению новыми безднами: «телефонным приёмом», индивидуальными и коллективными письмами. Телефонная уловка КГБ не удалась. Насколько она при всей своей внешней простоте, наивности была серьёзна, свидетельствуют и авторская

характеристика («притягивающая слабую душу близкой бездной»), и судьба легкоузнаваемых писателей, попавших в сети грозной организации. Уловка же творческой братии во главе с В.Ко- четовым имела успех. Однако это был первый и последний шаг Самсонова к «чёрному провалу бездны».

Показательна и закономерна реакция московских писателей на прозу Влада: «...Какие-то Богом забытые типы, ни то ни сё, сплошной горьковский маскарад, не более того, только ещё на церковный лад». В качестве же противовеса-ориентира назывались КПаустов- ский, АГладилин, Б.Балтер. В этой и других ситуациях выбора, когда успех обеспечивался предательством тех, с кем «жил, ел, пил, спал, работал», предательством народа, Самсонов наиболее отчётливо осознаёт свою инородность в мире процветающих советских авторов: как «шестидесятников», так и «кочетовцев».

В.Максимов (в силу понятных причин) в изображении литературной атмосферы 1950-1960-х годов сделал акцент на преобладающей тенденции, на «мелких политических мародёрах, разъездных литературных торгашах, всех этих медниковых, пилярах, евту- шенках - мелких бесах духовного паразитизма». Но, к сожалению, в романе не представлен (хотя бы на уровне упоминания, штриха, фона) огромный пласт действительно честной, действительно та- лантливой, действительно русской литературы (В.Белов, В.Шукшин, Ю.Казаков, Г.Семёнов, Н.Рубцов, В.Соколов и т. д.). Именно там «иностранец» в мире советско-русскаяязычной «трухи» Самсонов мог стать своим, а В.Максимов стал таковым уже во внероманном времени.

Не случайно в «Прощании из ниоткуда» путь к обретению человеком себя, подлинной духовной сущности лежит в традиционной для русской словесности плоскости: «я» - народ - Бог. Имя Всевышнего впервые возникает в детском разговоре Влада с Лёней. Ответ последнего: «Бог - это любовь <...>. Свобода любить <...> всё и всех», - не понятен Владу, и, можно сказать, вся дальнейшая жизнь героя пронизана стремлением к этому пониманию.

Закономерно, что и тема писательского труда в романе неотрывна от темы Бога. В легенде, рассказанной Самсонову Борисом Есьманом, сталкиваются два вечных подхода к творчеству: один (характерный для начинающего Влада и большинства пишущей братии в романе) - прикладной, меркантильный, другой - метафизический, когда творить - неодолимая потребность, не уничтожи- мая даже угрозой смерти, когда Мастером движет Бог.

Именно вопрос Ивана Никонова, «одного из миллионов», вопрос, заданный более чем через 20 лет после детской беседы о Всевышнем, помогает Самсонову найти недостающее - главное - звено в его человеческих и творческих поисках. Знаменательно, как Влад и герой романа, над которым Самсонов работал, выходят на путь истинный: «...Он вдруг озарённо зашёлся: «Да что же это я до сих пор гадаю, а ведь тут и гадать нечего: что значит «у кого», у Господа, у кого же ещё!»

И концовка вещи вылилась тут же, на одном дыхании: «Василий Васильевич... рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип: «Господи...».

Лишь длительное, сложнейшее, неоконченное сражение Самсонова с самим собой (гордыней и страстями, в первую очередь) приводит к христианскому мировосприятию, к смирению, покаянию, благодарности, прощению, состраданию. С высоты этих ценностей и написано произведение, в котором различные проблемы оцениваются с позиции христианской любви, что особенно наглядно проявилось во «вставных главках», где автор-повествователь, совпа- дающий с автором-создателем романа, открыто выражает своё отношение ко всему и всем.

В.Максимов не раз говорил, что путь, по которому идёт Россия, - гибельный, ведущий к самоубийству путь. Болезненное осознание этого, думаю, предопределило его преждевременную смерть. Владимир Емельянович стал очередной жертвой невидимого демократического ГУЛАГа. Признание же Максимова как писателя первого ряда, думаю, впереди. Сегодня в атмосфере «интеллигентского беспредела», когда в литературе и культуре «кто есть кто» определяют, по меткому выражению Максимова, «эстеты с коммунальной кух- ни» («Литературная газета», 1992, № 8), это произойти не может. Не к ним, конечно, обращены слова писателя, которые и сегодня звучат актуально: «Сколько же можно терпеть это унижение? Почему же у нас не находится мужественных и действительно ответственных людей, которые скажут: «Хватит, господа! Хватит!» Уверю вас, сейчас надо спасать страну. Физически спасать. Она погибает» («Наш современник», 1993, № 11).

Показательно и закономерно, что во всех современных вузовских учебниках по современной литературе отсутствует раздел, посвящённый творчеству писателя. Удивляет другое: очередные попытки некоторых «левых» авторов сделать из В.Максимова «своего». Так, например, Игорь Виноградов заявил, что нынешний «Континент», им возглавляемый, продолжает традиции «Нового мира» Твардовского и «Континента» Максимова («Континент», 2010, № 2).

2007, 2011

Рассказы Александра Солженицына: чёрно-белое кино.

Уже в первых рассказах «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» **А.Солженицын** совершает, казалось бы, немислимое: он наносит удар по советской системе. Так, о лагерях, о которых принято было писать как о порождении Сталина и сталинизма, в «Одном дне...» мимоходом сказано принципиально иное: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит».

Это свидетельство (из него следует: лагерь - неотъемлемая составляющая советской власти) стоит в одном ряду с мыслями, эпизодами, сходной направленности. И все они создают определённый контекст, являют видимый и невидимый фундамент, на котором держится событийно-временное пространство «Одного дня...». Более широко, с вечных, онтологических позиций, оцениваются революционные катастрофы героем-рассказчиком в «Матрёнин двор»: «Понимаю... И одна революция. И другая революция. И в е с ь свет перевернулся (здесь и далее разрядка моя. - ЮЛ.)».

Светопреставление реализуется в данных рассказах на разных уровнях: хлеба («в лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку - целыми сковородами, кашу - чугунками, а ещё раньше, но - без - колхозов, мясо - ломтями здоровыми»), песни («и - песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь»), жилища (с одной, дореволюционной, стороны: «строено было давно и добротнo, на большую семью», с другой, советской - «однообразные худощукатуренные бараки тридцатых годов»), труда («когда, бывалоча, на себя работали, так никакого звука не было»), быта-бытия («прямую дорогу людям загородили») и т. д.

Итоги революционного светопреставления - это частичное или полное исчезновение тех основ жизни человека, которые традиционно были определяющими. Вот в чём, думается, смысл первого и главного удара, наносимого писателем по советской системе.

Второй удар, не столь очевидный, Солженицын наносит в «Одном дне...» по «левой» обезбоженной интеллигенции. Её представителями являются Цезарь Маркович и капитан Буйновский. Они, люди во многом разные, живут в мире, малопересекающемся с миром народным, миром шуховых и тюриных. Суть даже не в том, что Цезарь Маркович в лагере не тонет, и здесь ему вольготнее и сытнее, чем другим, а в том, что он, как и Буйновский, смотрит на неинтеллигентов свысока, как на недочеловеков.

Эти персонажи существуют в мире миражей: Цезарь Маркович - в мире искусства-миража, Буйновский - в мире советской веры-ми-ража. Отношение к окружающей действительности и человеку, язык данных героев позволяет оценивать их как представителей «левой», духовно нерусской интеллигенции. И всё же в характеристике данного социально-психологического типа Солженицын не столь резок и однозначен, как в последующих публикациях. Автор ещё пытается найти и находит в этом человеческом типе проблески духовных начал.

Сия христианская традиция русской литературы проявляется также в изображении атмосферы жизни заключённых. При этом писатель нередко сбивается на обобщенно-исчерпывающие, вольно или невольно обезличивающие человека характеристики. В одних случаях они

кажутся художественно оправданными («Вся 104-я бригада видела <...> Никто слова не сказал... У в с е х у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза...»), в других - нет («Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни»).

Лагерная атмосфера создаётся разными обстоятельствами и людьми, и, казалось бы, во многом её определяет голод, отношение к еде. Одни герои, как Фетюков, теряют человеческий облик, другие, как Шухов, близко подходят к этой черте, третьи, как безымянный старик, прямо, стойко и высоко несут свой крест. И всё же не голод, а труд и разные формы сопротивления (от молитв Алексея до угроз Тюрина) являются основополагающими началами в жизни многих заключённых. В высшей степени произвольно, будто не прочитав рассказ, допустив не одну фактическую ошибку, трактует эту ситуацию Ю.Шрейдер: «Но удача описанного одного дня его лагерной жизни просматривается в первую очередь в том, что в этот день его рабочие навыки неожиданно оказались востребованными. И вчитайтесь в текст Солженицына: Иван Денисович единственный в бригаде, кто умеет работать по-настоящему» (Шрейдер Ю. Синдром освобождения // Новый мир, 1991, № 4).

Однако уже в ранних рассказах в изображении человека и времени Солженицын выступает и как художник, который ту или иную тенденцию, несомненно, реально существующую, возводит в абсолют, в результате чего возникают схемы, подменяющие собою жизнь. Например, об одной из проблем, с подачи жены Шухова, говорится: «С войны самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят по-вально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись - колхоза не признают: живут дома, а работают на стороне... И ездят они по всей стране, и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими».

Во-первых, авторство подачи нас не смущает. Оно условно: таким образом проецируется писательское видение ситуации, ибо нигде далее женская версия событий даже не ставится под сомнение, более того, воспринимается как данность, из которой вырастают размышления Ивана Денисовича. Во-вторых, тенденция невозвращения в колхоз, бегство из него, конечно, существовала, о чём мастерски поведали ФАбрамов, В.Шукшин, В.Белов и другие пред-ставители «деревенской прозы». На фоне горькой, страшной правды их произведений, на фоне широко известных фактов солжени-цынский вариант поголовного бегства и массового предпринимательства воспринимается как миф.

Статья О.Павлова «Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины» («Дружба народов», 1998, № 12) - в какой-то степени отголосок почти забытых споров о герое «деревенской прозы» 60-70-х годов. Эта статья, казалось бы, - неожиданная (если учитывать её «христианский сарафан») реанимация известных взглядов, она - талантливая редукция и расшифровка некоторых идей ЖНивы.

«Левые» авторы 1960-1970-х годов и последующего времени не видели в Иване Дрынове («Привычное дело» В.Белова) личность. Столь же плоско, «по-европейски» трактует образ Шухова О.Павлов: Иван Денисович - мужик, добровольный, душевный раб, нечеловек В суждениях писателя просматривается тенденция, характерная не только для него одного: «подстрижка» героя под определённые типы, архетипы... И то, что Шухов попадает в одну компанию с Платоном Каратаевым, конечно, не ново (отметим лишь новое, произвольнейшее толкование толстовского героя и явления в целом). Но Иван Денисович, стоящий в одном ряду со Смердяковым и мужиком Мареем, - это очередная ревизия «святых».

Именно крестьянин Марей, с воспоминания о котором начался переворот в сознании Достоевского, «услужил» мальчику Феде не как раб барчонку, что утверждает Олег Павлов, а как просто человек человеку, как старший - ребёнку, как христианин по естеству и сути своей.

Христианство же Ивана Денисовича вызывает сомнение у многих авторов, поэтому и вопрос его веры трактуется по-разному: «Солженицын в Шухове увидел без прикрас честную земную мужицкую веру, проговорив, что страдает Иван Денисович не за Бога и главный его вопрос: за что?.. И этот вопрос, который чуть ли не отменяет в России Бога» (Павлов О. «Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины» // «Дружба народов», 1998, № 12); «Он... похож скорее на раскольника-беспоповца, чем на православного

или баптиста (Архангельский А. О символе бедном замолвите слово. «Малая» проза Солженицына: «поэзия и правда» - «Литературное обозрение», 1990, № 9); «Бог ему не нужен» (Лакшин В. Иван Денисович, его друзья и недруги // Лакшин В. Пути журнальные. - М., 1990).

Эти и другие критики не заметили главного: в мотивировке «бес- поповства» Шухова, в рассуждениях героя о Церкви Солженицын явно «пересолил», - в родной деревне Ивана Денисовича богаче и безнравственнее попа человека не было. Степень безнравственности священника, то есть уровень концентрации явления представляется надуманным, социально-мифологическим: «Он <...> трём бабам в три города алименты платит, а с четвёртой семьёй живёт». Вообще именно и только Православие и православные подвергаются перекрёстной критике в рассказе. То, что баптист Алёшка так отвечает Шухову: «Зачем ты мне о попе? Православная церковь от Евангелия отошла. Их не сажают или пять лет дают, потому что вера у них не твёрдая», - это естественно, художественно мотивировано. А то, что суждения эти, не выдерживающие критики, не раз пересекаются, совпадают с мыслями Шухова и им нет альтернативы в произведении, свидетельствует об авторском взгляде на проблему.

Такая ситуация «игры в одни ворота», одной «правды», принципиально расходящейся с правдой исторической, проявляется на разных уровнях: проблемы, персонажей, сюжета, времени... Происходит это, конечно, по воле автора, не желающего создавать полифоническое пространство произведения, к чему, казалось бы, объективная реальность подталкивает. И всё же в «Одном дне...» в изображении человека Солженицын преимущественно верен заветам русской классики XIX века с её христианским гуманизмом. Это наиболее наглядно проявляется на примере образа Шухова.

Духовную сущность героя выражают не столько его размышления о вере, Церкви (они свидетельствуют, скорее, о позиции писателя), сколько чувства и поступки Ивана Денисовича. Для того, чтобы не ошибиться в диагнозе, нужно определить главный вектор этих чувств и поступков, тем более что их отличает широкий качественный диапазон.

Если мы вслед за О.Павловым возьмём линию «услужения» Шухова, то не найдём никаких оснований принять версию писателя о рабстве героя. У Ивана Денисовича при всей его склонности к компромиссам есть ощущение черты, которую переступать нельзя, ибо окончательно потеряешь своё лицо. Шухов, несмотря на нравственные падения, остаётся человеком, в котором, пусть неосознанно, живут христианские представления об истинных ценностях. Поэтому определяющим вектором в отношении к труду является творчество, во взаимоотношениях с окружающими - доброта.

Называю лишь те черты, которые до сих пор служат почвой для различных интерпретаций, черты, присущие «большому» народу. «Большой» - признак не количества, а качества, которое определяют традиционные православные ценности.

«Малый» народ (люди, утратившее своё духовно-национальное лицо, утверждающие в жизни идеи и идеалы, противоположные ценностям «большого» народа), думается, существовал всегда. То, что его среди русских в XX веке стало как никогда много, - факт несомненный. Но самым количественно распространённым является «амбивалентный» народ (люди, соединяющие в себе черты «малого» и «большого» народов). К нему и принадлежит Шухов.

Амбивалентность героя порождена особенностями его личности, временем и... автором произведения. Об этом искусственно- протезном создании писателя стоит сказать особо. Несмотря на то, что мировоззрение Ивана Денисовича - гремучая смесь, его составляющие должны быть художественно оправданными, мотивированными. В национальном же мироощущении героя эта мотивированность периодически отсутствует. Так, Шухов наверняка не видел в своей долагерной жизни ни грека, ни еврея, в лучшем случае, он мог видеть цыгана. Поэтому следующее размышление героя: «В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган - не поймёшь» - выглядит авторским произволом, который, конечно, легко объясним.

Писатель затуманивает явную национальность Цезаря Марковича, ибо таким образом пытается уйти от заранее легко вычисляемых обвинений. И всё же они последовали. Правда, по иному поводу. Читатель Сибгатулин в открытом письме Солженицыну, отмечая его якобы неприязнь к татарам в рассказе «Захар-Калита», заявляет: «Это меня не удивило, ведь и в

«Одном дне Ивана Денисовича» одним из зловещих отрицательных персонажей выведен татарин» (Решетовская Н. Александр Солженицын и читающая Россия - «Дон», 1990, № 3). И никакие заверения писателя, подобные следующему: «Я чужд всякой национальной ограниченности. В повести... я очень тепло пишу о казахах, об узбеках, о татарах», - не спасли его впоследствии от обвинений в великодержавности, шовинизме, расизме, антисемитизме, русофобии и т. д.

В «Одном дне...» Солженицына с Цезарем Марковичем «пронесло» - за это, как говорилось, пришлось заплатить «малой» художественной неправдой. Однако в произведении писатель осторожен не только по отношению к евреям, «Один день...» отличает боязнь (на уровне общих характеристик) оскорбить многие народы. Сказанное относится и к «смирным» литовцам, и к эстонцам, среди которых Иван Денисович плохих людей не встречал, и к религиозным бендеровцам... Данное правило нарушается тогда, когда речь идёт о русских. Поэтому нельзя не заметить следующее: народы-гои и мир русской литературы несовместимы, доброе отношение к иным народам не должно переходить в заискивание перед ними, в идеализацию их.

Конечно, могут возразить: приведённые и не приведённые характеристики - мысли Шухова. И это действительно так, но в оценках Ивана Денисовича видится большее, чем частные суждения одного из героев. Перед нами тенденция, через которую проявляется позиция автора, не изменившаяся и в наши дни, и в дальнейшем.

Так, в публицистике Солженицына, где взгляды писателя предельно обнажены, без труда узнаётся знакомый ещё по «Одному дню...» подход. В одной из итоговых статей с говорящим названием «Русский вопрос к концу XX века» (Солженицын А. Русский вопрос к концу XX века - «Новый мир», 1994, № 7) Солженицын по-прежнему размашисто, преимущественно негативно характеризует русских, Православие, царей, отечественную историю и столь же осторожен в еврейском вопросе. Даже там, как, например, в рецензии на роман Ф.Светова «Отверзи ми двери» (Солженицын А. Феликс Светов. - «Отверзи ми двери». Из литературной коллекции // Новый мир, 1999, № 1), где рассматриваемый материал и жанр обязывают открыто высказаться по данному вопросу, Солженицын от этого уклоняется.

Национальную же самокритичность писателя, переходящую в самооплёвывание, можно объяснить в том числе и особенностями русской ментальности, о которых писал В. Кожин ещё в 1981 году в своей нашумевшей статье «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» (Кожин В. «И назовёт меня всяк сущий в ней язык...» - «Наш современник», 1981, № 11). Но самооплёвывание, если это и наша национальная черта, художник обязан преодолевать, что и делает в «Одном дне...» Солженицын на уровне разных персонажей: Тюрин, Шухов, старика.

Однако в «Матрённом дворе» такая корректировка ситуации даже через образ праведницы положения не спасает. Здесь вполне видна авторская концепция народной жизни: редкие одинокие праведники, с одной стороны, все остальные - духовно убогие, с другой. В этом рассказе изображён если не идиотизм деревенской жизни (о котором писали КМаркс, ВЛенин, М.Горький, иные незнакомые, ненавистники деревни), то нечто похожее на него. С учётом отношения Солженицына к названным авторам следующая оценка РТемпеста (верная в передаче позиции писателя и неверная в определении сути крестьянства) воспринимается как злая шутка: «В рассказе «Матрёнин двор» беспощадно трезвый взгляд на убожество русской деревенской жизни» (Темпест Р. Герой как свидетель. Мифопоэтика Александра Солженицына - «Звезда», 1993, № 10).

Отмеченные особенности в характеристике человека и времени прослеживаются и в некоторых других рассказах 60-х годов. Так, в одной из «крохоток», «На родине Есенина», в картинах природы, быта преобладает однотонность («хилые палисадники», «хилый курятник» и т. д.), что приводит к мысли о заданности, односторонности подхода автора, проявляющегося и в характеристике жителей Константинова, которая, в свою очередь, проецируется на «многие и многие» деревни вообще, «где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями». В этом изображении человека и времени на одно лицо дают о себе знать рецидивы материалистического сознания.

Конечно, можно допустить, что за таким изображением стоит желание Солженицына выделить особость, божественность дара Есенина. Но, во-первых, какой ценой? Ценой унижения

народа. Во-вторых, общеизвестно: в такой темноте, на такой почве, где «красоту <...> тысячу лет топчут и не замечают», гении не рождаются.

Стремясь подчеркнуть разрушительную, смертоносную сущность системы, писатель уже в некоторых рассказах 60-х годов сгущает краски, сбивается на чёрно-белое изображение человека и времени. Так, в «Пасхальном крестном ходе» в обрисовке неверующих присутствует один цвет, и, как результат, вместо живых лиц - однообразная масса: «А парни <...> в с е с победным выражением... На православных смотрит вся эта молодость не как младшие на старших, не как гости на хозяев, а как хозяева на мух». Однако Солженицын не останавливается на этом и прибегает к помощи образа, который вновь высвечивает тенденциозность, заданность автора, - о верующих вне храма сказано: «Они напуганы и унижены хуже, чем при татарах».

Недоумение, высказанное повествователем в начале рассказа, имеет символический смысл. Автор размышляет, как отобрать и вместить нужные лица в один кадр. Нужными в конце концов оказались «лица неразвитые, вздорные», «девки в брюках со свечками и парни с папирусами в зубах».

Этот принцип отбора и художественной типизации стал преобладающим в рассказах 90-х годов: «Молодняк», «Настенька», «На изломах», «На краях», «Абрикосовое варенье», «Эго». Более того, через названные произведения проходит мысль, неожиданная для православного человека и писателя, коим считает себя Солженицын и коим действительно является в своих лучших творениях.

Художник, неоднократно и по разным поводам едко иронизировавший над известной формулой «среда заела», в рассказах 90-х годов, по сути, утверждает её. Утверждает идею бессилия человека перед обстоятельствами, временем. Социальное время, советское и постсоветское, без особых усилий расправляется с героями «Молодняка», «Настеньки», «Эго», «На краях» (в этом произведении имеется в виду Толковянов), расправляется с людьми верующими и неверующими, стариками и молодыми, интеллигентами и крестьянами.

Герои «Молодняка» - доцент Воздвиженский и его бывший студент, ныне работник ГПУ Коноплев - находят общий язык, единственный выход из ситуации: «или пуля в затылок, или срок». Они поступают по правилам социального времени с определёнными, малыми, невидимыми для окружающих отклонениями. Молодой человек, помня о доброте преподавателя, пытается ему помочь, а Воздвиженский после колебаний и отказов принимает эту помощь: через оговор невинных он получает свободу. Показательно, что акцент делается на вынужденности, неизбежности данного поступка, ибо, во-первых, Воздвиженский невиновен, во-вторых, «не был готов выносить истязания», в-третьих, он не может пожертвовать семьёй.

Семья является главной причиной и предательства Эктова («Эго»), Во время тамбовского восстания он, поставленный ЧК в подобную ситуацию выбора, приносит в жертву семье пятьсот человеческих жизней, жизней восставших крестьян.

В произведениях 90-х годов вызывает удивление, как легко, немотивированно легко, ломаются, переступают через свои убеждения, нравственные нормы герои Солженицына. И хотя писатель делает вроде бы всё по правилам, по-разному утяжеляет, усложняет ситуацию, ощущение легкости не исчезает и в «Молодняке» (несмотря на то что Воздвиженский после оговора «упал головой на руки, на стол - и заплакал»), и в «Настеньке» (об отношении героини к смерти деда говорится следующее: «А: уж как-то - не больно?! Неужели? Прошлое. Все, всё - провалилось куда-то»), и в других рассказах.

Солженицын показывает грехопадение человека советского и постсоветского времени на разном материале: от стремительного скольжения по наклонной плоскости греха до постепенной измены идеалам русской литературы в деле преподавания её («Настенька»), Во всех произведениях, за исключением рассказа «На изломах» с его плакатно-соцреалистичным образом Емцова, утверждается идея неизбежности падения человека, что объясняется слабостью его природы как таковой.

В этом отношении показательна судьба Анастасии из второй части рассказа «Настенька». Она, отринув путь нечистой страсти, который выбрала её тезка из провинции, стала на стезю

проституции духовной. Думается, деградация героини, воспитанной в православной семье, на высоких образцах русской литературы, сюжетно, образно немотивирована. То есть наличие подобных типов в жизни и литературе - факт очевидный. Речь идёт о другом: духовное оскудение Анастасии не воссоздано изнутри, а заявлено на уровне тезиса, конструкции, швы которой явно и неявно выпирают.

В «Настеньке», как и в других рассказах этого периода, за исключением «Крохоток», Солженицын обрывает сюжетные и идейно- нравственные нити, которые могли бы сделать образ человека и образ времени художественно более полнокровными, убедительно воссозданными. Их недостаточная прописанность порождает немало вопросов, свидетельствующих, на мой взгляд, об уязвимости автора. Например, Воздвиженский («Молодняк») явно не из тех людей, кто по своей воле подстраивается под время, о чём свидетельствуют реакция героя на процесс над Промпартией и нежелание нарочито опролетариваться. Однако его искренняя вера в молодёжь, которая не ставится под сомнение, перечёркивается советом, данным дочери: «А всё-таки, всё-таки, Лёленька, не избежать тебе поступать в комсомол. Один год остался, нельзя тебе рисковать». Или в Воздвиженском на уровне чувства, идеи, психологии неубедительно совмещаются клятва именем трёх поколений интеллигенции с довольно трезвой оценкой происходящего как провала в небытие.

Думается, данный случай, как и ему подобные, не объясним амбивалентностью характера, мировоззрения героя - явлением столь распространённым в жизни и в литературе. В «Молодняке» амбивалентность неживая, сделанная, ибо взаимоисключающие противоречия личности Воздвиженского художественно несостоятельны, не порождены логикой саморазвития образа.

Произведения 90-х годов отличает однолинейность, односторонность в изображении человека и времени, подчинение этого изображения определённым идеям, что напоминает решение задачи с заранее известным ответом. Проиллюстрируем утверждаемое на примере рассказа «На краях».

В первой части произведения, где повествование ведётся от автора, сообщается о молодости Георгия Жукова, о человеческом и полководческом становлении его. Во второй части семидесятилетний маршал, работающий над мемуарами, вспоминает основные моменты своей жизни, подводит её итоги. Уже это даёт основание говорить о «краях» и жизни (молодость - старость), и манеры повествования (автор-рассказчик - герой-рассказчик). К тому же, отталкиваясь от второй части произведения, можно указать на «края» сюжетные: в центре развития действия - взлёты и падения в жизни Жукова. Таким образом, через сюжетно-композиционные и хронологические «края» раскрывается образ героя и образ времени.

В произведении не раз, в том числе и при помощи размышлений Жукова, утверждается идея: мемуары в силу разных, прежде всего политических, причин не могут быть правдивыми. Отсюда, думается, и очевидная цель автора: показать жизнь выдающегося человека не с мемуарной, традиционной, а с неизвестной, новой стороны.

Главная, отличительная черта полководческого дара героя сформировалась не в Первую мировую, а в гражданскую войну, точнее, во время подавления антоновского восстания. «Озверился» Ер- ка Жуков, «стал ожестелым бойцом» после того, «как зарубили бандиты, на куски» его друга Павла. Правда, данный факт приходится принимать на веру, как факт, контекстом всей прежней военной жизни героя не подтверждённый, ибо нигде ранее не говорилось о каком-то сострадательном, добром отношении Жукова к повстанцам и мирным жителям, хотя поводов для него было предостаточно (трудно сказать, что стоит за этой неподтверждённой: нежелание или неумение писателя).

На фоне изображения красногвардейцев, среди которых «опасно замечалась неохотливость идти с оружием против крестьян», на фоне показа их дезертирства, нежелания расстреливать молчание Солженицына о внутренних переживаниях Жукова, о реакции его на эти преступления воспринимается в свете единственного размышления героя: «...Обозлился на бандитов сильно. Они же тоже были из мужиков? - но какие-то другие, не как наши калужские: уж что они так схватились против своей же советской власти?» То есть можно говорить об идейном и душевном созвучии Жукова с проводимой «оккупационной» политикой, с приказами «атаковать и уничтожить», «окружить и ликвидировать», «не считаясь ни с чем».

Остаётся загадкой (и в этом видится авторский просчёт), каковы истоки изначальной жестокости Жукова.

Очевидно другое: после встречи с Тухачевским внутренняя солидарность молодого офицера с Шубиным и его подручными, жестокосердие становятся глубоким убеждением, главным жизненным принципом. Тухачевский для Жукова является образцом полководца, «военного до последней косточки», эталоном «дерзкой властности», оправданной беспощадности.

Реакцией героя на приказ об очистке ядовитыми газами заканчивается первая часть рассказа: «Слишком крепко? А без того - больших полководцев не бывает». Так начинающий офицер впитывает в себя философию гражданской войны, которая становится его сутью. Сутью, проявленной не только по отношению к «чужим» - восставшим русским крестьянам, но и, как показали дальнейшие события, к «своим» - красноармейцам.

Именно жестокостью объясняет писатель успехи Жукова-полководца и на Халхин-Голе, и под Ельней, и под Ленинградом в сентябре 1941-го... Такая простота свидетельствует о предвзятом отношении автора к герою. Если всё дело было в том, чтобы «проявить неуклонность командования», кинуть в лоб японцам танковую дивизию, две трети которой сгорит, то почему у многих других, действовавших подобным образом - любой ценой - не получалось так победно, как у Жукова?..

Заданность проявляется и в том, что Солженицын при помощи якобы самооценок, самохарактеристик полководца пытается принизить значение побед, одержанных им. Так, начальником Генерального штаба Жуков становится «всего лишь - за Халхин-Гол», а «ельнинский выступ разумней было бы отсечь и окружить». На протяжении всего рассказа писатель с навязчивой настойчивостью проводит мысль о военной безграмотности, необразованности Георгия Константиновича, его уязвимости по сравнению с Рокоссовским, Василевским, Шапошниковым, генералом Власовым. Последний, упоминаемый вскользь неоднократно, характеризуется только с положительной стороны, что для Солженицына естественно и что вызывает у меня только резкое неприятие...

Более того, писатель говорит об упущенном - более правильном, власовском - варианте жизненного пути маршала. Солженицын навязывает Жукову размышления, проникнутые явным сожалением о том, что в 1950-е годы не совершил военный переворот, к чему подталкивали его некоторые патриоты, не выступил против советской, нерусской власти.

Писателю на уровне интуиции, видимо, осознающему ущербность такой простоты своего видения Жукова, пришлось прибегнуть к ещё одному объяснению успеха полководца - случай, чудо, везение. Многочисленные, ничем не объяснимые «вдруг» (повышения по службе, победы) в жизни маршала сыплются как подарки с неба, что вновь ставит под сомнение заслуженность успеха и талант полководца. И здесь художник, движимый явной нелюбовью к Жукову, опускается до сверхнеуклюжих оценок обстановки под Москвой в ноябре-декабре 1941-го года: «Немцы сами истощились, временно остановились», «немцы не достигали и сами взять Москву».

На протяжении повествования Солженицын делает акцент на реальных, а чаще выдуманных им самим недостатках маршала, при этом обходя либо только упоминая скороговоркой о редкостном полководческом даре, обеспечившем действительные успехи военачальника. Раскрытие этого дара помогло бы создать образ Жукова, равноценный реальному человеку и полководцу.

Не имеет значения, кто находится в центре рассказов 1990-х годов: вымышленный герой Настя («Настенька») или Георгий Жуков («На краях») - человек с его сложным противоречивым миром в них отсутствует. Его место занимают образы, чьи поступки, чувства во многом исторически, психологически, художественно неубедительны. Писательскому видению не хватает главного, что было присуще русской классике, - вертикально-духовного взгляда, веры в человека.

Итак, в рассказах 1960-х годов появилась тенденция, которая заявила о себе в полный голос в 1990-е годы - тенденция, убившая или почти убившая Солженицына-писателя. То есть художник, борясь с системой, стал в конце концов её жертвой, её своеобразным отражением.

Леонид Бородин: «наказанный» любовью к Родине.

16 февраля 1969 года Юлий Даниэль, находившийся в лагере, в письме на волю сообщает о вновь прибывших - Вячеславе Платонове и **Леониде Бородине** - и высказывает неожиданное предположение о них: «А вообще - кажется, «кваском припахивают» (здесь и далее письма и комментарии цитирую по книге: Даниэль Ю. «Я всё сбиваюсь на литературу...»: Письма из заключения. Стихи. - М., 2000). Почти через 30 лет Александр Даниэль так пояснил слова своего отца: «Т.е. склонные к «квасному патриотизму», Л.Бородин и В.Платонов попали в лагерь за участие в подпольной организации ВСХСОН <...>. Идейной базой этой организации было православие; однако в программе ВСХСОН присутствовали также элементы идеологии, которая впоследствии получит название «национал-патри-отической».

Последняя часть высказывания при всей своей туманности содержит явный отрицательный - «с душком» - заряд: в восприятии «левых» национал-патриотизм в разной степени ассоциируется с национал-социализмом, фашизмом. К Л.Бородину и ВСХСОНу это не имеет никакого отношения. Не случайно доказательство своей правоты А.Даниэль не приводит. Их нет и быть не может. Симптоматично, что и либерал Н.Митрохин вынужден был признать следующее: «Программа ВСХСОН действительно отличается от документов других подпольных организаций русских националистов отсутствием лозунгов, призывающих к уничтожению инородцев или ограничению их прав» (Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы. - М, 2003).

Но всё же далее Н.Митрохин пытается доказать, что реальные взгляды ВСХСОНовцев отличались от программы организации, а некоторым членам её был присущ антисемитизм. При этом автор книги использует более чем странную методику: взгляды ВСХСОНовцев 60 годов иллюстрируются их высказываниями и поступками более позднего времени. Применительно к Бородину это выглядит так: «Активист ВСХСОН Л.Бородин продолжил традицию самиздата русских националистов, издавая журнал «Московский сборник», а в 1990-е годы как главный редактор националистического журнала «Москва», с 1968 года находившегося под контролем «русской партии».

Во-первых, Н.Митрохин, как и А.Даниэль, не к месту, но сознательно употребляет слово «националист» и слова, производные от него. Бородин и ВСХСОНовцы вообще точнее было бы называть «патриотами» или «русистами». С последним вариантом соглашается и сам Леонид Иванович в беседе с Владимиром Бондаренко с символическим названием «Считаю себя русистом...» (Бондаренко В. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. - М., 2003).

Во-вторых, «Московский сборник» продолжил не традицию русских националистов 60-х годов XX века, а линию журнала КПобе-доносцева с аналогичным названием. Эту преемственность Л.Бородин неоднократно подчёркивал.

В-третьих, современный православный журнал «Москва» Л.Бородина называть националистическим, не видеть разницу между ним и «Москвой» 60-70-х годов М.Алексеева, подводить под эти издания «русскую партию» как общий знаменатель - это значит расписываться в непрофессионализме или откровенном шулерстве...

Когда «левые» употребляют слова «квасной патриот», «националист», то можно с уверенностью сказать, что рано или поздно всплывёт, как своеобразный их синоним или обязательная рифма, слово «антисемит». В сюжете с Бородиным это происходит так.

В письме от 12 июня 1969 года Юлий Даниэль, говоря о Ронки- не, замечает: «Надо сказать, что он вообще был взвинчен до дальше некуда; ему довелось быть в одном помещении с Лёней Бородиным, и бурные откровения последнего довели Бена почти до утраты членораздельной речи». Здесь прерву цитату и поясню.

Александр Гинзбург, которому не разрешили свидание, объявил голодовку. Её поддержали в том числе Ронкин и Бородин. Их беседа привела к результату, зафиксированному Юлием Даниэлем. Как предполагает его сын, во время данной беседы Леонид Иванович подробно познакомил Валерия Ефимовича («Бена») с программой ВСХСОН. «Собеседника Бородина, - считает Александр Даниэль, - могло, например, шокировать предложение сделать православие фундаментом, государственной идеологией или ввести в высший православный орган значительное число представителей православного духовенства, обладающих правом вето».

В интерпретации самого Бородина сущность программы их организации сводилась к следующему: христианизация экономики, христианизация политики, христианизация культуры («Москва», 1994, № 2). Позже появилось уточнение писателя, с которым трудно не согласиться: «...До понимания важности трёх вышеназванных принципов сегодня «не доросла» ни одна из ныне функционирующих партий» (Бородин Л. Без выбора. - М., 2003). Ситуация не изменилась и по сей день...

О неизменности и последовательности позиции Бородина свидетельствуют его высказывания двух последних десятилетий, высказывания, вырастающие из программы ВСХСОН, так вольно трактуемой «левыми» и в 60-70-е годы XX века, и в нынешнем столетии. Например, ведя речь о необходимости сильной русской государственности, Бородин называет Православие «единственным несомненным ориентиром в отстраивании Нового Государственного Дома». И далее, думаю, не случайно проговаривается, уточняется следующее: «В том и счастливая специфика православного мира - он не агрессивен по отношению к иным способам Богопонимания и в то же время исключительно устойчив относительно конформистских тенденций, столь характерных для иных ветвей христианства» («Москва», 2001, № 1).

Собственно теократическая часть программы ВСХСОН и сегодня звучит, думаю, актуально, воспринимается сверхпродуктивно как система идей, которые необходимо реализовать в государственно-политическом устройстве страны: «Верховный Собор - духовный авторитет народа, не имея административных функций и законодательной инициативы, должен располагать правом вето, которое он может наложить на любой закон или действие, которые не соответствуют основным принципам социального строя, чтобы предупредить злоупотребление политической властью».

Понятно, что реакция «левых» - «устроителей» и разрушителей России разных мастей - на подобные идеи принципиально не меняется. Игоря Огурцова, написавшего программу ВСХСОН и отсидевшего за свои взгляды 20 лет, Н.Митрохин в выше упоминаемой книге называет фигурой «никчемной в политическом и интеллектуальном отношении». Мысли Бородина о программе организации, высказанные во время голодовки, воспринимались, по свидетельству А.Даниэля, «довольно экзотично» марксистом Ронкиным и «равнодушным к идеологии» Ю.Даниэлем как «интеллектуальный выверт».

И в этом контексте в комментариях А.Даниэля возникает еврейская тема. Совершенно неожиданно предлагается следующее: «Ср. гораздо более спокойное отношение Ю.Д. (Юлия Даниэля. -Ю.П.) в «Свободной охоте» к «идейному антииудаизму» Бородина <...>; неприязнь к еврейству для него - явление достаточно традиционное и, если она не переносится на личные отношения, вполне терпимое». Приведу некоторые соображения-возражения.

Во-первых, косвенно происходит отождествление иудаизма с еврейством, что всегда уязвимо: между ними возможны разные отношения, но только не совпадение. Между иудаизмом и еврейским народом всегда существует «зазор». Об этом справедливо писали многие авторы - от Льва Карсавина до Вадима Кожинова.

Во-вторых, взгляды Бородин как идейного антииудеиста, думаю, определяются неточно. Главным критерием при оценке любого человека и явления для Леонида Ивановича и всех ВСХСОНовцев было отношение к христианству. Это проявилось и в самой программе, и в практической деятельности организации. Бородин в книге «Без выбора» обращает внимание на то, чего не замечали или по-разному извращали Ронкин, Даниэль и их единомышленники: «Существеннейшим моментом нашего идеологического состояния было понимание социалистической идеи в целом как идеи не просто антихристианской, но именно антихристовой. Построение Царства Божьего на земле, царства всеобщей справедливости, где всяк равен всякому во всех аспектах бытия, - именно это обещано антихристом. Цена этому осуществлению - Конец Света, то есть всеобщая гибель». Показателен и другой пример: в ВСХСОН были не приняты еврей и двое русских из-за их отрицательного отношения к христианству.

И наконец, позиция ЮДаниэля, которую с пониманием комментирует его сын, - это позиция эгоцентрической личности, отпавшей или отпадающей от национального организма (неприязнь к народу терпима, если она не распространяется на отдельного представителя его). На таком фоне более достойной, национально полноценной, несмотря на «перебор», видится позиция Дины Рубиной. Например, она резко отреагировала на слова Марии Арбатовой об Израиле как «неудавшемся проекте»: «Израиль, может быть, и «проект», но только Проект Господа Бога, который, думаю, вряд ли станет советоваться с Арбатовой по поводу своих планов на будущее этого мира. Хотя, конечно, забавно: человек впервые приехал в Израиль на пять дней из страны, занимающей после Ирака второе место в мире по убийству своих журналистов, из страны с крайне низкой продолжительностью жизни, полутора миллионами бездомных детей, переполненными детскими домами и приёмниками, детской вокзальной проституцией и прочими, прочими «достижениями цивилизации», - приехал в страну, занимающую первое место в мире по количеству компьютеров на душу детского населения, и - да не стану я сейчас перечислять все «первые места», которых успел добиться Израиль за короткий отрезок своей государственности, страницы не хватит» («Русская Германия», 25 марта 2007 года).

Конечно, к этому высказыванию требуется подробнейший комментарий о причинах процветания Израиля и катастрофического положения России, что в рамках данной статьи сделать невозможно. Сейчас же только уточню: в лидеры по названному и неназванному «достижениям цивилизации» Россия вышла в определённое время, когда её интеллектуально, культурно, финансово, государственно-политически стали «окормлять» преимущественно соплеменники Дины Рубиной и Марии Арбатовой...

О Даниэле в своих мемуарах Бородин говорит очень мало, гораздо меньше, чем о подельнике Юлия Марковича Андрее Синявском, но принципиально иначе. Ключевой является следующая характеристика: «В лагере Даниэль был солдатом, а по моим личным категориям - это высшая оценка поведения человека в неволе». Естественно, нет никаких оснований не верить Бородину, но одно качество Даниэля, и не только его, Леонид Иванович, думаю, не разглядел.

По отношению к русскому народу и России Бородин делит еврей-еврей-диссидентов на две группы: 60-х и 70-х годов. Вторую группу отличала русофобия, примеры которой писатель приводит. Но, видимо, можно говорить и о латентной русофобии первой группы.

Вот как Бородин определяет в мемуарах взгляды организации Хахаева - Ронкина и ей идеологически подобных: «Молодые, «марксистски подкованные» еврейские юноши, как правило, возглавлявшие группы марксистского толка, безусловно, сочувствовали сионистскому движению, но всё же тогда, в начале шестидесятых, сионизм рассматривали как частное явление, в известном смысле даже отвлекающее умы от головной линии - идеи прогресса - марксистского преобразования всемирной социальности. Советский вариант социализма виделся им подпорченным, а то и грубо искажённым спецификой русской истории и русским менталитетом». В последнем предложении Бородиным сформулирована одна из любимых идей русофобов всех времён, которая, имея разную идеологическую окраску, остаётся неизменной по своей сути.

Из многочисленных примеров русофобии, приводимых в книге Л.Бородин, скажу о двух, наиболее созвучных теме статьи. В эмиграции А.Синявский вместе со своим журналом впрягся в антирусскую кампанию. В статье о Бородине он, в частности, утверждал, что Леонид

Иванович «слишком «нажимает» на русское, а где слишком русское, там ищи антисемитизм». Перекликается с этой мыслью и цитата из «Памятки русскому еврею»: «Если где-то и кем-то с нажимом произносится слово Россия, то понимать это следует в единственном смысле - будь готов бить жидов».

С высказываниями, в которых Бородин видит проявление анти-русскости, идейно рифмуются, на мой взгляд, и осторожные заявления Юданиэля о квасном духе, идейном антииудаизме... Это явления одного ряда. Но в случае с Даниэлем, и не только с ним, приведённые оценки не доведены до логического конца. Одним из косвенных подтверждений сказанному, думаю, является следующий факт. Взгляды друга Юданиэля Александра Воронеля, еврейского националиста, редактора самиздатовского журнала «Евреи в СССР», а затем израильского журнала «22», Семён Липкин прокомментировал недвусмысленно: «Шурик! Да ведь вы же говорите мысли Геббельса» (Цит. по книге: Рассадин Ст. Книга прощаний. - М., 2004).

Такая специфическая - «геббельсовская» - составляющая определяет отношение диссидентов к России и русским. Об этом писали многие, Леонид Бородин в том числе. Он на закате перестройки утверждал: мужество Владимира Осипова проявилось не только в противостоянии антирусской советской власти, но и в открытом неприятии антирусской позиции диссидентов. «Оппозиционное мышление того времени покоилось на одном неременном ките - на проклятии России как исторического явления». (Стоит добавить: именно это объединяло власть с якобы борцами против неё и «левыми» вообще. А все современные мифы о «русском ордене» в ЦК КПСС, о связи власти с «русской партией» - сказки для легковерных, незнаек, дураков...) Из приведённых Бородиным высказываний, авторы которых не называются, но угадываются, процитирую одно: «Русские - это татаро-византийские недоделки...». В своих комментариях к расхожим «шедеврам» русофобской мысли Леонид Бородин справедливо заключает: «В такой вот интеллектуальной обстановке заявить русскую тему в качестве позитива означало исключить себя из состава «порядочных людей», стать объектом гнусных намёков и быть навсегда исключённым из интеллигенции...» («Литературная Россия», 1990, № 7).

О принципиально разном отношении власти к «левым» и «правым» «узникам совести» наглядно свидетельствует послелагерная судьба Юданиэля и Л.Бородина. По словам сына Даниэля, Юлий Маркович «первые два-три года <...> жил в Калуге. Ему была предоставлена (разрядка моя. -Ю.П.) комната в малогабаритной коммунальной квартире и работа в патентном бюро на непонятной (разрядка моя. -Ю.П.) должности, именуемой «инже- нер-переводчик». (Ничего он там, конечно, не делал - просто отбывал часы.) <...> Года через два-три, пренебрегая правилами паспортного режима, он стал всё чаще и на всё более долгий срок приезжать в Москву, а когда истёк срок снятия судимости, вернулся туда окончательно. Препятствий ему не чинили».

В отличие от Даниэля, которому после окончания срока заключения власть поторопилась предоставить государственное жильё и платила деньги за ничегонеделание, Бородин в течение трёх месяцев не мог устроиться ни на какую работу. Да и потом - с женой и ребёнком - практически нищенствовал... (Подробности смотрите в книге «Без выбора».)

Закономерно, что национальная тема и весь комплекс вопросов, с нею связанных, нашли художественное воплощение в творчестве Л.Бородина, прежде всего в повестях «Правила игры», «Расставание».

«Правила игры» («Кубань», 1990, № 7,8) - одно из самых автобиографичных произведений писателя, что стало неоспоримым после публикации мемуаров Бородина «Без выбора». Мимоходом скажу о двух «сюжетах», имеющих прямое отношение к теме разговора.

Писатель Венцович из повести во многом напоминает Андрея Синявского из мемуаров Бородина. Поступки и авторские характеристики обоих, жизненные ситуации и т.д. неоднократно совпадают до мелочей, иногда на все сто процентов. Вот какими предстают Венцович и Синявский: «потребители челоовеков», упорно посещающие политические занятия, «хмыри», сторонящиеся голодовок и любых акций протеста, евреефилы и русофобы... История с Рафаи- ловичем (в частности, пожелание Бородина «синявцам» «дозреть и до обрезания») в повести не отразилась.

О марксистах (главным идеологом которых в «Правилах игры» является Валерий Осинский, а в жизни - Валерий Ронкин) в повести мимоходом сказано, что они «Маркса делили на раннего и позднего, то же учиняли и с Лениным». Такой подход к Ленину был характерен не только для марксистов, не только для «левых» (что естественно), но и для некоторых идеологов «русской партии». Когда я писал об этом на примере работ Вадима Кожина («Литературная Россия», 2007, № 49), я не помнил процитированных слов из повести Бородин, не помнил и ответ Юрия Плотникова Осинскому: «Дерьмо по сортам не различают». Такова позиция самого Бородин, что проявилось в его статьях и мемуарах, и с нею я, естественно, согласен.

По сути, вне работ авторов, писавших о «Правилах игры», осталась национальная тема. Она напрямую связана с главным героем повести Юрием Плотниковым. Он, политзаключённый, попадает в «антисемиты» неожиданно и в то же время вполне традиционно. Плотников, не задумываясь о мотивах голодовок, всегда их поддерживал. Но за месяц до окончания срока он впервые не только поинтересовался у Осинского о причинах готовящейся акции, но и выразил своё отношение к ней.

Основной смысл монолога Плотникова, перебиваемого репликами Осинского, сводится к следующему: «...Если пошёл против государства, если попался, то носи крест и не хныкай. Если решил, что это государство - дерьмо, так чего же жалобы строчить?» Эта мысль лейтмотивом проходит через прозу, публицистику и мемуары Л.Бородин. В повести не столько данное высказывание, сколько его эмоциональное обрамление, не встречающееся в публицистике писателя, вызывает реакцию Осинского, которая стала прелюдией ко многим событиям произведения.

На слова Плотникова: «Я просто хочу сказать, что как-то это всё не по-русски», - Осинский отреагировал так «Продолжай, договаривай. Не по-русски! А по-каковски? По-жидовски, да?».

Так Юрий становится без вины виноватым, становится антисемитом не только для Осинского, но и всех политзаключённых, хотя его слова к еврейству собеседника никакого отношения не имели. Допускаю, что нечто подобное могло произойти у самого Бородин в беседе с Ронкиным, после которой последний почти потерял дар речи, или во время общения с Александром Гинзбургом... Но суть, конечно, не в том, был или не был такой эпизод в жизни Леонида Бородин. Главное, что писатель точно воссоздал механизм одного из вариантов рождения мифа об антисемитизме.

Показательно в поведении Осинского и другое: он обрадовался произошедшему. Таким, как Осинский, нужны антисемиты (реальные или мифические - не имеет значения), ибо они убеждены: каждый русский в глубине души евреененавистник. В связи с данной проблемой в книге «Без выбора» Бородин свидетельствует: «Я до двадцати пяти лет прожил в Сибири, в этой своеобразной Америке - тоже вроде бы «плавильный котёл». Ни о каком антисемитизме и понятия не имел. Прибыв в столицы, я прежде наткнулся на русофобство и только потом на ему ответную реакцию...».

Одним из таких сеятелей антисемитизма в «Правилах игры» является писатель Венцович. Он подчёркивает своё русское дворянское происхождение, как будто сие имеет какое-либо значение. Духовно (и это главное) Венцович - не русский, выродец Данный человеческий тип, широко представленный в литературе, искусстве, философии, науке, политике XX века, сегодня уже преобладает среди «простых» россиян...

Мысли Венцовича (евреи - избранный народ, значительно превосходящий по своим талантам все другие народы; евреи - нерв истории, они «всегда в активе нового», и нужно иметь мужество доверять им «устройство общечеловеческих проблем»; еврейская идея равенства и свободы была изгажена на русской почве и превращена в свою противоположность и т.д.) - это общие места из работ самых разных авторов: еврейских, русскоязычных, иных. Данные идеи, думаю, в комментариях не нуждаются и в силу своей очевидной неправоты, и потому, что такие комментарии имеются в большом количестве.

Куда интереснее - в смысле сложнее - комплекс идей, озвученный антиподом Венцовича Моисеевым. Он, пытающийся просветить Плотникова, как правило, называется антисемитом. Не пугаясь сей страшилки, попробуем оценить взгляды героя объективно.

Думаю, во многом прав Моисеев в оценке международного сообщества: десять михоэлсов для этого сообщества оказались значительнее десяти миллионов русских крестьян, чью трагедию, гибель «прогрессивное человечество» не заметило. Подобная ситуация, напомним, повторится и на уровне политзаключённых в 60-70-е годы. Александр Солженицын в «Наших плюралистах» одним из первых указал на то, что мировое сообщество не заметило огромные сроки «правых» (И.Огурцова, Е.Вагина, Л.Бородин и т.д.) и выступило единым фронтом в защиту диссидентов-евреев...

Видимо, Моисеев прав, когда утверждает, что ссора Плотникова с евреями - более рискованный поступок, чем выступление против власти, ибо в первом случае тебя обязательно «смешают с дерьмом»... Примеры, подтверждающие сказанное, хорошо известны.

Безусловно прав Моисеев и в том, что каждый народ «имеет право на свою историю, плохую или хорошую, но свою...».

Другие оценки героя, думаю, неточны, в первую очередь, потому, что все русские и все евреи у него на одно лицо. Если бы Моисеев выделил хотя бы ещё евреев - патриотов России и русских выродков - ненавистников России, то историческая картина была бы иной, и в общем, и в частности.

Самое же взрывоопасное суждение Моисеева, на мой взгляд, следующее: «Ты (Плотников. - Ю.П.) им нужен как вспомогательный материал. А Панченко - это таран, его головой они дверь прошибать будут. То, что сейчас здесь происходит, это игра, тренировка. А вот когда всё раскачается до нужной кондиции, таких, как Панчен-ко, они выпустят вперёд и, прикрываясь его рязанской мордой...». Этот сценарий, озвученный в повести, впервые опубликованной в 1978 году, оказался пророческим, реализованным на рубеже 80-90-х годов XX века. Вспомните «рязанскую морду» Бориса Ельцина и его еврейское окружение...

Юрий Плотников далёк от вопросов, «вываливаемых» на него Венцовичем и Моисеевым. Он живёт в другой системе координат, которая выстроилась после встречи со стариком, отсидевшим за веру более 30 лет. Именно верующий человек высказывает мысли, помогающие Плотникову многое понять и определить свои «правила игры». Ключевыми являются следующие слова старика: «Будет совесть чиста, будешь и свободным даже под ярмом». Опять замечу, что подобная встреча была в лагере у самого Леонида Бородина, и слова старика реального и старика из повести практически совпадают.

В послесловии к «Третьей правде» Эдуард Кузнецов (бывший политзаключённый, солагерник Бородина), в частности, написал о Плотникове: «Он из тех редких людей, кто своими силами выдирается из идеологических и мифологических банальностей. Но выдирается в некое «чистое поле», чтобы там - без подсказок и оглядок - выстроить своё здание вопросов-ответов и начертить на его стенах свои правила игры».

К сказанному необходимо добавить следующее. В отношении «чистого поля», как явствует из сказанного, Эдуард Кузнецов, думаю, перегнул палку... Леонид же Бородин, в отличие от своего героя, знает, каким должно быть и это здание, и эти правила. В очерке «Полночёрной верности» («Грани», 1991, № 159), тематически и идейно примыкающем к «Правилам игры», Бородин в том числе рассказывает, какое значение для него имела встреча с надзирателем Иваном Хлебодаровым. Она, можно сказать, сыграла в жизни Леонида Ивановича такую же роль, какую мужик Марей в судьбе Фёдора Михайловича Достоевского. По словам Бородина, Хлебодаров помог сохранить ему чувство кровного и духовного родства с собственным народом. И что не менее важно, как утверждает писатель, «сознавать при том, что я сам не противопоставлен судьбой этому народу, не выделен из него собственными качествами и заслугами, но лишь отмечен обязанностью (здесь и далее разрядка моя. -Ю.П.) <...> соотносить личный поиск истины с её идеальным образом, который несомненно присутствует в народном сознании, который я должен и о б я з а н понять, а не ко н струи ро в а т ь его из социальной конъюнктуры...».

Думаю, эта во всех отношениях точная и обязательная для любого русского писателя формула жизнеспособна до тех пор, пока существует народ как таковой...

«Третья правда», пожалуй, - самое известное произведение Л.Бородина. Часть критиков называет Селиванова носителем «третьей правды» в этой повести. Думается, закономерно,

что сам герой ведёт родословную своей «правды» с гражданской войны: «Батя-то мой и от красных и от белых отмахался и меня уберёт. Пушай они бьются промеж собой, а наша правда - третья». Казалось бы, есть все основания отнести Селиванова к выразителям идеалов третьей - крестьянской - силы, которая в гражданскую воевала, когда вынудят. Воевала и против «белых», и - ещё чаще - против «красных».

И для Селиванова «белая» правда предпочтительнее «красной», потому что она «никак не касалась его самого, на жизнь не замахивалась, пролетела гордым словом где-то много выше его головы». В этом случае главным критерием в оценке событий является личная выгода, «я» героя. А на традиционный для русской литературы вопрос, как соотносится это «я» с народным «мы», Селиванов отвечает сам в беседе с Оболенским. На реплику «белого» офицера «народ <...> он не сам по себе» Андрианотреагировал так «А я всё равно сам по себе». Здесь, думается, речь идёт не только о «самости» по отношению к «красным» и «белым», но и по отношению к народу вообще. Поэтому в конце концов «третья правда» Селиванова - правда ЮЖиваго, правда самоценной личности.

Естественно, что и вопрос о сопротивлении злу силою решается героем следующим образом: «Пусть моя правда нечистая! Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет, если жизни нету. Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за своё!». И так, в отличие от Романа Гуля (Р. Гуль «Ледяной поход»), изначально осознающего грех убийства, который всё же нужно взять на себя ради России, в отличие от Григория Мелехова (М.Шолохов «Тихий Дон»), убивающего на фронтах мировой и гражданской войн и страдающего от этого, Андриан Селиванов, защищая своё, разрешает себе кровь по совести. «Своё» или периодически возникающее «наше» соотносится не с соборной правдой, а с правдой природного человека, с дохристианской правдой.

Одно из ключевых слов, чаще других произносимое героем, выражающее его идеал - это воля. Однако воля в понимании Андриа- на есть не традиционная безбрежная свобода, а свобода, введённая в рамки законов природной жизни. В тайге Селиванов находит или просто приписывает ей то, чего недостаёт ему в обществе и в людях.

Во-первых, это постоянство, предсказуемость. Во-вторых, наличие закона, не позволяющего перешагнуть грань, за которой начинается убийство себе подобных. Сравнивая зверей с людьми, Селиванов, как и лирический герой «Кобыльих кораблей» С.Есенина, отдаёт предпочтение зверям из-за их меньшей жестокости. В-третьих, в отличие от мира людей, где закон и человек существуют сами по себе, и каждый стремится установить свой закон, в природе, среди зверей главенствует неизменный, непреодолимый закон «нутра». Закон для всех.

В силу названных причин только в тайге Селиванов реализует себя как личность, обретает «право вольного голоса и свободы».

Л.Бородин, всерьёз изучавший творчество Н.Бердяева и русскую «религиозную философию» вообще, Л.Бородин, автор, в частности, блестящего эссе «Сотворение смысла, или Страсти по Бердяеву» («Москва», 1993, № 8), в характеристике Селиванова не случайно сводит понятия «воля» и «свобода», традиционно антиномичные в русском мире.

Через критику общества раскрывается смысл жизненной философии Селиванова. Право жить «самому по себе», «по своему пониманию и прихоти», по своей воле он отстаивает по-разному: от хитрости до вооружённого сопротивления власти. Некоторые высказывания Андриана, его теория о «людишках», которых убивать легко, и «человеках», которых убивать страшно, а также действия героя вроде бы дают основания поставить Селиванова в один ряд с Родионом Раскольниковым и другими приверженцами разрешения крови по совести. Однако в глубине души Селиванова - и это понимает Рябинин только перед смертью - живёт образ Божий. Отсюда и его оправдание, оговорки в разговоре с Иваном, и собственный приговор: «Убиец я».

Убивает Андриан, в отличие от Юрия Живаго, по идейным соображениям. Чехарда для него - это символ земли, не завоёванной «нынешней властью». Не часто, но последовательно Селиванов позиционирует себя как противник советской власти. Одна выходка в местном КГБ уже в конце повести чего стоит, её на нетрезвость героя не спишешь. Естественно, что не

может понять Андриан мужик-«хомутиков» и Рябинина, трижды бежавшего из лагеря и вновь туда попадавшего из-за нежелания взять на себя кровь.

Однако тоска, подтачивающая «природную правду» Селиванова, свидетельствует о несовершенстве, ущербности её. Тоска по праведно-человеческому сводит Андриана с Иваном, что лишь после смерти Рябинина понимает Селиванов. Это тоска по идеалу - ещё одно доказательство внутреннего здоровья героя (пусть и подорванного, с различными наслоениями грязи, греха), свидетельство наличия в нём того «золота народной души», о котором писал Ф.Достоевский и которое он научился видеть в падших каторжанах, народе, человеке вообще.

Ещё одна - не менее важная причина тоски - потребность Селиванова в отцовстве. Об этом всего лишь дважды мимоходом говорит Л.Бородин, но говорит так проникновенно, что становится очевидным, насколько отцовство важно для Андриана. В запоздалой отцовско-дочерней любви Оболенских Селиванов находит ту правду, которая сильнее смерти.

Показательно, что политические страсти в повести побеждаются в конце концов родительским началом. Именно Селиванов открывает Людмиле Оболенской иную перспективу - «детей рожать». То есть одна из главных составляющих «третьей правды» - правда материнства-отцовства. Эту правду через духовное отцовство обретает в конце концов и Селиванов.

Итак, бездетной по сути «третьей правде» героев «Доктора Живаго» противостоит «абсолютная правда» духовного отца Селиванова и реальной матери Людмилы Оболенской. При этом, как явствует из всего творчества Л.Бородина, он придаёт особое значение личности женской. Писатель следует давней традиции русской литературы, согласно которой человека при человеческом - высоком, духовном - начале в вечности удерживает не столько «гений мужчины», сколько «гений женщины». О сути этого «гения» Л.Бородин высказывается вполне определённо в эссе «Женщина и «скорбный ангел»: «Женщина же, собой продолжающая жизнь, может ли быть не призвана к иному - к духовному сопротивлению Смерти, к отвержению к Смерти, к страданию при виде её?! Разве не этими свойствами её природы она всегда ближе к Богу, чем мужчина?

Да не осудят меня ортодоксы, рискну сказать, что всякая женщина, впервые взявшая в руки только что родившегося ребёнка, одним мгновением, возможно, секундой времени, то есть ещё до всякой мысли о нём, - бывает равноприродна Божьей Матери» («Москва», 1994, № 3).

Отцовско-материнская правда героев «Третьей правды» и в целом динамика растворения «я» индивида в другом, как правило, не замечается. Стало традицией делать акцент, заикливаться на «самости» героев писателя как на некой правде свободной личности либо говорить о христианской правде Ивана Рябинина. И при этом не замечается другое, о чем сам Бородин сказал вполне определённо в интервью: «По большому счёту правда одна. И когда я писал эту повесть, слова «третья правда» у меня стояли в кавычках, это потом уже в издательстве их сняли. Да, Селиванов не находит правды, и правда Рябинина тоже неполна <...>. Тут скорее важны поиски правды, неуверенность в правде господствующей, попытка отойти от неё». Отталкиваясь от многочисленных суждений писателя, следует уточнить главное: правда одна - Божья. И можно без преувеличения сказать, что всё творчество Бородина направлено к постижению этой Правды.

Однако подавляющая часть конструктивных идей, которые Бородин высказал в своих многочисленных статьях, книге «Без выбора», художественно воплотил в прозе, осталась якобы или реально незамеченной и либералами (теми, для кого от взглядов писателя «припахивает кваском»), и профессиональными политиками всех мастей, и большинством «патриотов». В качестве примера приведу две мысли Бородина, сознательно беру разномасштабные, разнокачественные.

В статье «Когда придёт дерзкий...» («Москва», 1996, № 11) Леонид Иванович с пониманием всей сложности и масштабности проблем, стоящих перед страной, утверждает, что возрождение державы является «делом не менее тяжёлым, чем, положим, победа в прошлой Отечественной войне». В связи с этим формулируются самые разные задачи, которые звучат актуально и сегодня. Вот некоторые из них: «Державная идея перво-наперво должна объявить пьянство скрытой формой национального предательства»; «...Активное государственное попечение над территориями так называемого ближнего зарубежья с

преобладающим русским населением; денонсация хотя бы и в одностороннем порядке Беловежских соглашений; долговременная программа воссоединения волюнтаристски отторгнутых территорий всеми средствами, каковыми способна располагать вновь ставшая великой Русская держава».

В другой статье «Плохо строим или плохо построили?» («Москва», 2008, № 2) Бородин, развивая тему державности, высказывает мысли, которые, уверен, удивят многих: «Ожидать нам медленного, будем надеяться, умеренного, но безусловного ужесточения режима - такова единственно возможная логика поведения строящегося государства. Других вариантов просто не существует. <...> Усиление фискальных и карательных «контор» - непременно».

Не первый раз писатель озвучивает подобные идеи, поэтому не отреагировать на них невозможно.

В уже упоминавшейся публикации «Мужество» («Литературная Россия», 1990, № 7) Леонид Иванович так говорит о процессе над русским патриотом Владимиром Осиповым в 70-е годы XX века: «Не суд, и не судилище даже, а уголовная расправа. <...> Судили за любовь к Родине. За то, что посмел любить её, замордованную, не по рецептам блокнота агитатора, а по зову души, по высшему и благороднейшему человеческому инстинкту». За то же самое судили самого Бородина и других...

Сегодня же Леонид Иванович не просто предсказывает ужесточение режима, но и оправдывает его. Оправдывает в том числе репрессии против тех, кто мыслит «не по блокноту» нынешней власти, «блокноту» «Единой России». Так, в конце 2007-го года в журнале «Москва» состоялся «круглый стол», тему которого Леонид Бородин сформулировал так «Правомерность привлечения писателя к уголовной ответственности за его писания» («Москва», 2007, № 11). Владимир Бондаренко, на мой взгляд, точно ответил на данный вопрос: «Какой бы текст писатель ни написал, государство имеет право запретить, но посадить, уничтожить писателя государство не имеет права». Полемизируя с критиком, Бородин так определил свою позицию: «В отличие от Владимира Бондаренко я глубоко уверен, что государство имеет право, какое бы оно ни было - советское, антисоветское, коммунистическое, капиталистическое, - если оно видит опасность, имеет право преследовать, потому что прежде было Слово». (Нечто подобное уже звучало в «Правилах игры», «Расставании», «Без выбора».)

Совершенно точно оценивая Стомахина и ему подобных сеятелей национальной розни, издания, пропагандирующие наркоманию и секс, Бородин совсем не говорит о тех русских патриотах, которых, как и в советские времена, судят за всё ту же любовь к России. Изменилась только статья, теперь она 282-я. Судят Юрия Петухова и многих других. Но сегодня Леонид Бородин не с теми, кто выступает против позорных «судилищ» (см.: «Литературная газета», 2007, № 45; «Завтра», 2007, № 34)...

Боюсь, что при аргументированном и молчаливом согласии с подобными процессами мы построим сильное государство, в котором русским вновь будет уготована судьба американских индейцев. Только теперь - лет через пятьдесят - уже не найдутся поэты, которые с гневом, как Станислав Куняев, или болью, как Юрий Кузнецов, напишут: «Для тебя территория, а для меня - // Это родина, сукин ты сын»; «Молчите, Тряпкин и Рубцов, // Поэты русской резервации». Не будет самих русских писателей, то есть таких, которые, как Леонид Бородин, смогут выпеть душой «Год чуда и печали», «Лютик - цветок жёлтый»... Будут только ерофеевopodobные бумагопачка-тели, круглосуточная пошлость на радио и телевидении (галкопуга-чёвщина, моисеевщина, познершвыдковщина, шуткокавээновщи-на) и общечеловеки, изрыгающие через слово мат...

Я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой России, ибо это будет уже не Россия...

Стихотворение Бородина «Патриотизм, когда лишь фраза...» («День», 1991, № 16), посвящённое Игорю Шафаревичу, заканчивается словами, в которых выражен пафос жизни Леонида Ивановича:

И впредь юродствовать не смей, Когда заслуженно наказан Любовью к Родине своей.

Леонид Бородин, «наказанный» любовью к Родине, уже почти 20 лет является для меня «лютиком - цветком жёлтым», олицетворением идеала человека... Я поздравляю Леонида

Ивановича с юбилеем и скупю желаю ему того, о чём он говорит в стихотворении, адресованном Юлию Даниэлю (так замкнулось композиционное кольцо): Только б кровь живее в жилах... Только б сумрак покороче...

2008

Владимир Личутин: домашний философ против хозяйки.

В новую книгу **В. Личутина** (Личутин В. Домашний философ. - М., 1983) вошли две повести, ранее уже публиковавшиеся в журнальной периодике. Если первая повесть «Бабушки и дядюшки» удостоена премии «Дружбы народов» и не обойдена вниманием критиков, то обсуждение второй началось сравнительно недавно. Поэтому разговор пойдёт только о повести «Домашний философ», являющейся продолжением тех художественных поисков писателя, которые обозначились особенно ярко в произведениях «Последний колдун», «Крылатая Серафима», «Фармазон».

В «Домашнем философе» события разворачиваются не в привычном для Личутина Поморье, а на берегу Чёрного моря. На это делает упор В.Ганичев в предисловии к журнальному варианту повести. Он противопоставляет море «Поморской хроники», таящее «угрозу и смуту», морю «Домашнего философа», «расслабляющему, убаюкивающему». И далее, следуя этой логике, В.Ганичев пишет: «На берегах <...> тёплого моря герои Личутина ведут сытую, вялую жизнь и предстают антиподами прежних его героев с их страстями и трудами» («Сельская молодёжь», 1981, № 4, с. 28). По такому же пути противопоставления севера югу пошли Н.Павлов и МЛи- повецкий, выступившие позже на страницах «Литературного обозрения». И если Н.Павлов замечает, что «дело, конечно же, не в географии» (Павлов Н. Постоянство ориентиров. - «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 35), то МЛиповецкий утверждает прямо противоположное: «Словом, мир героев этой повести оказывается в какой-то мере антимиром по отношению к той жизни, которую Личутин писал до сих пор <...> Люди Беломорья у Личутина - это те, в ком нелёгкая судьба воспитала неуёмную твёрдость и мужество души. А в новой повести нечто совсем другое - расслабленное, рассолодевшее от жары... Это царство утробы, тут владычествует щедрая плоть» (Липовецкий М. Обновление?... - «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 38).

С критиком трудно согласиться по следующим причинам. Во-первых, ни к пляжной атмосфере, которую создают, главным образом, отдыхающие (в том числе и с Севера), ни к богатому рынку герои повести не имеют отношения. Во-вторых, и это главное, - Баныкину легко можно найти не только антиподов, но и духовных собратьев с Белого моря: Гриша Чирок, Василист, Федя Понтонер... А Иван Тяпуев ещё и фору даст Баныкину в бездуховности, в фармазонстве... В-третьих, интенсивность жизни, настоящей жизни (перед нами маленький черноморский посёлок), вопреки утверждениям Н.Павлова, «от продолжительности курортного сезона», «от денежного кочующего народа» не зависит. Да, внешняя, открытая людскому догляду жизнь Баныкина и Фисы не интенсивна, она лишена захватывающей событийности первых произведений писателя, но внутренняя, главная, жизнь героев не менее насыщена трудами сердца и ума.

Повествование в «Домашнем философе» начинается с того момента, когда муж и жена, люди зрелого возраста, находятся на пороге «новой» жизни. Процесс обновления этих героев и является предметом изображения в повести.

Не случайно, что именно сон (роль сновидений в творчестве ВЛичутина возрастает с каждым новым произведением) нарушил привычное течение жизни Петра Баныкина, где всё «выходило по его уму и нраву». То ли приговор жены «...Ты действительно нажился, ты уже

фактически умер, а всё живёшь и отнимаешь чужую жизнь...», то ли впечатляющие картины АДА и РАЯ, а скорее всего, то и другое явилось причиной начала тайной работы ума и сердца Баныкина.

Первые её проявления: решение присесть, поглощённая без прежней охоты пища, нежелание обычного общения с беззаботными отдыхающими, стыд за свой большой живот, мысль о назначении физических сил - соседствуют с привычными желчью, ревностью, почти ненавистью, испытываемыми женой. При этом муж выступает как сторона активная, диктующая свои условия. Но в многолетней привычной «игре» появляются новые, теперь уже по воле Фисы, неожиданные ходы.

Впервые герой поверил не раз слышанной угрозе жены и испугался: «Он вдруг с пронзительной ясностью представил свою будущую бобыльную жизнь и понял, что одиночества ему не перенести, он просто умрёт без Фисы». И далее происходит неожиданный качественный скачок в сознании Баныкина: от мыслей и переживаний, вызванных решением жены, к вопросу о смысле жизни: «Ну что будет, что изменится, если я продолжу жизнь свою?.. Ну съем тонну, десять, сто... А дальше-то что? Что дальше? Что-о!»

Такая постановка вопроса вызывает удивление: ведь кроме жизни живота, не удовлетворяющей больше Баныкина, существует двадцатилетний труд, на который не раз ссылается герой, говоря о своём особенном жизненном предназначении. Но о нём почему-то Пётр Ильич не вспоминает, тем самым давая повод для различных догадок, в первую очередь, такой: домашний философ или мысленно зачеркнул свою работу, или вообще никогда не верил в неё.

Ясно одно: тело Баныкина первым протестует против чрезмерного поглощения пищи, требуя обновления, но как оно должно протекать, герой не знает. Ему, привыкшему жить рассудком, на этот раз приходится подчиниться «смутному желанию», которое приводит мужчину на кладбище к сыну.

Можно предположить, что и «жалостливая горячая тоска», и «пробка в горле» - свидетельство победы отцовских чувств над эгоизмом героя. Однако это не так. С начала и до конца пребывания на могиле Мити Баныкин играет, он постоянно замкнут на собственном «я». Чего стоит радость от мысли, что для его могилы места рядом с сыном маловато; или, сразу после слов: «Прости, сын... Друг мой сердешный, прости папу», - поиск места, где посуше, куда можно стать на колени.

Я подробно останавливаюсь на этом эпизоде потому, что хочу понять природу баныкинских слёз - итог похода на кладбище. В повести, как это часто бывает в прозе писателя, не даётся прямого ответа на этот вопрос: «У Баныкина были слёзы прощания. С собою ли прежним прощался или с Митей, окончательно уверившись, что из этого побега уже не вернётся сын». Но, учитывая сказанное выше, считаю, что ни о раскаянии, ни о прощании с сыном речи быть не может. Пётр Ильич не смог перешагнуть через собственный эгоизм, тем самым закрыл верный путь к душевному выздоровлению.

Приход к соседке, пользующейся славой колдуньи, объяснение с ней многое проясняет в желаниях домашнего философа, стремящегося к обновлению: «Мне обязательно надо жить... Продли меня...». Понятно, что речь идёт только о физическом обновлении, оно нужно для того, чтобы Баныкин мог исполнить своё предназначение. И ни отчаяние, толкнувшее трезвого материалиста идти к колдунье за словом, ничто другое не могут оправдать готовность героя (пусть и не реализованную в действительности) купить возможное исцеление любой ценой: «озолочу», «душу отдам».

Совет же старухи прост («Жри поменьше...»), как и совет, данный ранее природой. Так Пётр Ильич приходит к итоговой мысли: «Кожу менять надо... Как ящерка: раз - и всё. В природе жизнь по одному закону, по закону обновления. Я от шкуры устал своей». Но в больнице Баныкину ещё раз пришлось возвратиться на исходные позиции. Вновь Фиса лечит его испытанным способом - обильным питанием. Однако теперь у Петра Ильича хватает сил сказать «нет» жене, врачам и, главное, себе. После выздоровления герой заявляет: «Сахар - яд, соль - яд, мясо - яд, копченье - яд, варенье - яд». И, как ни трудно подчас бороться с плотью, он последовательно следует избранному пути.

При таком образе жизни внешние перемены – явление неувидительное. Естественно, что в фигуре Баныкина проступает «прежний Петруша», произошедшие же изменения лица («иночское, просветлённое появилось в нём») и глаз («прежде дозорные, подозри- тельно- колючие, ныне отмякли, в них просеялись редкие ласковые золотинки, согревающие взгляд») свидетельствуют о внутренней работе, перестройке души.

И действительно, Пётр Ильич перечеркнул прожитую жизнь, отказался от собственного предназначения, спрятал подальше от глаз людских труд двадцати лет («это страшно колебать суть вещей...»). Возникает естественный вопрос: что же взамен, неужели только тщательное перетирание пищи зубами? «...Освобождение от еды и полная свобода духа» – вот ценностная шкала, определяющая «новый круг жизни», начатый героем в шестьдесят лет.

Мир Баныкина разделён теперь на две части – свободы и несвободы. Дом, построенный своими руками, жена, присутствие которой было естественным и необходимым условием существования, не только тяготят, но подчас ненавистны герою. Поэтому он находит отдушину – «таинственную бухточку» в горах. Природа, первая подсказавшая Петру Ильичу идею обновления, становится для него желанной «обителью», где он отдыхает душой и телом.

Заметно изменилось отношение героя к природе. Если раньше оно напоминало монолог почти слепого и почти глухого, то теперь Баныкин не только осознаёт, что «живая природа, мать наша живая», – но и видит, чувствует её красоту: морская вода ему «казалась весенним, едва расцветшим лугом...», медузы «походили на большое изнеженное женское тело, лежащее под верхним слоем воды...». Пётр Ильич слышит постоянный зов земли, он «никогда не думал, что так хмельно может пахнуть разворошённая земля».

Не могу согласиться с мнением М. Липовецкого, который этой эволюции героя не увидел. «Баныкин – и до, и после своего перерождения – подчёркнуто неорганичен. Он необратимо изолирован от бытия, ему недоступна мудрость и красота мира. И море-то для него – это «угар от раскалённых камней, тонкая приторная вонь от гниющих водорослей... слизь белёсых студенистых медуз», а ночное небо – это «чёрная жёсть стёкол с белёсой перхотью ночной тли» (Липовецкий М. Обновление?.. – «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 38-39). Критик почему-то приводит только примеры, взятые из жизни героя до его «перерождения». К тому же примеры подобраны неудачные.

Прав Баныкин: гниющие водоросли пахнут, действительно, далеко не приятно; медузы героем увидены очень точно, а угар от камней ещё ничего не доказывает, как и вид ночного неба, тем более, что речь в повести идёт совсем не о нем. Домашний философ, потрясённый никчемностью, ничтожностью своей жизни, страхом смерти и одиночеством, «посветил фонариком в направлении окон и увидел чёрную жёсть стёкол с белёсой перхотью ночной тли». Примеры, явно не подтверждающие «подчёркнутую неорганичность» Баныкина, но ярко демонстрирующие, как не надо работать с текстом...

«Воистину свободным» стал Баныкин тогда, когда в его жизнь вошло «реальное дело». Возникнув сначала как средство усмирения «восторженной струны, что постоянно дрожала отныне в душе», оно сразу становится необходимым и желанным, наполняется практическим смыслом, хмельным азартом.

«Воистину свободным» стал Пётр Ильич тогда, когда порвал все связи с женой, людьми, стал одинок

Тщетность прежних убеждений, исканий символизирует пустая котомка того «дерзкого Баныкина, однажды спустившегося с неба в рязанскую деревню», и пропасть у ног другого, «со смутной разочарованной душой, домогавшегося когда-то с великим упорством до сути вещающего слова».

Н.Иванова довольно часто в своих статьях рассматривает вопросы нравственной позиции писателя, взаимоотношения автора и героев его произведений. Обратившись же к повести В.Личутина «Домашний философ», критик допускает ошибку, в неосознанность которой трудно поверить: Н.Иванова отождествляет поиски Баныкина и писателя. «Самоценное слово оказалось в конце концов миражом – как для героя, Петра Ильича Баныкина, доморощенного философа-эгоиста, так и для самого автора» (Иванова Н. Испытание украшением. – «Вопросы литературы», 1984, № 4, с. 91). Причём это несправедливое утверждение подводит итог

рассуждениям критика, служит своеобразным приговором не только повести, но и если не всему творчеству В. Личутина, то определённым тенденциям его.

Однако Н.Иванова не ограничивается этим: она уже в следующем абзаце, разводя в стороны двух больших русских писателей - В. Личутина и В.Распутина, - «побивает» первого творчеством второго. «Гораздо менее, чем у Личутина, «самовита» работа со словом, скажем, у Распутина. В его авторском повествовании смысл стоит за словом, отличающимся не окраской, а сдержанной простотой и подтекстом» (Иванова Н. Испытание украшением. - «Вопросы литературы», 1984, № 4, с. 92). Я приведу лишь одно высказывание В.Распутина, разрушающее это и другие «построения» критика: «Ли- чутин в теперешней нашей литературе один из самых лучших знатоков, ценителей, и, главное, не чем иным, а работой своей, защитников русского народного языка» (Аннотация к книге: Личутин В. Последний колдун. - М., 1980).

Какие бы формы новая жизнь Баныкина не принимала, она опять сводится к животу. И речь идёт не о еде, а о главном, о чём не спрашивает и не желает (ведь так спокойнее) спрашивать себя Баныкин. Для чего, для кого всё это - уходы, обновления, свобода, реальное дело? Ведь опять только для себя, живота своего. Обновляясь физически, герой не может переродиться духовно. Он не сделал главного шага - не освободился от «ужасного тормоза - любви к себе» (Л.Н. Толстой).

В конце повести даёт трещину и «холостая» жизнь Петра Ильича. Баныкину, «кроткому и светлому», только что вернувшемуся из своей обители, Фиса, а не природа и не слово, как утверждают МЛипо- вецкий («Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 39) и Н.Иванова («Вопросы литературы», 1984, № 4, с. 91), наносит удар, сокрушающий новый смысл жизни героя. Фиса, давно мужем не замечаемая и безоговорочно подчинившаяся ему, против обыкновения проявляет волю, «и Баныкину сразу расхотелось работать, он впервые с отвращением осматривал котлован...». И дальше - больше. Герой подвергает сомнению главное - фундамент, на котором держится его теперешняя жизнь. Пётр Ильич «с усилием и далеко спрятанным отвращением перетирал салаты и огуречные пупырчатые ломти... и предавался короткой одинокой тоске. Тогда Баныкин думал, что жизнь бессмысленна и поразительно пуста, и она не стоит, наверное, того, чтобы её продлевать и гнать по второму кругу». Правда, пока ему удаётся бороться с такими настроениями.

И всё же есть в Баныкине пусть едва тлеющее, глубоко запятанное, иногда прорывающееся наружу здоровое начало. Об этом свидетельствует и оставленный двадцатилетний труд, и неудовлетворённость «старой» утробной жизнью, и приступы тоски, разочарования в «новой».

Вообще же, я сомневаюсь в том, что герой сможет по-настояще- му когда-нибудь обновиться, духовно возродиться, однако такую возможность не исключаю. Но исключает её МЛиповецкий: «Баныкин потому и терпит неудачу, что ему некуда обновляться» (Липовецкий М. Обновление?... - «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 39). Я против такой категоричности, это не в традициях русской литературы, народной морали. Все или почти все могут избавиться от своих недугов, недаром Гоголь верил в духовное воскрешение самых «чёрненьких» героев своей великой поэмы.

По мнению Н.Павлова, «в повести нет героя, который противостоял бы Баныкину» (Павлов Н. Постоянство ориентиров. - «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 36). Уверен, есть: это жена Баныкина - Фиса, играющая в произведении не менее важную роль, чем её муж. Конфликт повести - не столько семейный, сколько мироотношенческий, философский. Он вынесен в название журнального варианта «Домашний философ и хозяйка», который считаю более удачным. Главная тема повести - взаимоотношения человека с человеком; любовь и эгоизм - вот pro и contra «Домашнего философа».

Почти тридцать лет назад Фиса спасла от смерти Баныкина, в выздоровление которого никто не верил, а теперь жалеет об этом. Правда, могут возразить: Фиса корила себя потому, что «обрекла его на такую никчемную жизнь». Но неужели человека спасают ради чего-то? Русская женщина во все времена оказывала бескорыстную помощь любому страждущему, просящему..

Пытаясь найти истоки грешных мыслей Фисы, можно пойти по линии: среда, то есть муж, заела, и в подтверждение этому найдём немало примеров. Пётр Ильич спустился с неба, как бог, а любил Фису через подпол, как вор; бедная женщина всем жертвовала для выздоровления мужа, а он, «стройный и свежий», приносит жене, только что освободившейся из-под власти смерти, испытывающей «негаснувший голод», «живое слово». Фиса же просит: «Мне бы кусочек хлеба... Ты бы мне хлеба, вот такусенький кусочек».

Подобные примеры можно привести ещё, но дело не в них. Конфликт гораздо глубже, обвинение жены куда суровее: «Ты Митю убил, ты и меня убил... Ты всю жизнь обманывал всех!»

В начале повести ничего, кроме ненависти, не испытывает Фиса к Баныкину. Тем не менее большую часть времени она вынуждена проводить с ним под одной крышей. Для героини не имеет значения температура их отношений: война ли, мир ли, она всё равно чувствует свою зависимость от Петра Ильича, он парализует её волю, сковывает свободу. Единственное убежище от власти мужа - жизнь в коконе-крепости. Замкнутость, закрытость Фисы - это не подчинение Баныкину (М. Липовецкий считает, что именно муж «приучил» её к такому образу жизни // «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 39), а форма защиты, борьба с ним. Только таким образом героиня получает возможность остаться наедине со своей болью, наедине с сыном. Митя - неотделимая частица её «Я», главный смысл её жизни, её предназначение, он - весь мир. До этого же уровня - смысла жизни - «подтягивает» чувство Баныкина к сыну Н.Иванова (Иванова Н. Испытание украшением. - «Вопросы литературы, 1984, № 4, с. 90). На фоне всего сказанного о герое несправедливость такой оценки очевидна.

Из замкнутости на себе (природа которой иная, в корне отличающаяся от мужней) Фису неожиданно выводит стон старой сосны. Возникшая жалость - это первый шаг к душевному перелому, который окончательно произойдёт следующим утром. Первые признаки его - покой и свобода, но уже не мыслимые без присутствия мужа.

Одна из главных ошибок, когда речь идёт о Фисе, - попытка представить её внутренний мир, находящийся в постоянной работе, движении, в статичном положении. Отсюда и умалчивание о противоречиях, терзающих душу героини, и приглаживание, выпрямление поисков её, и характеристика женщины как более целостной, природной и т.д. Возьмём только отношение Фисы к природе.

«Там, где Баныкин видит вонючие водоросли и геморройную траву, для неё, - по мнению М. Липовецкого, - открыты живые, очень подробные и таинственно-прекрасные в своей подробности миры моря и сада» (Липовецкий М. Обновление?.. - «Литературное обозрение», 1984, № 2, с. 39). О «водорослях по Баныкину» в трактовке этого притика я уже говорил, примерно также, вернее, по сути также, пахнут они и для хозяйки («душный приторный запах»), но МЛиповецкий, видимо, увлечённый созданием схемы, не видит или не желает видеть этого. Частности? Быть может, но из них вырастает концепция критика. Споры нет, жена куда более природна, чем муж, но всегда ли находится «она в гармонии с естественным миром», всегда ли открыты героине его тайны?

Из приведённого высказывания М. Липовецкого следует, что всегда. Но это далеко не так. Лишь после осознания того, что свобода и смысл жизни невозможны без «несвободы», семейной жизни с Ба-ныкиным, Фисе, вошедшей «в сад, как в чужой таинственный дом, доселе недоступный (разрядка моя. -Ю.П.)...», открывается жизнь его.

И это прозрение и желание «сделать много хорошего, полного смысла», и вновь возникшая жалость к мужу свидетельствуют о начале иной жизни героини. «Душа её, приготовленная к участию и жалости, жаждала разговора». Но он, по воле Баныкина, не состоялся, сближения не произошло.

Такая реакция мужа не вызывает прежнего желания борьбы, наоборот, новая Фиса готова подчиниться ему. Происходит очередная ситуация-перевёртыш. Воля, свобода - то, к чему стремилась женщина, о чём мечтала долгие годы семейной жизни, - добровольно данные Петром Баныкиным, не приносят ожидаемого счастья. Теперь героиню радует не только любой, даже никчемный разговор с мужем, но она... «почти любит его». Ревность, отчаяние, желание распутать свою жизнь, увидеть впереди хоть «крохотный прогал надежды» толкают

героиню срубить сосну, обманывая себя, поверить в присутствие «не наших», приводят в храм...

Жизнь, строительство души Фисы приобретают новое качество только тогда, когда боль и тоска по сыну - то единственное, чем жила женщина все эти годы, - отходят на второй план, вернее, теряют остроту, исключительность. Если раньше Фиса Петровна мерила всё происходящее только смертью сына, жизнью ушедшей, то сейчас её привлекает жизнь настоящая.

«Даже на кладбище Фису интересовали люди...», мужчины интересовали женщину. Ведь только, казалось, почувствовала к Баныкину «почти любовь», только страдала от его равнодушия, как вскоре желает «изменить мужу». Вот вам и бесстрастная жизнь...

Откуда такие мысли и желания? Захотелось отомстить мужу (от ненависти до любви один шаг и наоборот)? Вряд ли. Автор провоцирует читателя, подсказывает современный вариант «любви»: «Она желала изменить мужу, не зная лишь одного, что это желание сидит в ней издавна, а может, и родилась Фиса для переменчивой, мгновенной любви, чтобы когда-то безраздочно и хмельно утонуть от неё».

В думах героини действительно присутствует физиологический интерес к мужчинам, но проникая в потаённый, глубинный смысл мечтаний Фисы, видим, что все эти «грешные» мысли - лишь самообман, игра воображения. За ними стоит главное - возвращение к сыну, но на новом витке, с иным наполнением: «...Она ещё сына родит». Героине хочется ещё раз осуществить главное женское предназначение - стать матерью. А всё остальное - просто слабинка, фантазии одинокой женщины, замёрзшей без человеческого тепла, участия, сострадания. Ведь как должно быть худо и одиноко ей, если внимание, даже скорее, любопытство мужчин на пляже способно согреть «тоскующее сердце».

Поэтому понять это «наваждение», порыв души героини, конечно, можно. Тем более, что вскоре «дневные случайные чувства показали смешной чепухой». Так женщина, хозяйка берёт в Фисе верх.

Женское, высокое начало даёт о себе знать и в странном поединке героини и двух парней. Их изощрённое издевательство-преследование не вызывает адекватной реакции Фисы: на злобу она отвечает жалостью, «сокровенными материнскими словами». Для женщины эти «пустокорёныши», в первую очередь, дети, и нет в её сердце иного к ним чувства, кроме материнского.

И всё же сбылась мечта героини: она родила... Её «это я родила реку» можно понимать буквально: действительно, своим поступком она способствовала рождению реки. Но всё же за словами Фисы стоит нечто большее: героиня вновь ощутила себя женщиной, матерью. Однако её торжество длилось недолго: река умерла через три дня.

Вновь открылась незаживающая рана. У Фисы больше нет ни желания, ни сил жить только для одной себя, жить без сына, и она уходит навстречу ему..

«Историей двух эгоистов» назвал семейную жизнь Баныкина и Фисы В. Личутин в интервью с Т. Славиной («Литературная газета», 1983, №21). С такой оценкой писателя, как следует из всего сказанного, согласиться невозможно.

1984

Владимир Личутин: «Счастья не ищут на стороне...».

«Родом я из Поморья, окраины России, застуженной и бесцветной для глаза постороннего и души равнодушной», - так начинает **В. Личутин** очерк «Помни род свой, и песню, и слово...» («Литературная учёба», 1978, № 1). В жизни писателя, как и в жизни **В.Белова** и **В.Шукшина**, был период, когда он, потомок вольных новгородцев, землепашцев по материнской и поморов по отцовской линиям («моя родовая фамилия уходит в такие глубокие века, что ещё Ломоносов приглашал Якова Личутина из Мезени кормщиком в первую русскую экспедицию Чичагова»), стыдился своего происхождения, и малая родина казалась «затрапезной и невзрачной».

За этим показательным признанием ВЛичутина стоит политика государственного космополитизма, национального нигилизма, дискриминации сельского жителя, России и её народа, что и оказало влияние на сознание будущего художника. Но настал момент, когда родовая память проснулась в нём, поразился он воле и силе характера своих предков, очеловечивших суровый край, создавших высокую культуру, поразился богатству родного языка, поверил в свой народ, землю, чужая боль стала его болью... Появились книги...

В 70-е годы некоторые критики, пытаясь определить истоки творчества писателя, называли в числе его учителей АЧапыгина. Следующее высказывание Личутина не только опровергает эту версию, но и помогает понять своеобразие его мировоззрения, его отношение к народу: «Чапыгин не столько плотью, сколько духом как- то рано и исподволь отлучился от родного крестьянского мира <...> Как случилось, что Чапыгин позволил своему сердцу ожесточиться, и потому душа его, смятённая и взвихренная, улавливала лишь тягостные картины северной природы, вернее, она стремилась всюду отыскать тягость и дикость, ибо была как бы усыплена и построена особым образом на особый лад? Чапыгин словно бы не разглядел в человеке духовного назначения, с коим он поднялся из чрева мате- ри-земли <...> Вера в народ - то, чего не хватало Чапыгину в его начальных исканиях. Как бы там ни говорили, но есть для нас одна общая вера, вера в народ» (Личутин В. Душа неизъяснимая. - «Литературная учёба», 1980, № 5).

Эта вера - результат осмысления русской истории и культуры, результат познания своей «малой» Родины - Поморья. Русский Север, освоенный вольными новгородцами, не знал ни монголо-татарского ига, ни крепостного права. Поморье - край самобытней- шей архитектуры, живописи, словесного творчества, край, трудовой и бытовой уклад которого восхищали многочисленных паломников XIX и XX веков. Так, академик Бер писал: «Я был поражён прочностью, с коей мезенские промышленники следуют правилам, введённым обычаем. Эти правила используются точнее, чем писанные законы во всех государствах. Меня удивила всеобщая безопасность и неприкосновенность собственности при совершенном отсутствии полиции и правительства» (Цит. по: Личутин В. Дивись-гора. - М., 1986).

Здесь, «на краю земли», в «провинции», и происходят события в повестях и романах ВЛичутина (исключением являются «Домашний философ», «Любостай»), Г.Белая, говоря об обращении прозы 60-х годов к вопросам исторической памяти, приводит типичный взгляд на «глубинку»: «Жизнь провинции - это унылый звук колотушки, огромные засовы на дверях и окнах, тоскливо поскрипывающие половицы и аскетический кодекс домостроевской этики». В

подтверждение сказанного исследователь приводит две фразы из рассказов Ю.Казакова, не только произвольно трактуя их, но и придавая одной символическое значение:

«...Устойчивое, традиционное, исторически неизменное ассоциируется только с косным, вязким» (Белая Г. Художественный мир современной прозы. - М., 1983).

Всем своим творчеством ВЛичутин разрушает этот «левый» стереотип и, что особенно важно, уже с первых произведений избегает вульгарно-социологических схем в изображении человека и истории, схем, которые выпирают из многих книг советской классики, таких, как «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин» В.Маяковского, «Разгром» А.Фадеева, «Железный поток» А.Серафимовича, «Хождение по мукам» А.Толстого и т. д.

В отличие от многих предшественников и современников Личутин придаёт особое значение вечному, метафизическому началу в человеке. Правда, критики, как правило, не замечают данную особенность, тем более когда речь идёт о дореволюционной России («Долгий отдых», «Скитальцы»), и в традиционном духе заклинаят: «...В глухой поморской деревне, где вроде бы и эмоции-то человеческие только с едой и погодой могут быть связаны...» (Машовец Н. Общность цели. - М., 1979).

В диалогии Личутин показал амбивалентность личности сельского буржуа Петра Чикина (хищническое отношение к человеку уживается в нём с нежной любовью к лошадям, вера в Бога с неверием, расчётливость с неподвластной разуму любовью к Павле Шумовой, с похоти начавшейся, своеобразие, нетерпимость, злоба с мягкостью, терпением, лаской...), но критики увидели в нём лишь «мироеда». В «Поморской хронике» писатель изобразил разные типы бесов от власти, критики же единогласно записали в главные «фармазоны» Михаила Креня, учитывая его происхождение. В «Долгом отдыхе» ВЛичутин создал ангельской чистоты образ русской женщины Тины Богошковой, но он, естественно, выпал из поля зрения исследователей, более увлечённых социально-политическими проблемами и «странными женщинами», «гражданами убегающими»...

ВЛичутин не уместается в привычные критические схемы и в другом. Уже в первой своей повести «Белая горница» (1972) писатель обратился к событиям накануне коллективизации. Ал. Михайлов так объяснил данный шаг начинающего автора: «Думаю, что немалую роль в этом сыграла явная тяга к необычным, драматическим и экзотическим (разрядка моя. -Ю.П.) ситуациям, к столкновениям, к крутым характерам. Возможно, по первости у Личутина не доставало уверенности, умения, наконец, отваги, чтобы извлечь такие человеческие характеры из современной действительности, из привычной среды» (Михайлов Ал. Поморские сюжеты. - «Литературное обозрение», 1974, № 4). Реакция исследователя, как и вышесказанное, свидетельствует, в первую очередь, о следующем: Личутин начал с того, к чему многие писатели шли довольно долго, прокладывая путь от современности к далёкому и близкому прошлому.

Выход романа «Долгий отдых» (1974), события в котором происходят в первой трети XIX века, как и последующие публикации («Вдова Нюра», «Фармазон», «Скитальцы»), показал, что обращение к истории - это не тяга к экзотичности и не боязнь современности, а потребность, естество Личутина-художника. История для него не только осмысление настоящего через прошлое, не только ретроспектива, необходимая для перспективы, но и возможность воссоздать утраченные или почти утраченные этические и эстетические идеалы патриархального крестьянства.

По устоявшейся традиции из русского крестьянства «левые» делают козла отпущения, видят в нём главного виновника неудавшегося социального эксперимента. Дескать, и сознание деревенского жителя было добуржуазным, недемократическим, и интересы дальше околицы не простирались и т.д. и т.п. Всем своим творчеством ВЛичутин, как и В.Белов, С.Залыгин, Б.Можаев, В.Распутин, ВЛихо- нсов и другие «правые», опровергает подобные взгляды, реабилитирует крестьянство, его веру, культуру, духовно-нравственные ценности, быт, мягко говоря, не уступавшие ценностям «класса-водители». Реабilitирует в том числе и через реалистическое изображение раскрестьянивания деревни.

Интерес к человеку, стоящему у власти, обозначился с первых произведений ВЛичутина и не ослабевает до сих пор. Сумароков в «Долгом отдыхе» и «Скитальцах», Аким Селиверстов, Афанасий Ми- шуков, Мартын Петенбург, Иван Тяпугев в «Поморской хронике» - вот только некоторые герои, позволяющие рассмотреть данную проблему многопланово, на широком

историческом фоне (с первой трети XIX века до 70-х годов XX столетия). Но я останавливаюсь только на типе «бесов», «фармазонов», которые восприняли октябрьскую революцию как собственную победу.

«Наше время пришло» - так оценивает происходящее в стране герой «Поморской хроники» председатель коммуны Мишуков. Он, как и «фармазон» Иван Тяпуев, будучи выходцем из деревни, по сути, крестьянином-христианином не является. С детства эти герои осознают себя (и данное ощущение сохранится на протяжении всей жизни) внутренними эмигрантами, «малым народом». Крестьянский мир воспринимается ими не только как чужой, но и враждебный, подлежащий уничтожению. Поэтому несправедливо отождествлять этих якобы крестьян с крестьянской вселенной, что уже стало правилом хорошего тона у «левых». Конечно, не революция породила «малый народ», существовал он задолго и до неё (взять хотя бы Балашкина, Серого, Кузьму Красова из бунинской «Деревни»), существовал, естественно, не только в среде крестьянства... Но лишь после известных событий «челкаши» различных мастей пришли к власти, и «корчевать», «прижать» сельского жителя стало для них не просто установкой, идущей сверху, но и потребностью души, сущностью характера, формой самоутверждения.

Мишуков, Тяпуев, Гриша Чирок, Куклин («Поморская хроника» ВЛичутина), Козонков, Сапронов, Кузёмкин («Плотничьи рассказы», «Кануны» В.Белова), безымянный уполномоченный и председатель сельсовета Сорокин («Драчуны» МАлексеева) - вот далеко не полный перечень «бесов» от власти, широко представленных в современной прозе. Живую жизнь, её проблемы и противоречия, лад и красоту названные персонажи, в отличие от Ильи Ланина и Мартына Петенбурга (ВЛичутин «Поморская хроника»), выхолащивают, приводят в «порядок» с помощью параграфов, процентов, кличек, с помощью насилия, что, естественно, вызывает протест. Председатель сельсовета Михаил Сорокин («Драчуны»), удивлённый «пропастью кулаков», найденных уполномоченным, выступает против такого подхода к судьбам людей, подхода, выглядевшего на бумаге довольно безобидно - крестики, птички, чёрточки: «Речь ведь идёт не о деревьях, на которых лесники делают зарубки - вот это списать, а это оставить». Олеша Смолин отказывается подписывать акт при раскулачивании Федулёнка (В.Белов «Плотничьи рассказы»), Илья Ланин, защищая человеческое достоинство, а в конечном счёте жизнь Коны Петенбурга и попа Захария, борется с беззаконием, не осознавая, что беззаконие это возведено в закон (ВЛичутин «Поморская хроника»).

Для ВЛичутина, как и В.Белова, художника наиболее близкого ему по мировосприятию, важен не только сам факт сопротивления народа подобным «бесам» (что не вписывается в различные концепции «левых», а потому ими не замечается), но и реальное наполнение, направленность этого протеста. Главное здесь то, что представители традиционно-христианской нравственности, в отличие от «малого народа», «пролетарских гуманистов», не могут разрешить себе право крови по совести.

ВЛичутин в самом начале своего творчества высказал неудовлетворённость тем, что нынешний молодой писатель даже в своей «главной» книге пока мало размышляет о вечном. Вечные вопросы в разное время встают перед многими героями прозы художника: Донатом Богошковым и Тайком («Скитальцы»), Нюрой Питеркой («Вдова Нюра») и Александрой («Иона и Александра»), Иваном Тяпуевым и Михаилом Кренем («Фармазон»), Геласием и Феофаном Солнцевым («Последний колдун»), Баныкиным и Фисой («Домашний философ»), И то, какой ответ находит каждый из них, во многом определяет их веру, их жизненный путь.

Из всех «размышляющих» героев ВЛичутина, пожалуй, наиболее пострадал от критиков Тимофей Ланин - представитель современной интеллигенции в повестях «Душа горит», «Крылатая Серафима» и в романе «Фармазон». Он был причислен к ряду «забуксовавших мечтателей», пассивных наблюдателей жизни, предпочитающих «лучше уйти, чем бороться» (Бондаренко В. Время обязывает. - «Литературная газета», 1981, № 40), послушно идущих вослед за «почти классическим носителем идеи безыдейности вампиловским Зиловым» (Михайлов А. Умеренные новаторы или трезвые реалисты? - «Литературная газета», 1982, № 8).

Можно найти фактические неточности в этих оценках, но главное не в них. Причина, вызвавшая сколь резкую, столь и необъективную критику, - рефлексия героя. На рубеже 80-х годов многие, как и сейчас, жаждали действия, поступка, поэтому предпочтение отдавали не

Михаилу Пряслину («Дом» ФАбрамова), не Тимофею Ланину, а Гехам-мазам, которые, надеялся В.Бондаренко, будут «опорой в строительстве» (Бондаренко В. Время обязывает. - «Литературная газета», 1981, № 40).

Выход из сложившейся ситуации вроде бы простой - дело нужно делать. Такой совет дают Ланину некоторые герои, так считает и критик В.Этов: «А меж тем ответ сам в руки просится. Не размышляй о счастливом - стань им: не рефлексируй - действуй» (Этов В. Чем жив человек - «Литературное обозрение», 1982, № 12). Но рефлексия, если перефразировать Ю.Бондарева, это подготовка к действию и, думаю, сама - внутреннее действие. Именно так, как подготовку к действию я рассматриваю идейно-нравственные искания Тимофея Ланина в романе «Фармазон».

Как любовь к женщине для героя неразрывно связана с любовью братской, всеобщей, так и поиск собственного пути неотделим для него от судеб мира, личные проблемы - от проблем общечеловеческих.

Лишь в начале романа, когда Ланин попадает в критическую ситуацию (лодка с людьми осталась без управления в штормящем море), мы не видим его душевных терзаний. В отличие от других, Тимофей не только спокоен, но и, кажется, даже доволен таким положением дел. Он устранился от общих переживаний и подаёт голос лишь в тех случаях, когда нужно усовестить, примирить озлобленных людей.

Стоило вернуться Ланину в деревню, и вновь нет ему покоя. Не оправдались надежды на новую работу - душевного обновления не произошло. Но затем рефлексия героя совершает качественный скачок. От впервые появившегося сомнения - «Не во мне ли проклятый червь?» - до необходимого вывода - «излечи себя». А как лечить, чем? Как преодолеть душевную раздвоенность?

У части героев современной прозы подобные вопросы не возникают вообще. Их жизнь, деятельность лишены традиционных духовно-нравственных ориентиров; решение вечных вопросов, озаряющих истинным смыслом жизнь каждого человека, герои откладывают на потом, на «старость», когда только и придёт «прозрение: что есть зло и добро». Они, уверенные в своей непогрешимости, готовы «лечить» кого угодно, только не себя (хотя начинать им необходимо именно с этого), и методы выбирают своеобразные.

Доходит до применения физической силы (может, от убеждения «добро должно быть с кулаками?»). Так, герой романа Е.Евтушенко «Ягодные места» недоумевает: «А как не бить в морду, если она морда». На возможность накладок в такой ситуации справедливо указал О.Волков: «...Где критерий столь своеобразной оценки личности? А ну как ошибётся герой в определении «морды»?» (Волков О. Ягодные места: вокруг да около. - «Наш современник», 1983, № 12).

Но чаще силовое давление на «неудобных» принимает формы более изощрённые. В этом преуспели Пушкарёв и Ковригин АПро-ханова («Место действия», «Время полдень»), Семираев С.Есина («Имитатор») и многие другие герои современной прозы.

Тимофей Ланин живёт в иной системе нравственных координат, и средством борьбы со злом в себе и мире видится ему доброта. При этом излечение мира, по мнению героя, должно происходить больше из себя, через себя. Да, постоянная работа над собой необходима, но не стоит уповать в борьбе со злом только на самоизлечение, самоусовершенствование. К этому близок порой Тимофей Ланин: «Проникни, лишь накрой пластырем доброты - и всё образуется в тебе, и всё излечится в мире. Только каждый должен, каждый излечить себя...». Одновременно самоизлечение всех и мира не произойдёт и произойти не может, в первую очередь, потому, что не «всё зло в нас самих».

И осознаёт, скорее даже догадывается, Тимофей Ланин, что в борьбе с людьми, для которых зло стало жизненной философией, нормой жизни, мало противопоставлять им только одну доброту. Поэтому он понимает «как бы месть» Мартына Петенбурга, сам является первым идейным противником в спорах с главным «фармазоном» Иваном Тяпуевым. Конечно, можно пожелать Ланину быть более активным, последовательным в борьбе с тем же Тяпуевым, в борьбе со злом в себе и мире. Правда, было бы удивительно, если бы с ним так быстро произошли подобные метаморфозы. Хотя и добр по своей натуре Тимофей Ильич, но доброта

не стала нормой его поведения. Именно это отличает Ланина от подвижников «Поморской хроники», но в то же время он не стоит в одном ряду с «несостоявшимися» молодыми героями из дилогии писателя.

Современному сельскому жителю, современной деревне посвящена большая часть произведений ВЛичутина. В критике одной из проблем дилогии, состоящей из «Обработно - время свадеб» и «Последнего колдуна», называется проблема молодёжи - «молодёжь в город сбегает» (Н.Подзорова). Какая же сторона или стороны деревенского уклада не удовлетворяют молодых людей, покинувших родное гнездо?

И сын председателя, и Степан, и Милка оставили Кучему, видимо, не столько из-за трудностей крестьянской жизни, сколько из-за того, что их влекут довольно смутные идеалы иной жизни - «красивой, весёлой».

Сказались государственная политика, издержки школьного, семейного воспитания, самовоспитания и, конечно, пропагандируемый кино, литературой, средствами массовой информации роман- тически-туманный образ жизни, где труженику-земледельцу отводились самые последние роли или места вообще не находилось.

Эти ошибки в политике, воспитании больно ударили по психологии как деревенского, так и городского жителя. Радюшин говорит по этому поводу: «А колхозник - это как ругань, матерщина, даже хуже матерщины. Если в городе обкостить кого хошь обидно, назови деревней или колхозником, тут тебе сразу оплеух накладывают...».

Неудивительно, что в городе у Степана, как и у других героев повести, не произошло приобщения к истинным ценностям. Парень живёт бездумной, безответственной, лёгкой жизнью. Лёгкость оборачивается разочарованием, неудовлетворенностью. Ситуация не меняется на родине, в деревне. Вернувшись домой, женившись, герой, несмотря на желание и попытки, так и не смог начать новую жизнь, не нашёл согласия ни с людьми, ни с природой, ни с самим собой.

«Обработно - время свадеб», первая часть дилогии, прочитанная как законченное произведение, даёт основание предполагать, что любовь Степана и Любы состоялась, но уже начало «Последнего колдуна» заставляет усомниться в этом. На протяжении всего повествования герой не может разобраться в своих чувствах. Временами возникает нежность, но носит она лишь сиюминутный характер. Резкие перепады в чувствах свидетельствуют не о сложности, противоречивости натуры героя, а о духовной, душевной незрелости. Жизненное кредо молодого человека можно определить так грешить и каяться, грешить и каяться...

Возразят: но ведь изменяет герой только с Милкой, это старая и, может, единственная любовь даёт о себе знать.

При встрече с девушкой в городе в душе Нечаева происходит видимость борьбы между долгом и желанием. Он осознаёт доступность, дешевизну «любви» девчонок, «откровенно раскрытых для чужого взгляда», но именно она манит парня, именно это привлекает его в Милке.

Вернувшись домой, свои чувства, отношения с женой Степан проверяет воспоминаниями (явно не в пользу Любы) о теле Милки, которое встаёт перед героем путеводной звездой. И пусть не ему приходит в голову мысль: «Да и возможно ли вот так сразу положиться друг на друга и породниться душой?» - об этом можно сказать вполне определённо, что руководствуясь соображениями тела, нельзя обрести супружеское родство. И время в такой ситуации не союзник. Время приводит героев к разрыву.

И здесь, когда речь идёт о любви, нужно указать на негативную тенденцию, проявившуюся в некоторых произведениях ВЛичутина.

Так, из большей части повести «Последний колдун» явствует, что весь секрет любви Степана Нечаева, вся «гамма чувств», испытываемая им, сводится к «греховному томительному желанию». И как после таких мыслей героя: «Поиграй, поиграй, милая... Сейчас я тебя

уломаю, и пикнуть не успеешь» - воспринимать свидетельство писателя: «...Настойчиво убеждал себя, и почти верил тому, что вовсе не любил Милку»?

В повести «Вдова Нюра» Вличутин вносит инородный элемент в образ святой женщины Нюры Питерки («И лишь через много-много лет, на самом краю жизни Питерка пожалела, что не согрешила ни разу...»), а в «Домашнем философе» писатель уже с позиций современных «странных женщин» дочерпывает до «истины»: «Она (56-летняя Фиса Петровна. -Ю.П.) желала изменить мужу, не зная лишь одного, что это желание сидит в ней издавна, а может, и родилась Фиса для переменчивой мгновенной любви, чтобы когда-то хмельно и безрадостно утонуть от неё».

Вличутин, изображая духовно-нравственную деградацию современного человека, не только задаёт шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?», - но и указывает на те ценности, через которые возможно возрождение.

Параскева Нечаева говорит Радюшину: «В людях, как в море, всё есть». Позже Феофан Солнцев как бы уточняет слова женщины: «Располовинен человек, раздвоен. Но что-то крепит его». Об этом скрепляющем начале и человека, и мира много размышляет герой, в чьих думах нет места домашней философии (главному делу Петра Баныкина из повести «Домашний философ»).

Хотя и говорит Феофан Прокопьевич, что «главную-то жизнь человек проживает не на работе, а в себе», что «посох не в руках моих, посох во мне», но эта жизнь в себе, этот посох - лишь камертон жизни общей. Об этом свидетельствуют дневниковые записи и суждения Солнцева, не фиксируемые на бумаге, где современные проблемы рассматриваются в связи с вечными: образ жизни сельчан (отношение к земле, природе, взаимоотношения между людьми), прошлое, настоящее, будущее, заботы о родном языке, раздумья о любви и смерти, радости и горе, страхе и бесстрашии, суеверии и тайне, мельтешении и постоянстве. Одним словом, о душе.

«А душу человеческую какую отправим в будущее, в котором обличье? Каменном, железном, пластмассовом или живом, болючем?» - один из главных вопросов, волнующих героя. И очень важно: дело и слово у Феофана Солнцева в жизни не расходятся.

Уже то, что, будучи слепым, бывший учитель обихаживает себя, ведёт хозяйство, говорит о многом. Но главное - совестливый, сопереживающий всему живому, общественно-активный характер героя проявляется в тех случаях, когда он сталкивается с несправедливостью, человеческой злобой.

Из множества людей, собравшихся вокруг избы Геласия Нечаева, с ухмылкой наблюдающих за тем, как разрушают дом его, лишь слепой заступает за немощного старика. Феофан Солнцев с гневом обращается не только к разрушителю, но и к собравшимся на «бесплатное представление». «А вы... вы-то люди? - с болью и тревогой взывает к ним - ...Вы жалеете друг друга, не каменейте, люди! Будьте милосердны!»

Народные идеалы воплощаются в той или иной степени в образе жизни героев старшего поколения. О них довольно много говорилось в критике. Достоинства... Недостатки... И только вскользь упоминалась или вообще пропускалась одна из главных, если не главная, особенность их мироотношения - отношение к труду.

Вспомним, что советует Стёпушке Радюшин, когда молодой человек сетует на отсутствие в жизни веселья? Председатель говорит: «Ты работой веселись». Что это, жест человека, старшего по возрасту, представителя власти, обязанного воспитывать молодёжь, или убеждения его? Заметим, что Радюшин воспитывает «несовременно», без ссылок на привычные формы досуга: кино, танцы и т.д. «Работой веселись» - это глубокое, нутряное убеждение крестьянина, характерное для многих героев диалогии, находящихся в труде душевное удовольствие, удовлетворение этических и эстетических потребностей.

«Я, грешник, на кой живу, коли работать незамог», - думает восьмидесятилетний старик Геласий, вся жизнь которого была одна «работа до поту». Это «на кой» говорит о многом: и об ответственности перед жизнью, людьми, матерью-природой, и о том, чем терзается старик перед смертью: труд его был не только ради живота своего и близких своих...

Поля, жена Геласия, была «больна», заражена работой. «Осподи, хорошо-то как. Будто двадцать лет с себя сбросила». Это говорит шестидесятилетняя Параскева Нечаева, промокшая насквозь, притащившая на себе не менее полутора пудов рыбы. Слова героини и последовавшей затем «радостный короткий сон» - вот гармония души и тела, трудовая страда, счастье человека-труженика, пока недоступное ни Степану, ни Милке.

Для Геласия и его жены, для Парасевы Осиповны и Домнушки, Радюшина и Вени Лекало труд - это естественная потребность, смысл и мерило жизни. Названные герои не только кормили, производили, удовлетворяли честным, подчас тяжелейшим трудом свои и чужие потребности (что уже много), но и дарили, пусть даже неосознанно, кислород жизни, влияли на нравственный климат её, держали на своих плечах крестьянскую вселенную и страну в целом.

Нет ничего удивительного в том, что ВЛичутин, оценивающий современную жизнь с позиций этой крестьянско-христианской вселенной, был зачислен «левыми» в шовинисты, расисты, враги перестройки. Нет смысла опровергать миф, созданный Н.Ивановой («Огонёк», 1989, № 11), достаточно сравнить его с оригиналом - с выступлением писателя, которое вызвало такую реакцию («Литературная Россия», 1989, № 15).

По мнению ВЛичутина, одна из причин кризиса нашего общества - это отсутствие национальной этики у верхних эшелонов власти. Развивая эту мысль, писатель на исходе 1989 года предложил собственному народу следующий выход из тупика: «Русскому человеку нужно вернуться в себя: для этого путей много, они многообразны и все сходятся в одну точку - в русскость...» («Советская Россия», 1989, 15 октября).

В. Личутин не ищет счастья, идеала на «цивилизованной» стороне. Он справедливо считает, что у России свой путь и своё предназначение. К осознанию этого предназначения и призывает писатель в беседе с Григорием Калюжным, напоминая всегда актуальные заповеди: «Той земле не устоять, где начнут уставы ломать»; «Церковь, разделившаяся в себе, не устоит. Также не устоит и всяк народ, разделившийся в своей сути» («Наш современник», 1989, № 12).

1990

Человек и время в романе В.Гроссмана «Жизнь и судьба».

В романе «Жизнь и судьба» **В.Гроссмана**, сразу после публикации отнесённом многими критиками к классике XX века, нашли отражение национально-ограниченные и «левые» представления о времени. Это произведение - пример отсутствия у автора эпического мышления.

Наиболее уязвим В.Гроссман именно как мыслитель, как писатель, пытающийся определить общие закономерности судьбы человека и человечества в XX веке. Так, в главе пятидесятой (часть первая), наиболее показательной в этом отношении, авторские размышления кажутся отвлечённо-схематичными, большая часть их применима только к судьбе еврейского народа, что в определённой степени подтверждает и писатель трагическими, психологически тонкими, мастерски выполненными страницами о Софье Левин- тон и мальчике Давиде.

Даже те утверждения, в которых Гроссман конкретен, часто страдают неубедительностью, поверхностным пониманием или непониманием самых разных вопросов. Например, «мистическим, религиозным преклонением перед тоталитарным государством» объясняет писатель «рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества». Во-первых, мыслящий, интеллигентный человек - не знак качества; без знания о главном - духовно-нравственном мире личности - это нечто неопределённое. Во-вторых, трудно придумать более абсурдное объяснение: известные высказывания лидеров мирового сионизма, которые, видимо, имеет в виду Гроссман, были продиктованы не заботой о «счастье человечества», а совсем иным. «Ненужные евреи», коих сионисты ещё в 30-е годы решили принести в жертву, заключив союз с Гитлером, действительно, как и планировалось, стали «моральной пылью» для создания еврейского государства.

Итоговые выводы писателя, претендующие на авторское открытие, даже неудобно комментировать, настолько очевидна их ошибочность: «Изменение самой природы человека сулит всемирное и вечное торжество диктатуре государства, в неизменности человеческого стремления к свободе - приговор тоталитарному государству».

В.Гроссман на протяжении всего романа размышляет о свободе. Практически сразу становится очевидным: это «левое» понимание вопроса, которое сводится к абсолютизации свободы, что ещё КАк- савов определил как форму рабства. Известный славянофил в статье «Рабство и свобода» высказал справедливую мысль: свобода - понятие не внешнее, а внутреннее. Этого не понимает автор романа, и как следствие - внешнее разделение мира и жизни человека на лагерь, несвободу и не лагерь, свободу, где личность «не может быть несчастлива». Интересно, как отнёсся бы В.Гроссман к суждениям О.Волкова и Л.Бородин, в которых утверждалось: в заключении они были не только свободны, но и счастливы. Л.Бородин, отсидевший в советских тюрьмах и лагерях 11 лет, испытал в лагере наиболее счастливые минуты своей жизни, а О.Волков, проведший в неволе 28 лет, говорил, что любому человеку, особенно писателю, полезно посидеть.

Невозможно согласиться с «левыми» авторами, рассматривающими «Жизнь и судьбу» как выдающееся явление отечественной литературы, как «Войну и мир» XX века. К тому же,

думаю, необходимо добавить одно слово, помогающее понять суть и названия, и жанра, и мироотношения В.Гроссмана - «еврейский». И дело, конечно, не в количестве героев-евреев в произведении, хотя их наличие в каждом микросюжете романа столь значительно, что создаётся впечатление: евреи - вторая по численности нация в СССР. Дело даже не в их часто немотивированном присутствии на страницах произведения, как, например, непонятно, что даёт следующая информация о Шаргородском: «В ту пору он дружил со студентом-евреем, чернобородым бундовцем Липецом». Или капитан Мовшович мог, конечно, попросить пофаршировать рыбу по-еврейски, но когда здесь же капитан Берёзкин ссылается на Фиру Ароновну, то как тут не вспомнить слова известной песни... А если серьёзно, то суть именно в этом: в основе романа лежит авторская идея, согласно которой евреи - ось мира, и вокруг них вращается жизнь и судьба человека, народов.

Стремление «спрятать» сию идею парадоксально проявилось прежде всего через образы Виктора Штрума и его матери. Довольно неожиданным кажется довоенный национальный манкуртизм этих героев. Можно, конечно, сослаться на то, что были созданы все условия для воспитания «абстрактных человек». И всё же мать и сын в этот период были отнюдь не детьми, дело даже не в полной атрофии национального чувства (таких были миллионы), а в форме выражения этого беспамятства.

Если всё же допустить невероятное: Штрумам более чем за 20 лет ни разу не приходили в голову мысли об их национальной принадлежности и никто никогда не напомнил им об этом, - то возникают вопросы, ставящие под сомнение свидетельства героев и - шире - писательскую концепцию. Во-первых, как при полном отсутствии национального чувства объяснить способность Виктора Штрума узнавать в прохожих «своих» по признакам, для непосвящённого невидимым? Для этого должны быть и чувство еврейское, и знания национальные, а само узнавание - уже мысль.

Во-вторых, если даже в процессе общения никто так или иначе не ставил еврейский и национальный вопрос вообще, то всё равно в печати Штрумам не могли не напомнить об этом, так, например: «Без преувеличения можно сказать, что великая революция была сделана именно руками евреев... Недаром, повторяем мы, русский пролетариат выбрал себе главой еврея Бронштейна - Троцкого.

Символ еврейства, веками борющегося против капитализма, стал символом русского пролетариата, что видно хотя бы в установлении «красной пятиугольной звезды», являющейся раньше, как известно, символом и знаком сионизма - еврейства» (Коган М. За-слуги евреев перед трудящимися - «Коммунист», Харьков, 1919, 12 апреля). Или почему глобально-масштабное уничтожение национальных ценностей, длившееся не одно десятилетие, не заставило задуматься (не говорю ужаснуться) «отзывчивых» Штрумов о происхождении, задуматься о себе как представителях еврейского народа и его культуры?

В-третьих, как можно было читать русскую классику (а Штрумы, особенно мать, якобы на ней воспитаны), обходя её национальное звучание. Реакция же Виктора на «Дневник писателя» свидетельствует о том, что герой ещё до войны задавался еврейским вопросом, так названа и одна из статей упомянутой книги Ф.М. Достоевского.

В-четвёртых, если сын и мать на протяжении более 20 лет не встретили ни разу проявления антисемитизма, то откуда взялось такое обилие евреев-ненавистников в годы войны?

В кратчайший срок Штрум и его мать из космополитов превращаются в людей, чутко чувствующих свою национальную принадлежность. Для героев, как и для В.Гроссмана, эталоном измерения человека и времени является отношение к евреям. Национальная ограниченность, эгоцентризм такого подхода несомненны. К тому же необходимо отметить, что оценки героев, находившихся длительный период в национально-духовной спячке (Штрум - почти полжизни, всю сознательную часть её), используются многими критиками и историками как аксиомы.

В восприятии Штрумов, Софьи Левинтон и самого автора еврейский народ духовно-нравственно неоднороден. Шперлинг, Эп-штейн, Ревекка Бухман и другие герои, в которых проявились низменные, животные начала, не определяют лицо народа, не затмевают главного в нём - доброй и сильной души. Русский же народ характеризуется с иных позиций, он ставится как бы в другую систему духовно-нравственных координат. Оценки отдельных

представителей нации возражений не вызывают, но когда в романе даётся «групповой портрет» русского народа, когда собираешь воедино штрихи к нему, рассеянные по всему произведению, то становится очевидным преобладание у русских антисемитизма и шовинизма вообще. Трудно согласиться и с данным фактом, и с аргументацией Гроссмана.

Если Великая Отечественная война, как уверяет нас автор романа, подняла всю тину со дна, то непонятно, почему такие события, как революция, гражданская война, произвол и беззакония 20-30-х годов, коллективизация, страшный голод, не знающий аналогии в отечественной истории, не вызвали подобной реакции?

По Гроссману, на смену интеллектуальным интернационалистам, «пламенным революционерам» в 30-е годы пришли плохо образованные выразители «русского нутра», которые и стали опорой в политике государственного национализма, проводимой Сталиным (эта идея раскрывается в романе на образах Мостовского, Крымова, с одной стороны, Гетманова, Неудобнова, с другой).

Сия циничная версия, активно тиражируемая «левыми» и некоторыми «правыми» (с небольшими поправками и, конечно, с другим знаком), не имеет под собой никаких оснований. При определённых внешних сдвигах по сути своей государственная политика космополитизма и русофобии оставалась неизменной. И какое имеет значение, обрусел ли руководящий состав страны по крови или нет, ясно одно: все эти якобы русские патриоты, выразители «русского нутра» к русским - духовно - никакого отношения не имели.

Слипкин, который в своих воспоминаниях не раз говорит о еврее Гроссмане как о русском писателе, национальность других авторов определяет критерием крови: «Его мучило, оскорбляло, что иные писатели, русские по крови, не ранены в сердце этим ужасом (уничтожением евреев фашистами.- Ю.П.), ему было стыдно за них перед живым взором великих русских писателей, философов, учёных». Критерий крови воспринимается как явный анахронизм: ещё ВДаль писал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека - вот где надо искать принадлежность его к тому или иному народу».

«Иные писатели», на которых инкогнито ссылается Слипкин, думаю, представляют распространённый тип манкурта, космополита, человека и художника. Они лишь формально, по крови, русские, их мировоззрение и творчество не связаны с традициями национальной культуры. Россия, отечественная история для них - олицетворение убожества, отсталости, объект отрицательных эмоций. Это советские, а не русские писатели, как и Гетманов, Неудобнов, - представители советского, а не русского народа. Вот в чём суть моего принципиального несогласия с Гроссманом, Липкиным и другими авторами, которые в своих суждениях о России, её истории и народе «опираются» на образы названных и им подобных героев.

Гетманов, Неудобнов - партийные функционеры-космополиты, прямо или косвенно способствовавшие физическому и духовному уничтожению русского народа, судьба которого во многих отношениях напоминает судьбу американских индейцев. И если бы эти герои были действительно шовинистами, как явствует из романа, то подобные исторические параллели были бы невозможны. Поэтому национально окрашенные речи и действия «гетмановых» я воспринимаю как инородное тело, привнесённое художником, как произвол, положенный в основу исторической концепции Гроссмана.

То есть у В.Гроссмана не хватило дара (человеческого, прежде всего) увидеть и изобразить русский мир изнутри, в многообразии его проявлений. Не частных, в чём, несомненно, писатель достиг успеха, а главных, сущностных, определяющих «физиономию» народа. Я ставлю вопрос так потому, что автор показывает в романе не отдельные национальные типы (как Штокман в «Тихом Доне» М.Шолохова или Бриш во «Всё впереди» В.Белова), а всенародное море.

Национально-ограниченное восприятие В.Гроссманом человека и времени привносит разной степени элементы неправды в структуру многих образов. Так, нарочито, немотивированно выглядит «прозрение» Иконникова (отказ от веры в Бога), поводом к которому послужила казнь 20 тысяч евреев. Общеизвестно, что во время войны фашисты уничтожали мирное население разных национальностей, по Гроссману-Иконникову же, - только евреев. Об этом

не раз говорится в романе: он «увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев...».

Возникает риторический вопрос: почему смерть детей, стариков, женщин, скажем, белорусов не вызвала у Иконникова желание помочь, не вызвала потрясения, перешедшего в отказ от веры, или почему это не произошло раньше, в тридцатом году, когда герой стал свидетелем трагедии русских раскулаченных, трагедии женщины, обезумевшей от голода и съевшей двух своих детей.

Национальная близорукость писателя часто идёт рука об руку с «левым» взглядом, что проявляется на разных уровнях, в общей исторической концепции романа, прежде всего. Пик беззакония, по Гроссману, о чём говорят почти все герои и сам автор не один десяток раз, - это 37-й год. О зашоренности восприятия событий, времени наглядно свидетельствуют следующие данные об умерших насильственной смертью: 1918-1922 годы - 25 миллионов; 1931- 1933 годы - 7,8 миллиона; 1936-1938 годы - 0,6 миллиона (См.: Кожин В. Жертвы насилия. - «Москва», 1996, № 6).

Идея тождественности противоборствующих сторон, советской и фашистской, лейтмотивом проходящая через весь роман, является чуть ли не аксиомой для многих сегодня. Но, во-первых, если исходить из другого суждения В.Гроссмана (свободная личность побеждает фашизм), связанного с приведённым, как частное и общее, то тогда, с учётом известного исхода войны, следует: либо данного тождества не было, либо свободная личность не всегда побеждает фашизм, социализм и так далее. То есть система по законам, установленным писателем, не работает. Не спасает её и другая, очень популярная ныне идея, звучащая в романе: борясь против фашизма, советские люди укрепляли тиранию Сталина.

И в том, и в другом случае налицо проявление мышления, которое не в ладах с логикой, мышления плоского, материалистического, социально обусловленного, не видящего разницы между властью и государством, между идеей национальной, метафизической и идеей социальной, прагматической...

Итак, проблема «человек и время» на уровне общих идей, исторических концепций и их прямых проекций на героев решается в романе с национально и мировоззренчески ограниченной, очень уязвимой точки зрения. Более убедителен и интересен В.Гроссман в тех частях произведения, когда плохой мыслитель уступает место художнику, пишущему человека, когда проблема рассматривается изнутри, со стороны героя.

Многие персонажи «Жизни и судьбы» - Крымов, Гетманов, Не-удобнов, Мостовской - живут во времени-современности, в социальном времени. Это особенно остро ощущает Крымов, в размышлениях которого есть такое деление людей: сын времени - пасынок времени. К первым он относит тех, кого время породило, ко вторым - тех, кто живёт не в своё время.

Именно им, пасынкам времени, представителям ленинской гвардии, отводится большое место в романе. Интересен образ Абарчука - живое воплощение социальной идеи. Данное качество неоднократно подчёркивается Гроссманом через авторские характеристики («его вера была непоколебима, его преданность партии беспредельна») и внутренние монологи героя («Дело партии - святое дело! Высшая закономерность эпохи»). Мир Абарчука - это мир стереотипов, задач, в которых ответ известен заранее: усомнившись в жене, бросает её с маленьким ребёнком, затем, по идейным соображениям, отбирает у него свою фамилию. Угодливость, вероломство, жестокость старый коммунист называет родимыми пятнами капитализма. Рубин, задающий неприятные вопросы, обнажающие суть Абарчука, - диверсант.

Черты характера человека, обусловленные советской идейностью, как и она сама, в изображении автора не только теряют свою привлекательность, что уже было новаторством для литературы 50-60-х годов, но и выглядят в конце концов зловеще, ибо самопожертвование оборачивается гордыней, формой самоутверждения, дающей право судить, разрешать кровь по совести.

Но и эта зловещая личность не схема, не набор исчадеадовских черт, а живой человек (в чём проявляется мастерство Гроссмана), в котором всё же пульсирует не убитое идеей здоровое начало. Проблески его видны в изуродованном чувстве к сыну, в периодически верных

самохарактеристиках, в способности, наконец, одержать верх над своей слабостью: победить в себе трусость, подчинённость миру уголовников.

Но, могут сказать, какая победа, ведь Абарчук настучал... Да, настучал. Однако что иное мог сделать такой человек с таким пониманием чести. Главное: герой пересиливает себя, поднимается над обстоятельствами, лагерными «правилами игры», прекрасно понимая, что донос на Угарова равносителен подписанию себе смертного приговора.

Многие критики склонны преувеличивать прозрения другого «пламенного революционера», Магара. Действительно, в отличие от иных персонажей-ленингогвардейцев, он кается перед мёртвым раскулаченным, и нам понятно: это акт символический, речь идёт о всех крестьянах, разделивших подобную судьбу. Действительно, Магар критикует Маркса, но характер и направленность его критики мало отличаются от учения по сути.

Во-первых, герой лишь добавляет к идее пролетарской революции иначе понятую - не по Марксу - свободу. Во-вторых, из его критики национализма, черносотенства, погонов и т.д. видно, что Магар так и остался революционером, пусть и не совсем марксистом.

К более глубоким и значительным прозрениям вплотную подходит Крымов. И, в конце концов, через его судьбу писатель показывает, что жалость, сострадание сильнее мира социальных идей. Дорогою любви идут Евгения Шапошникова, Новиков, Штрум, Мария Ивановна Соколова. Этот декларированно не заявленный в романе путь преодоления обстоятельств, судьбы - путь прорыва во время- вечность.

В дневниках И.Бабея есть такая запись: «...Для того чтобы уловить, нужно иметь душу еврея» («Дружба народов», 1989, № 4). Душу еврея В.Гроссман имел, прекрасно знал и мастерски изображал в своих произведениях еврейскими мир. Русская же история и душа во многом оказались для писателя неразрешимой загадкой. Отсюда национально-ограниченный подход к изображению человека и времени в романе «Жизнь и судьба». Подход, важно отметить, непоследовательный, ибо периодически, локально эту национальную ограниченность Гроссману удаётся преодолеть, что принципиально отличает роман от однозначно русофобской повести «Всё течёт».

1988, 1996

Давид Самойлов: жизненные «слабости» и творчество.

Михаил Пришвин, рассуждая о соотношении образа жизни и творчества, акцент делал на качестве своего поведения как главном условии появления «прочных вещей». Независимо от Пришвина **Лидия Чуковская** в письме к **Давиду Самойлову** от 4-5 марта 1978 года утверждала, что «правильный образ жизни для каждого - свой» («Знамя», 2003, № 5). Сам Самойлов неоднократно размышлял на данную тему. Он не только отмечал собственную приверженность к удовольствиям, к «физической» жизни, но и считал, что эта «слабость» - единственное условие, позволяющее ему считать себя поэтом (письмо Л.Чуковской от середины августа 1979 года // «Знамя», 2003, № 6).

О том, что данная мысль не случайная, не проходная для Самойлова, свидетельствуют и другие его высказывания. Например, 5 сентября 1988 года он записал в дневнике: «Непостижимым образом недостатки поэтов переходят в достоинство их стиха - раболепство Державина, расхристанность Есенина, сдвинутость Бродского», (здесь и далее в статье подённые записи и дневники поэта цитируются по книге: Самойлов Д. Подённые записи: В 2 т. - М., 2002.)

Итак, нас будет интересовать жизнь Давида Самойлова, точнее, «слабости», которые он признавал и не признавал, и то, как они «проросли» в творчестве поэта.

«Евреи, выпьем скорее!» Этот тост Михаила Светлова, обращённый к Давиду Самойлову и Борису Гребанову, друзьям нравился. А ещё больше им нравилось пить... В Коктейль-холле, в ресторане ЦДЛ, «Арарате» и многих других местах.

В мемуарах Б.Гребанова «И память-снег летит и пасть не может» («Знамя», 2006, № 9) о пьянстве речь идёт, пожалуй, чаще, чем о чём-либо. Причиной тому - страсть к алкоголю и Д.Самойлова (главного героя воспоминаний), и его окружения. И если Б.Гребанов об этой страсти своих друзей говорит как о норме поведения или даже достоинстве, то А.Немзер, автор послесловия к книге Д.Самойлова «Поэмы» (М., 2005), данную тему применительно к герою своей статьи обходит стороной. Пьянство же вообще А.Немзер оценивает негативно, как, прежде всего, национально-русское явление.

Известно, что поводом к написанию поэмы Д.Самойлова «Канделябры» явилась дискуссия «Классика и мы». А.Немзер, как свидетель событий, в комментариях к поэме сообщает: «Наряду с самой обстановкой собрания в ЦДЛ, где по всегдашнему обычаю, независимо от идеологических поворотов, витал тяжёлый хмельной дух, верно примеченный в «Канделябрах» М.С. Харитоновым...» (Немзер А. Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. Поэмы. - М., 2005).

Критик понятно почему прошёл мимо, не заметил самого главного в высказывании Марка Харитонova, того, что делает неубедительной ссылку Немзера на него. Приведу эту часть суждения писателя, выделив разрядкой главное: «Я читал её (поэму «Канделябры». - Ю.П.) первый раз в состоянии сильного подпития, и мне показалось, что она именно об этом состоянии...» (Харитонов М. Стенография конца века. - М., 2002).

Хмельной дух, как явствует из поэмы, исходит от «чёрных поэтов» - так первоначально назвал своё произведение Д.Самойлов. А прототипами этих поэтов и непозтов, по версии Давида Самойлова, были Ст. Куняев, В.Кожин, П.Палиевский и другие «черносотенцы». Интересно, что в подённых записях и дневнике Самойлова названные и неназванные участники дискуссии - представители «русской партии» - пьяными в период с 1960-го по 1990-й годы не упоминаются вообще. Один раз встречается «полупьяный Куняев» (18 ноября 1968 г.), а о Кожине сказано следующее: «Неожиданно, спьяну, из ЦДЛ попал кКожину» (1 марта 1971 г.).

В подённых записях Д.Самойлова в этой - алкогольной - связи называются авторы официозного и лево-либерального направлений. Вот только некоторые из них: «С Тоомом дали большой загул» (28 ноября 1960 г.); «Вечером с В.Некрасовым, Изей, Лёлей Волинским, Сашей Лебедевым ужинали в ЦДЛ. Потом поехали кЖене Герасимову на рождение. Сильно пили, читали стихи» (5 ноября 1962 г.); «Пьяный старик Антокольский» (28 января 1963 г.); «Пьяный Наровчатов» (6 февраля 1963 г.); «Меня с Винокуровым встретила пьяная Белла. Заставила (?-Ю.П.) нас ехать к ней, покупать (?-Ю.П.) водку и пить (?-Ю.П.). <...> Даже стихи она читала вяло и всё рвалась пить» (12 января 1963 г.); «Он (М.Светлов. -Ю.П.) очень худ, небрит, пьян. Таков он всегда» (28 апреля 1963 г.); «Хмельные (Самойлов и Малдонис. - Ю.П.) отправились кМежелайтису допивать» (28 апреля 1963 г.); «День в тумане с Межелайтисом. <...> Эдуардас пьяный, добрый, потусторонний» (22 ноября 1963 г.); «Пьяный, милый, весёлый Фазиль Искандер» (3 марта 1972 г.); «Несчастный Кирсанов, пьяный, жалуется на жену, говорит о её любовнике, американском певце» (10 марта 1972 г.); «Потом - Якобсон. Тут уж мы напились» (8 июня 1973 г.) и т.д., и т.п.

Но, конечно, главный пьяница в записях Самойлова - он сам. Как следует из многочисленных свидетельств Давида Самойловича, в нём боролись два начала - желание «странного веселья» и осознание пагубности его. Образ жизни, который вёл поэт долгие годы, он называл самоубийством (запись от 19 февраля 1963 года). Но всё же страсть к алкоголю чаще всего брала верх. О последствиях судите сами: «Я спьяну и по ошибке обидел прогрессивного Анненского» (3 октября 1962 г.); «Во время последнего загула <...> творил немало чудес, а заодно потерял дневничок за несколько месяцев» (22 июня 1963 г.); «В Москве замелькало множество лиц. Четыре дня я пил. 26-го прилетела Галка. 30-го я снова был в Пярну» (3 сентября 1978 г.); «Весь день в загуле. Левада, Алёша Левинсон. Дальше все неясно» (25 ноября 1978 г.); «Два дня до приезда Гали провёл в кутеже...»; «Вообще все дни мелькало множество лиц, которых я забыл по пьяному делу» (28 мая 1980 г.); «Пил много. Где-то выступал с Костровым» (15 сентября 1980 г.)...

Насколько страсть к алкоголю, веселью определяла поведение Д.Самойлова, свидетельствует следующий эпизод. Для поэта Лидия Чуковская была эталоном человека, примером правильной и праведной жизни. Дружбу с ней Самойлов очень ценил, доверял ей самые заветные мысли, о чём свидетельствует их переписка. Однако в очередной приезд Давида Самойловича в Москву их встреча сорвалась из-за трёхдневного загула Самойлова и последовавшей срочной «эвакуации» в Пярну (вновь выручила прилетевшая жена Галина). Лидия Корнеевна отреагировала на этот случай с присущей ей прямотой: «Пропили Вы нашу встречу! А так хотелось и надо было повидаться! Но Вы предпочли «массированные встречи с друзьями»» («Знамя», 2003, № 6).

Избавиться от алкоголизма не помогли Самойлову и самые радикальные меры. В сентябре 1968 года Самойлов сообщает Борису Слуцкому, что лежит в наркологическом отделении института Сербского, где «отучают, и кажется, успешно, от алкоголизма». Более того, сам поэт прекрасно осознаёт, как далеко зашло дело, что без помощи медиков пить не бросит. Характерна просьба, адресованная Слуцкому: «Место своего пребывания я держу в секрете <...>. Так что и ты никому не говори, где я, а слухи опровергай» («Вопросы литературы», 1999, № 3). О лечении Д.Самойлова, если не ошибаюсь, не упоминает никто из друзей и недрузей поэта. Хорошо замаскировались, «разведчик» Самойлов и «политрук» Слуцкий...

Больше же всего в данном контексте удивляет то, какое значение придаёт количеству и качеству выпитого Давид Самойлов, с какой тщательностью он фиксирует «милые» подробности. Из всех возможных объяснений данному явлению мне наиболее вероятной видится ментальная версия (беру пример с АНемзера и других «левых»),

В свете сказанного неожиданной, немотивированной, вызывающей возражение выглядит поэтическая трактовка данной проблемы, зафиксированная в письме к Л.Чуковской от середины августа 1981 года:

Ушёл от иудеев, но не стал За то милее россиянам.

По-иудейски трезвым быть устал И по-русски пьяным.

(«Знамя», 2003, № 6)

Известно, как трепетно относился поэт к своей родословной, как грела Самойлова «маркитантская» линия её. Это нашло отражение не только в стихотворении «Маркитант», которое Б.Слуцкий называл лучшим, но и в записи от 14 января 1963 года: «И вообще где-то сидит во мне это странное веселье - не от французских ли кровей».

Думаю, «маркитантские», «французские» гены очевидно проявлялись в те моменты, когда Д.Самойлов делал следующие записи: «...Пили коньяк у меня до ночи» (11 декабря 1962 г.); «...Пили пиво, палинку и вино» (23 ноября 1964 г.); «После вечера у нас пили коньяк Гелескул, Саша, Гутман» (23 ноября 1983 г.); «Пили виски» (20 июня 1983 г.); «После вечера - шампанское за сценой...» (31 мая 1987 г.); «Карабчиевский подошёл с водкой» (7 августа 1987 г.); «Вечером Э.Графов принёс две бутылки водки» (3 марта 1988 г.); «Захарченя с двумя бутылками вина» (19 мая 1988 г.); «В обед Танич угостил скверным коньяком» (18 апреля 1989 г.) и т.д.

При всей иронии, самоиронии, эксцентричности стихотворения «Маркитант», реалии его не дают основания для столь свободного прочтения, которое демонстрирует в статье «Путь оттуда» Станислав Рассадин. Приведу, на мой взгляд, итоговое размышление критика, которое венчает риторический вопрос: «Полуёрническая свобода бродяги Фердинанда, его свобода от Бонапартовых коронационных забот - не есть ли весело-серьёзный перефраз свободы творческой, понимаемой как раз по-пушкински?» (Рассадин Ст. Голос из арьергарда: Портреты. Полемика. Предпочтения. Постсоцреализм. - М., 2007).

Непонятно, о какой свободе Фердинанда говорит Ст. Рассадин. Ведь вся его деятельность, торговля, успех связаны с Бонапартом и его войском. Поэтому поражение французов в России и вызывает естественную реакцию «печали» у маркитанта. И эту зависимость фердинандов как явления от войска, от успешного - всё равно какого - войска прекрасно понимает Давид Самойлов, что выражает соответственно:

Я б хотел быть маркитантом

При огромном свежемвойске(разрядка моя. -Ю.П.).

«Фердинандова натура» Самойлова проявляется и в другом: в том, как оцениваются отношения между людьми, между мужчиной и женщиной, отношения, построенные по принципу «купли-про-дажи». В автобиографической поэме «Ближние страны» лирический герой, советский солдат в побеждённой Германии, спит с «неплохой девчонкой» немкой Инге. Спит, как несколько раз с иронией сообщается, потому что «Инге нравится русская водка», тушёнка, сало, масло. Здесь же, между прочим, говорится, что у Инге есть жених, «молодой букинист из Потсдама», который с сарказмом изображается автором.

«Левые» критики называют Д.Самойлова продолжателем пушкинской традиции, учитывая при этом его частое оглядывание на «наше всё». На фоне всеразъедающей иронии разного качества, отсутствия традиционной иерархии духовно-нравственных ценностей, что, собственно, и отличает «Ближние страны», все эти разговоры - мыльные пузыри, наукообразное словоблудие. (Смотрите, например, раздел о поэте в вузовском учебнике Н.Лейдермана и М.Ли-повецкого «Современная русская литература: 1950-1990-е годы». - М., 2003.) Уж если и следует неким традициям в этом произведении Самойлов, то модернистским традициям, М.Цветаевой, прежде всего. Надпись героя «Фройлен Инге! Любите солдат, // Всех, что будут у вас на постое», весь пафос «Ближних стран» сродни цветаевским идеалам «Поэмы Горы», в частности, её завету: «Пока можешь ещё - греши».

Александр Давыдов, сын Д.Самойлова, не согласен с мнением Александра Солженицына, который утверждал, что поэт был «достаточно благополучен материально всю жизнь» («Новый мир»,

2003, № 6). Давыдов убеждён: Самойлов «жил весьма скромно, что вполне отражено и в мемуарах, и в дневниках» («Новый мир»,

2004, № 1).

Конечно, «скромность», «материальный достаток» - понятия во многом относительные. Если брать за точку отсчёта благосостояние большинства советских людей, то, думаю, АСолженицын прав. Приведу примеры из мемуаров, чего не делает Александр Исаевич и к чему призывает А.Давыдов. Обратимся к воспоминаниям друга поэта Б.Грибанова «И память-снег летит и пасть не может» («Знамя», 2006, № 9).

В конце 40-х годов молодая жена Самойлова Ляля Фогельсон, студентка искусствоведческого отделения, «переутомилась с учёбой», и её отец Лазарь Израилевич дал деньги на поездку в Сочи. Примечательно, что сопровождал Лялю не муж, а богатый поклонник Яков Кронрод, доктор наук, экономист и т.д. Какие функции тот выполнял, остаётся догадываться...

Нестандартная ситуация получила и нестандартное продолжение. После возвращения Ляли отдыхать был отправлен Давид, правда, уже в Минеральные Воды. Вспыхнувший здесь роман с «танцовкой» потребовал столько денег, что Самойлову пришлось продать и золотые часы, подаренные тестем. После возвращения в Москву ситуация была легко исправлена. По словам Грибанова, Самойлов получил «небольшой перевод» (не уточняется, от кого) и купил себе такие же золотые часы.

Вообще, Б.Грибанов, как и Д.Самойлов в подённых записях, много говорит о скудости, бедности жизни и в качестве своеобразного подтверждения приводит эпиграмму своего друга: Не та беда, Борис Грибанов, Что родился ты не от панов, Что вполовину ты еврей

И чином не архиерей,

Что слава - ветхая заплата.

Беда, что денег маловато.

Однако такое количество денег не мешало Грибанову после окончания работы соблюдать следующий ритуал: «Я шёл пешком, минуя улицу Горького, где находился Коктейль-холл, и заглядывал туда, зная точно, что обязательно застану там, несмотря на позднее ночное время, кого-нибудь из друзей или просто знакомых».

Оказывается, в «страшные годы сталинщины» «бедные» поэты могли себе позволять такое и не только такое. Как-то зав. производством Коктейль-холла обратился к Грибанову и Самойлову с просьбой покрыть недостачу в момент неожиданно появившейся ревизии. «На его везение, мы в тот день были при деньгах и, не говоря ни слова, выдали требуемую сумму». В другой главе, «Инопланетянин из Парижа», сообщается, что, помимо ресторана ЦДЛ, излюбленным местом обедов друзей было кафе «Арабат», где «подавали великолепную форель, доставляемую самолётами с Севана», «восхитительные чебуреки».

Вообще, как следует из подённых записей самого Самойлова, его слабость - это долгие трапезы, обеды на полдня с обильным употреблением спиртного, обеды, периодически переходящие в загулы.

Правда, иногда, во время первого брака, Д.Самойлову приходилось обедать в кругу семьи. Как это происходило на даче у тестя поэта, рассказывает в «Лейтенантах и маркитантах» Станислав Куняев: «Приехав в Мамонтовку в первый раз (кажется, в том же 1960 году), я поразился обширности сада, архитектуре и изысканности самой дачи, обильности угощения, которым хозяева встречали гостей, и главное, атмосфере - смеху, веселью и какому-то особенному устоявшемуся пониманию друг друга, конечно, с полуслова, а также обилию разнообразной выпивки <...>.

Конечно, такие застолья, сохранявшиеся несмотря на все тяготы эпохи, можно было устраивать, имея немалые деньги...» («Наш современник», 2007, № 9).

Естественно, материальные проблемы у Самойлова периодически возникали по разным причинам. И в не последнюю очередь потому, что жил он на широкую ногу, часто тратя деньги, мягко говоря, не на семью. Так, 20 ноября 1962 года Давид Самойлов делает такую запись: «Весь вечер провозился с пьяным ничтожеством Светом Придворовым. Это грубая, глупая, запойная скотина. Жена его, цыганка Вера, беззаботна и мила, как птица. Из-за неё я и таскался с ним.

Домой прибрёл ночью, прогуляв деньги, нужные весьма».

Следует помнить и о том, что Д.Самойлов, в отличие от многих действительно бедствовавших поэтов, большую часть жизни-творчества, по его выражению, «шабашил переводами» (Письмо П.Горелику от 12 июня 1967 г. // «Нева», 1998, № 9). Деньги за них платили приличные, а у «кормушки» находились друзья либо «свои». Данный факт Давид Самойлов особо не скрывал, о чём писал не раз. Например, 23 января 1970 года он сообщает другу Петру Горелику: «Грибанов сейчас становится зав. редакцией «Всемирной литературы». Переводить для него одно удовольствие - тираж 300 000...» («Нева», 1998, №9).

И что бы ни говорил о своей бедности Д.Самойлов, что бы ни писали о его нищете мемуаристы и критики, для меня помимо жизни на широкую ногу показателем его благосостояния являются следующие факты. В отличие от многих писателей от Н.Рубцова до В.Белова, долгое время не имевших своего жилья, у Давида Самойлова была родовая квартира. Вот как она выглядела со слов Станислава Куняева: «Квартира Самойловых, в которую я вошёл в сопровождении радушного и слегка хмельного с утра хозяина, показалась мне необъятной - многокомнатной, с высоченными, потемневшими от времени потолками, украшенными то ли виньетками, то ли барельефами» («Наш современник», 2007, № 9). В январе 1976 года Самойлов купил дом в Пярну. 20 ноября 1976 года он записал: «Меня, кажется, лишают квартиры за общение с А.Д. Сахаровым в публичном месте (ЦДЛ)». Не только не лишили, а дали пятикомнатную квартиру в Москве. Эта немаловажная деталь в подённых записях и в комментариях к ним, конечно, умалчивается.

Предвижу, какие контраргументы последуют, поэтому продолжу. Не менее показательны условия жизни, созданные Д.Самойловым для второй жены, Галины. В конце февраля 1978 года он сообщает Лидии Чуковской: «Но здесь ей (Гале. -Ю.П.) полегче: приходит каждый день уборщица и два раза в неделю потрясающая повараха <...>. Это означает для Гали, что она может осуществить свой принцип - ни дня без книги - и прочитывать по своей привычке книгу за вечер» («Знамя», 2003, № 5).

Всё это очень напоминает другую историю, напоминает несоответствием между самохарактеристиками и конечным результатом, в том числе материальным.

Не знаю, почему Д.Самойлову пришли в голову столь мрачные, фантастические мысли, которые он зафиксировал 10 февраля 1985 года: «Я настолько никому неинтересен из властей предрежащих, что и бить-то меня, скорее всего, не станут. Просто так задушат».

Я представляю, как порезвились бы, комментируя эту запись, наши «смехачи» от В.Бушина до Б.Сарнова. Но я - человек, напрочь лишённый одесского чувства юмора, продолжу. Самойлов, видимо, надышавшись перестроечных паров, 12 апреля 1987 года делает очередную неожиданную и загадочную запись: «Не сказать ли мне на вечере в ЦДЛ речь, после которой меня закроют?»

Через год с небольшим вместо «закрытия» Давид Самойлов получил Государственную премию СССР!!!

Как следует из записи от 23 декабря 1987 года, данный результат обеспечен во многом стараниями Игоря Васильева. Он характеризуется поэтом так «Это умный, порядочный, опытный чиновник от культуры. Ко мне у него осталось тёплое чувство с ифлийских времён». Так неожиданно, с подачи самого Самойлова, в очередной раз подтвердилась версия Станислава Куняева об ифлийцах, версия, которую Давид Самойлович произвольно изложил в интервью с говорящим названием «Суетливость не пристала настоящим мастерам» («Юность», 1990, № 9). Кто поспособствовал «настоящему мастеру» семью годами раньше, когда он получил орден Дружбы народов, не уточняется.

Александр Солженицын в статье «Давид Самойлов» утверждает, что еврейская тема в стихах поэта полностью отсутствует («Новый мир», 2003, № 6). Сын Самойлова Александр Давыдов с мнением Солженицына не согласен и в своём ответе писателю («Свои - чужие» // «Новый мир», 2004, № 1) называет стихотворения, в которых звучит еврейская тема, - «Двое», «Еврейское неистребимо семья...», «Девочка». К ним, конечно, нужно добавить поэму «Канделябры». Она, как следует из записи Д.Самойлова от 19 февраля 1978 года, своеобразный отклик на известную дискуссию «Классика и мы», отклик, прежде всего, на якобы антисемитские выступления П.Палиевского, Ст. Куняева, В.Кожина. О самой дискуссии и о волнующей Самойлова проблеме мне уже приходилось писать («Наш современник», 2007, № 12), поэтому ограничусь лишь констатацией абсурдности данного обвинения.

Вообще же, очевидно несоответствие между минимально видимым наличием еврейской темы в творчестве поэта и тем большим местом, которое она занимает в мыслях, оценках, жизни Давида Самойлова. Эту «слабость» он, в отличие от других слабостей, не озвучивал.

Меньше чем за два года до смерти Самойлов о своём еврействе писал следующее: «Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: «Шема исроэл, адэной элэхейну, адэной эход». Единственное, что я запомнил из своего еврейства» (4 июня 1988 г.).

Это высказывание поэта, казалось бы, закрывает тему еврейства Давида Самойлова и одновременно свидетельствует, что данная тема не случайна. Мысль о газовой камере может прийти только в голову человека, осознающего своё еврейство. И действительно, во многих жизненных и творческих проявлениях Самойлов был евреем. О некоторых из них обстоятельно и тонко сказал Станислав Куняев в статье «Лейтенанты и маркитанты» («Наш современник», 2007, № 9).

Долгое время еврейское и советское начала существовали в Самойлове диффузно-неразрывно. Одно из подтверждений тому - поэма «Соломончик Портной. Краткое жизнеописание». Созданная в конце сороковых годов, она впервые была опубликована в 2005 году. И естественно, что эта поэма выпала из поля зрения исследователей литературы. Лишь Андрей Немзер кратко и предельно вольно прокомментировал её в послесловии к книге Д.Самойлова «Поэмы» (М., 2005).

«Соломончик Портной» дал мне ответ на вопрос, откуда у Самойлова такая ненависть к В.Катаеву? Природу сей ненависти я долгое время не мог до конца понять. Ведь Валентин Петрович - первый главный редактор «Юности», журнала, среди работников которого евреев было, по словам Мэри Озеровой, «слишком много» (данное свидетельство взято из «Книги прощаний» Ст. Рассадина). Все известные «звёздные» мальчики от прозы и поэзии вошли в литературу с лёгкой руки В.Катаева, и, более того, он сразу - по первым публикациям - записал их в «русские гении», которыми они ошибочно значатся до сих пор.

Конечно, предвижу такое объяснение: Давиду Самойлову, наследнику пушкинской традиции, была чужда «мовистская» проза В.Катаева. Однако явное отторжение началось с романа «Алмазный мой венец» и повести «Уже написан Вертер». Почему предыдущие «мовистские» вещи («Маленькая железная дверь в стене», «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах») не вызвали подобной реакции?

Частично ответ лежит на поверхности. В письме к Л.Чуковской (начало августа 1980 года) Самойлов оценивает «Гамаюн» В.Орлова как «хорошую и полезную» книгу (книгу на самом деле очень слабую, написанную непрофессионально с ортодоксально-коммунистических, атеистических, антирусских позиций) и параллельно как «преотвратнук» - повесть В.Катаева «Уже написан Вертер» («Знамя», 2003, № 6). Лидия Корнеевна поняла Самойлова без его объяснений, и в ответном письме (9 августа 1980 года) среди её убийственных характеристик, данных Катаеву, затесалось одно слово, которое многое объясняет в восприятии обоих корреспондентов. Это слово «антисемитничает».

Довольно часто критику в адрес евреев Д.Самойлов воспринимал как проявление антисемитизма и даже фашизма. Так выступления П.Палиевского, Ст. Куняева, В.Кожина в дискуссии «Классика и мы» оцениваются им как антисемитские (запись от 19 февраля 1978

года), а «Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, - фашист» (Самойлов Д. Проза поэта. - М., 2001). Согласно этой логике, в разряд преотвратных, антисемитских книг попала и повесть «Уже написан Вертер» (1980), в которой В.Катаев изобразил евреев- чекистов не героями, а палачами...

Интересно, что сам Самойлов позволял себе многократные резкие высказывания о евреях, евреях-писателях, в первую очередь. И, естественно, в этом Давид Самойлов проявления антисемитизма, фашизма не видел. Приведу три цитаты из подённых записей: «Вся мать лезла и вопила с яростью. Слово «талант» оказалось бранным. Хуже всех был искренний еврей Константин Финн» (18 марта 1963); «Саша Межиров - сумасшедший, свихнувшийся на зависти и ненависти к Ефтушенко <...>. Нет человека отвратительней Межинова, хотя редко он конкретно приносит зло. Он - осуществление вечного зла» (23 мая 1973 г.); «Ожог» Аксёнова - бунт пьяных сперматозоидов» (17 июня 1981 г.).

Вторая причина резко-отрицательного восприятия Д.Самойловым повести В.Катаева - совпадение её с собственной поэмой «Соломончик Портной» по типу героя и принципиальная разница в отношении к нему.

В этой поэме поражает, в первую очередь, то, насколько несамостоятельным как поэт, как эпик был Давид Самойлов в данный период. Все расхожие штампы своего времени в восприятии событий первых двадцати пяти лет советской власти он не просто художественно убого воплотил, но и довёл некоторые из них до полного абсурда.

Понятно, почему Андрей Немзер так неохотно цитирует поэму, выбирая в двух из трёх случаев самые идеологически нейтральные строфы. Ибо всё остальное настолько примитивно и по мысли, и по форме, что и комментарии не требуются. Судите сами: И пришёл благородный Огонь Октября. И воздвигся народный Гнев на бар и царя. И поднялся со всеми Соломончик Портной На змеиную семью, Ради власти родной.

В тех же местах поэмы, где автор оригинален, что сразу чувствуется, к нему возникают вопросы.

Во-первых, зачем в годы гражданской войны Соломончик «отучился картавить // На проклятое эр»? Из-за боязни всё того же русского антисемитизма? Так в стране картавили широко и без боязни (сразу же после революции была принята соответствующая статья, по которой евреев-ненавистники карались расстрелом) и руководители государства, и чекисты-революционеры на местах. Среди последних пришлось потрудиться Соломончику, о чём в поэме сказано коротко:

Он ходил с продотрядом Потрошить кулачье.

Подробности этого «потрошения» те, кто забыл, смотрите в поэме Э.Багрицкого «Дума про Опанаса». И если автор «Думы...», «честный представитель одесской нации», за убийства мирных крестьян возводит комиссара Когана в ранг героя, то Давид Самойлов за эти и другие «заслуги» наделяет Соломончика «скромным» званием «сына России».

Во-вторых, не ставлю под сомнение таланты героя, но не слишком ли много он успел сделать с момента окончания гражданской войны до смерти Ленина?

Он служил в агитпропе И работал в ЧК Колесил(?!!- Ю.П.) по Европе И стоял у станка.

Он кидался в прорывы(это какой язык? -Ю.П.), Шёл сквозь стужу и зной.

Я, конечно, понимаю, что Соломончик, как говорится в поэме, «самый идейный», «самый железный», «самый бесстрашный», но всё же, всё же...

В-третьих, откуда вдруг у Самойлова применительно к революционеру-интернационалисту, «сыну России», в момент смерти героя возникает мысль о Палестине? Сами понимаете, откуда... Та «зараза», о которой писал Б.Слуцкий в известном стихотворении, естественно проявилась.

Итак, первая же попытка «поднятия» еврейской темы закончилась для Самойлова провалом. Думаю, он сам это прекрасно понимал. Вторую, эпическую попытку, поэму «Канделябры»,

ожидал подобный итог. Реализация же национального начала происходила у Самойлова, на мой взгляд, в следующих направлениях.

Первое направление - бытовое, «физическая» жизнь с лёгкой приправой полутворчества: с шутками, эпиграммами, экспромтами такого толка, как, например, ответ Д.Самойлова на уже приводившийся тост М.Светлова: «Евреи, // Выпьем скорее!» - «Расширим сосуды, // Содвинем их разом». Однако и здесь он, видимо, не дотягивал до мастеров еврейского жанра, Юрия Левитанского, в частности: А это кто же? - Слуцкий Боба, А это кто? - Самойлов Дезик, И рыжие мы с Бобой оба, И свой у каждого обрезик.

Если раньше - в годы «сталинщины» и «застоя» - подобные «штучки» звучали в специфических компаниях, в кабаках и т.д., то теперь эти пошлости - один из главных китов телевидения и «Русского радио» (понимаю, шутки ради так его называли). Более того, за сей «тяжёлый» труд Государственные и прочие премии дают, в советники по культуре назначают и гениями обзывают. А если случится у такого «смехача» неприятность, джип угонят, например, то все каналы телевидения эту новость обсуждают, вся страна эту «трагедию» переживает и джип, конечно, возвращают «бедному» владельцу. У Давида Самойлова джипа не было, он, напомним, имел «всего лишь» дом в Пярну и пятикомнатную квартиру в Москве.

Еврейская тема открыто воплощается у Давида Самойлова в подённых записях, дневнике, прозе поэта, где содержится немало разнонаправленных суждений. Интересных и банальных, спорных и бесспорных.

Из некоторых высказываний Самойлова следует, что национально окрашенная добавка к слову «еврей» в виде прилагательных русский, французский и других - это сезонная одежда, цвет кожи, определяемый страной проживания. Так, 9 июля 1978 года поэт записывает: «Еврей-эмигрант перестаёт быть русским, как только покидает Россию. Он становится немецким, французским или американским евреем родом из России». В этом контексте нелогично, неубедительно звучит идея Самойлова о еврейской привилегии выбора нации. Ибо, по сути, такого выбора нет: еврей всегда остаётся евреем, а всё остальное - только внешние, формальные условности.

Полемизируя с сионистами, космополитами, еврейскими диссидентами, Д.Самойлов высказывает не менее неожиданную мысль: «Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу» (9 июля 1978 г.). Однако сам поэт, как следует из его многочисленных признаний, собственную свободу ставил выше любых обязанностей. Поэтому и не только поэтому естественен вопрос: был ли Самойлов русским человеком и русским писателем, каковым он называет себя в уже приведённой записи от 4 июня 1988 года?

Давид Самойлов - советский еврей, человек, в котором определяющая национальная составляющая тесно переплетена с советским началом, со всеми отсюда вытекающими названными и неназванными последствиями.

«Соломончик Портной», «Ближние страны», «Сон о Ганнибале», «Маркитант», «Канделябры» - это произведения русскоязычной литературы. Творчество же Давида Самойлова в целом - большая тема отдельной статьи. Предваряя её и заканчивая эти заметки, кратко скажу ещё об одной жизненной «слабости» поэта, которая напрямую связана с его творчеством.

В мемуарах Б.Грибанова много и подробно говорится об отношениях Самойлова с женщинами. Одна из глав названа символично «Поэт, влюблённый в женщин». К данной теме - с противоположных, традиционно-русских позиций - обращается и Ст. Куняев в «Лейтенантах и маркитантах», где он говорит, прежде всего, о романе Самойлова со Светланой Аллилуевой. Немало следов многочисленных «любовей» поэта в его подённых записях.

Опуская подробности, скажу общо. Любовь и Давид Самойлов - «понятия» несовместимые (исключением, видимо, является один случай). Несовместимые, в первую очередь, по двум причинам.

Первая причина - особый взгляд на женщину и любовь, суть которого он сам изложил так «Любить умеют только заурядные женщины или мужчины, о которых говорят, что они лишены характера. Всё остальное - борьба, а это значит - рабство» (18 ноября 1961 г.); «Женщина по природе телесна. Духовность в ней факультативна или признак вырождения» (1 июля 1986 г.).

Вторая причина - особенности личности Давида Самойлова, «слабости», которые он точно определил сам: «Я чудовищно люблю баб - и всех без разбора» (19 декабря 1962 г.); «Радости отношений во мне нет. Ибо отношения требуют обязательств. А каждое обязательство для меня тяжело, оно урывает нечто от внутренней свободы, необходимой для писания <...>. Радость общения - влюблённость. Радость отношений - любовь. Я влюблён почти всегда, и почти никогда - люблю» (28 ноября 1962 г.).

У Бориса Слуцкого, большого русского поэта, есть стихотворение, которое всем пафосом своим и отдельными строчками направлено (конечно, невольно) против жизненных принципов дру- га-антипода Давида Самойлова. У последнего, думаю, нет стихотворений, которые можно было поставить в один ряд с этим. Женаумирала и умерла - в последний раз на меня поглядела, - и стали надолго мои дела, до них мне больше не было дела. Я был кругом виноват, а Таня мне всё же нежно сказала: - Прости! -

почти в последней точке скитания по долгому

мучающему пути.

Мужья со своими делами, нервами,

чувством долга, чувством вины

должны умирать первыми, первыми,

вторыми они умирать не должны.

Вопрос о соотношении жизни и творчества Давид Самойлов только в одном случае трактует с позиций традиционных ценностей. Трактует принципиально иначе, чем в приводимых в начале статьи его высказываниях. Он, констатируя своё всегдашнее одиночество, пьянство и блуд, отсутствие «проникновенных отношений» с женщинами, делает такой вывод: «И уже бессильный и растрченный пришёл к стихам, которых написать не смогу» (25 сентября 1964 г.). Написать, конечно, смог, но суть не в этом.

Жизненные «слабости» - не препятствие для творчества. Но они - непреодолённые, возведённые в норму или идеал - обязательно оставят мертвецкий отпечаток на таланте любого уровня. И этот талант будет лишён главного - боли, сострадания, любви.

2008

Дина Рубина: портрет на фоне русскоязычных писателей и Франца Кафки.

8 октября 1911 года Франц Кафка так размышлял о сокровенном в своём дневнике: «Хочется узнать и еврейскую тему, которой, оче-видно, предписана постоянная национальная боевая позиция, оп-ределяющая каждое произведение. То есть позиция, которой не об-ладает в такой всеобщей форме ни одна (разрядка моя. - Ю.П.) литература, даже литература самых угнетённых народов» (здесь и далее цитирую по книге: Кафка Ф. Дневники 1910-1923. Путевые заметки. Письма отцу. Завещание. - М., 2005). Еврейская «боевая по-зиция» отличает и многих современных авторов: Дину Рубину, Людмилу Улицкую, Дмитрия Быкова, Игоря Ефимова (лауреаты и финалисты «Большой книги» за 2007 год), Василия Аксёнова, Фри-дриха Горенштейна и многих других представителей русскоязыч-ной словесности.

Названные и неназванные авторы по-разному отвечают на во-прос о своей литературной прописке. При этом лишь иногда затра-гивается тема, которая чаще всего не артикулируется, но всегда не-зримо присутствует как подводная часть айсберга. Дина Рубина, на-пример, в беседе с Инной Найдис так определяет понятие «еврей-ская литература»: «Условно говоря - та литература, в фокусе кото-рой находится еврейское мироощущение, еврейский психофизи-ческий тип со всеми достоинствами, пороками и той неуловимой, но абсолютно реальной субстанцией, которую мы именуем еврей-ской душой, я готова называть еврейской литературой» (Рубина Д. На Верхней Масловке. - М., 2007). А как следует из признания Руби-ной, сделанного в другом интервью, она - еврейский писатель (<http://www.dinarubina.com/interview/booknik> 2007. html).

Однако в некоторых высказываниях Дины Ильиничны эта опре-делённость исчезает, либо появляются иные версии её литератур- но-национальной принадлежности. Вопрос Наталии Клевакиной: «Вы относите себя к русской или мировой еврейской литературе?» остаётся, по сути, без ответа («Литературная Россия», 2007, № 38). Рубина, мыслящая, как правило, чётко -логически, в данном случае позволяет себе образную неопределённость: «Знаете, я люблю ме-нять компании. В любой хорошей компании я чувствую себя одина-ково уютно».

На вопрос же Александра Яковлева, сформулированный прин-ципиально иначе: «А все-таки, чей Вы по преимуществу писатель: российский или израильский?» (то есть в вопросе определяющим становится не национальный, а государственный критерий), - Ди-на Рубина ответила так «Писатель я, конечно же, русский» («Литера-турная газета», 2008, № 2). Эта новая литературная самоидентифи-кация Рубиной легко объяснима.

Во-первых, она давала интервью вскоре после получения треть-ей премии «Большой книги», которую ей вручили вроде бы не как еврейскому писателю. Во-вторых, в данном интервью Дина Ильи-нична мыслит в совсем иной системе ценностных координат, не-жели при характеристике еврейской литературы. Писательница, как и все русскоязычные авторы в подобных случаях, говорит о сво-ей принадлежности к русскому языку, а также о большей, чем в дру-гих странах мира, тиражной востребованности в России.

Понятно, что такие доказательства «русскости» звучат неубеди-тельно. Их логика и смысл сродни трактовке судьбы Григория Свирского в книге Якова Рабиновича «Быть евреем в

России: спаси-бо Солженицыну» (М., 2005). Как следует из заявления Свирского, поданного в Союз писателей СССР, непечатание его произведений и невключение его фамилии в Литературную энциклопедию яви-лось для него, «человека русской культуры», «российского писате-ля», основанием ощутить себя евреем и захотеть стать израильским писателем.

Как видим, для Рубиной, Свирского «русское», «российское» - понятия формальные, измеряемые успехом, выгодой, языком... Это, в первую очередь, отличает русскоязычных авторов от русских. По-следним сама мысль о перемене национального имени не может прийти в голову. Жизненные обстоятельства (непечатание, нищета, травля, лагерь и тому подобное) не имеют в данном случае никакого-го значения.

«Еврейскость» же Дина Рубина и Григорий Свирский восприни-мают по-разному. Для первой это понятие сущностное, для второго - внешнее, хамелеонское...

Итак, приведённые примеры свидетельствуют, что самооценка не способна прояснить национальный вопрос, а чаще только его затуманивает. Поэтому более продуктивно выяснять националь-ную «прописку» писателя через его творчество, в частности, через отсутствие или наличие того «заряда», о котором говорил Франц Кафка. Это мы и сделаем на примере прозы и публицистики Дины Рубиной.

«Джаз-банд на Карловом мосту» - одно из самых откровенных произведений писательницы на еврейскую тему. Это рассказ о Пра-ге, символом которой для автора являются два еврея - раввин Иегу- да Лёв Бен-Бецалель и Франц Кафка. Основная сюжетная линия представляет собой монтаж из переписки Франца Кафки, Милены Есенской и Макса Брода. Главный герой рассказа Кафка нужен Ру- биной прежде всего для того, чтобы высказать своё сокровенное, еврейское.

Суть различных свидетельств и оценок Есенской, приводимых в произведении, сводится к тому, что Кафка и только Кафка обладал «абсолютно безоговорочной тягой к совершенству, к чистоте и правде», он был единственным здоровым человеком в больном че-ловечестве. Эти и им подобные характеристики, сомнительные во всех отношениях, писательницей даются как аксиомы. И, думаю, большинство читателей невольно примут сторону Есенской, сто-рону Дины Рубиной.

Миф о здоровом и чистом Кафке вступает в противоречие с те-ми эпизодами из его жизни, которые фигурируют в рассказе. Гряз- но-похотливые встречи с продавщицей или случай с нищенкой (ей Кафка дал две кроны милостыни и в течение двух минут пытался получить одну крону обратно) не работают на образ, создаваемый Рубиной.

Вообще при чтении рассказа не раз возникает мысль, что тебя держат за дурака. Опуская многочисленные подробности из «гряз-ной» жизни Кафки, не вошедшие в «Джаз-банд на Карловом мосту», приведу лишь его признание, сделанное в период любви к Фелице Бауэр. 19 ноября 1913 года Франц Кафка записывает в дневнике: «Я нарочно хожу по улицам, где есть проститутки. Когда я прохожу мимо них, меня возбуждает эта далёкая, но тем не менее существу-ющая возможность пойти к одной из них. Это вульгарно? Но я не знаю ничего лучшего, и такой поступок кажется мне, в сущности, невинным и почти не заставляет меня каяться. Только хочу я тол-стых, пожилых...». Для непосвящённых уточню: хотение «самого чи-стого» человека периодически реализовывалось на «практике». На-пример, 2 июня 1916 года Кафка констатирует в дневнике: за про-шедший год «девушек» «было не меньше шести».

О взаимоотношениях же Кафки, Есенской и её мужа в рассказе Рубиной говорится: «Не так уж долго длился этот странный хруп-кий роман, мучительный любовный треугольник, в который поми-мо воли был, как в тюрьму, заключён болезненно щепетильный Кафка». Однако его щепетильность, думаю, сильно преувеличена автором рассказа. Когда в жизни Макса Брода возникла подобная ситуация (он не мог выбрать между женой и любовницей Эмми Зальветер), Кафка предложил другу в письме от 16 августа 1921 го-да такой выход - «жить втроём». Выход столь популярный у боль-ных детей XX века: Цветаевых, Маяковских, Бриков, Пастернаков и многих, многих других.

Неслиянность Кафки с окружающим миром, страх перед ним - это, по Рубиной, «космическое предчувствие» демонизма, фашизма, холокоста. Сия фантастическая, сверхнадуманная версия

вызывает удивление, умиление, в первую очередь, потому, что Кафка очень подробно изложил в «Письме к отцу» причины своей особенности, своих фобий, своей трагедии. Данный источник, конечно, игнорирует-ся Диной Рубиной, ибо в нём первопричиной всех бед, неудач писателя называется его отец.

Для автора рассказа «Джаз-банд на Карловом мосту» судьба Кафки и его родственников - прежде всего повод для вынесения приговора «благословенной культурнейшей Европе». Приговора, звучащего дважды - в связи с еврейскими жертвами Второй мировой войны и современными событиями на Ближнем Востоке. Последние оцениваются Рубиной вновь неожиданно-ожидаемо. Якобы проарабская позиция Франции и Германии, интеллектуалов Италии в «очередной войне» между Израилем и Палестиной вызывает у писательницы такую реакцию: «Старая шлюха Европа осталась верна своей антисемитской истории».

Нет смысла комментировать эту в высшей степени предвзятую и оскорбительную точку зрения. Замечу лишь, что Рубина, как и многие другие, страдающие подобным недугом, видит только своё. Видит несколько сгоревших синагог во Франции и не видит, скажем, в сотни раз большее количество разрушенных православных храмов в Косово, не видит трагедию сербов, палестинцев, иракцев и многих других народов. Поэтому и резкие высказывания Рубиной, например, в адрес США, Израйля, Англии, косоваров в принципе не-возможны.

Понятно и другое: национальный эгоцентризм писательницы не имеет никакого отношения к традициям русской литературы. Периодически своей концентрацией он просто ошеломяет. Так, старинное еврейское кладбище в Праге видится Рубиной «великой армией отмщения», которая в час явления Спасителя «встанет за плечами моего народа». Эта идея мести, корнями уходящая в Ветхий Завет, созвучна многим авторам, ошибочно приписываемым к русской литературе.

Книга «В Израиль и обратно» (М., 2004), изданная «при содействии учебно-воспитательного центра «Бейт-Агنون», показательна в данном отношении. Её авторы - Михаил Айзенберг, Василий Аксёнов, Андрей Арьев, Андрей Битов, Анатолий Найман, Валерий Попов, Людмила Улицкая - по предложению Еврейского агентства в России последнюю неделю декабря 2003 года провели в Израиле, где представляли русскую литературу. Их впечатления от поездки, отрывки произведений на еврейскую тему, интервью и составляют содержание книги.

Она просто пропитана ветхозаветным мироотношением, идеей тотальной мести, ненавистью к врагам Израйля и евреев вообще, а также к тем, кто по разным причинам автоматически попадает в сей список. Это, в первую очередь, носители христианских ценностей. Как утверждает в беседе с Анатолием Найманом один из авторитетнейших еврейских мыслителей Исайя Берлин: «Нельзя не быть ан-тисемитом, если вы верите в Евангелие, это невозможно». Во-вторых, врагами евреев считаются люди, ориентирующиеся на традиционные ценности, рудиментом которых, по мнению Якова Рабиновича и не его одного, является бытовой антисемитизм (Рабинович Я. Быть евреем в России: спасибо Солженицыну. - М., 2004).

Легко догадаться, какая судьба уготована этим «грешникам». Василий Аксёнов, например, завершает своё эссе «Люди и демоны» строчками из стихотворения Ивана Трунина. Он, по мнению Аксёнова, точно уловил «сдержанный пафос Израйля»: ..И вот именно здесь

Я вновь чувствую, что это всё не игрушки, что не сегодня - завтра отвечать придётся по полной,

то есть Ветхозаветной мере...

Ответ арабам Василий Аксёнов называет «точечными ударами», «акциями возмездия», что, как известно, принято в цивилизованном - подлом - мире. Удивительно другое: эти акции - преступления, уносящие жизни мирных детей, женщин, стариков, - наш русско-язычный гуманист связывает с христианской нравственностью.

Ещё более откровенен и воинственен в очерке «Коэффициент государства» Анатолий Найман. Он утверждает, что бой - единственный достойный ответ исламистам. И такой ответ должен дать весь Западный мир, Россия, в частности. Её Найман явно не жалует и, как ветхозаветный пророк, вещает: «Если Россия предпочитает не принадлежать ему (Западному миру. - Ю.П.),

это значит, она предпочтёт принадлежать магометанству. И не в виде равноправных обращённых, а в виде принявших его по принуждению или из выгоды, таких, которым никогда не будет доверия».

Вообще книга «В Израиль и обратно» напомнила об ушедшем, хорошо знакомом, напомнила худшие образцы социалистического реализма. То есть русскоязычные авторы из России пишут об Израиле и его жителях как об идеальных людях в идеальной стране. Если же происходят какие-то отклонения от нормы, то всему виной, как свидетельствуют В.Попов, А.Найман, ещё не ассимилировавшиеся выходцы из России. И в таком контексте вопрос о национальной самоидентификации авторов сборника не возникает, за исключением одного случая.

При чтении предисловия к рассказу Андрея Битова невольно вспоминается эпизод из его ранней повести «Уроки Армении» (1967-1969). Там в главе «Старец» есть такой эпизод: «Битов... Би-тов... - старик с сомнением покачал головой. - Ты русский? - вдруг пристально спросил он.

- Русский... - отвечал я неуверенно.

- Русский-русский? - уточнил он вопрос.

Тут я что-то начал соображать.

- Русский-русский, - решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек».

Уже в конце 70-х годов в интервью на ереванском радио (о чём поведал мой однофакультетник Александр Геранян) Андрей Битов уточнил, что его фамилия произносится с ударением на последнем слоге. Надо полагать, таким образом писатель подчеркнул свои немецкие корни.

В декабре 2003 года ситуация из «Уроков Армении» нашла своё продолжение уже в Израиле. Вновь процитирую Битова: «Какая хорошая у вас фамилия, - сказал мне старый еврей. - Откуда она?

- Что хорошего? Боюсь, что от глагола «бить».

- Би-тов... - мечтательно растянул он. - Так начинается Талмуд.

- Что это значит?

- Трудно перевести: быть хорошим, стремиться к лучшему..

- Ах, вот оно что!»

И хотя в «Ночи под Рождество» Битов называет себя, молящегося у Стены Плача, крещённым в Православии, гоем, русским, в «рус-скость» писателя мне, как и армянскому старцу, не верится. И дело, конечно, не в крови (хотя именно через неё Битов определяет свою национальность в беседе с Ш. в «Уроках Армении»), Дело в складе души, мироотношении, ментальности (как теперь говорят), в тех ценностях, которые Битов утверждает своим творчеством, несовместимых с традиционно-русскими идеями и идеалами.

Название книги писателя «Обретение имени», откуда взяты рассказ и эссе для сборника «В Израиль и обратно», воспринимается печально-оптимистично: печально, ибо горько обретать имя, своё национальное «я» на закате жизни; оптимистично, так как хорошо, что сие всё же произошло или должно произойти.

У Дины Рубиной проблема обретения имени, думаю, не возникала, либо это было в молодости, как у героини рассказа «Яблоки из сада Шлицбутера». Показательно, что ответ на впервые возникший у героини вопрос «чья я, чья» Рубина предлагает искать в «сокровенном чувстве со-крови». И такой подход к восприятию национального в жизни и литературе характерен для большинства русскоязычных авторов, на что неоднократно обращали внимание многие «правые».

«Чувство со-крови» и есть национальный эгоцентризм, который обязательно приводит любого писателя к нарушению правды исторической, психологической, художественной. И творчество Дины Рубиной лучшее тому подтверждение.

Довольно неожиданными выглядят история Палестины и еврейско-арабские отношения в интервью и произведениях писательницы. Так, в рассказе «Белый осёл в ожидании Спасителя» говорится, что во второй половине XIX века Иерусалим заселялся, застраивался немцами-колонистами и евреями, выходцами из Российской империи. А лишь затем, на рабочие места, созданные ими, «на новые виноградники, поля и апельсиновые плантации <...> потянулись с дальних окраин империи (Османской. - Ю.П.) нищие арабские кланы». Этот миф, не имеющий ничего общего с историческими реалиями, транслируется на отечественного читателя, поэтому необходимо хотя бы кратко его прокомментировать.

Евреи из Новороссии, о которых говорит Рубина, стали переселяться в Палестину не в середине XIX века, а в два последние десятилетия его. Толчком к этому послужили погромы 1881 года на Украине, известные указы Александра III, ограничивающие права евреев в России, и набирающая силу сионистская пропаганда. Собственно же новых сельских поселений - мошавотов - было создано за это время всего лишь девять. Ну и, конечно, переселенцы финансово поддерживались из разных зарубежных - еврейских - источников. Главным спонсором, как известно, был Эдмонд Ротшильд. Только его пожертвования составили более полутора миллионов фунтов стерлингов.

Что же касается арабов, то большая часть из них никуда не «тянулась», ибо жила на своей земле. Поэтому евреям пришлось её выкупать, «устилать палестинскую землю еврейским золотом», как говорил первый президент Израиля Хаим Вейцман. Следует помнить и о том, что несмотря на эмиграцию евреев в Палестину (их только из России за указанный период прибыло около 25 тысяч человек), в начале XX века арабское население превышало еврейское более чем в двадцать раз.

И ещё. Ольгу эль-Джеши возмутил рассказ Дины Рубиной «Картинка с натуры» («Литературная газета», 2008, № 2). В своём письме («Литературная газета», 2008, № 10) она поставила под сомнение «душевное здоровье» писательницы и указала на её предвзятость и агрессивность, проявленные в изображении арабов. Но такое отношение к арабам характерно для Дины Рубиной вообще. Видимо, другие её произведения Ольга эль-Джеши не читала или читала невнимательно.

В том же рассказе «Белый осёл в ожидании Спасителя» Рубина открыто выражает свою неприязнь к арабским детям, видя в каждом из них потенциального террориста. Красноречиво свидетельствует о «душевном здоровье» автора рассказа и пение муэдзина, услышанное, увиденное таким образом: «В эту минуту в уши ударил гнусавый рык, леденящий внутренности, и мне две-три секунды потребовалось для того, чтобы опознать в нём обычную песнь муэдзина <...>. Здесь, усиленный динамиками оглушительной мощи, он звучал грозным боевым кличем <...>. Минуты три неистовый звуковой смерч расширял воронку утробного воя, вспухал вокруг нас осязаемой стеной».

Да и воюют, борются арабы в книгах Рубиной только исподтишка, только подлым образом. Так в романе «Вот идёт Мессия!..» мирный и добрый Хаим Горк убит тремя выстрелами, когда проезжал через арабское селение. А видоизменённый шахидский сюжет в этом романе выглядит так: арабская девушка Ибтисам Шахада решается убить еврея, ибо только так можно скрыть грех и избежать смерти от рук родных братьев. Ей, беременной от своего учителя, остаётся только это...

Вообще отношение Дины Рубиной к арабам напоминает мне отношение Исая Берлина к Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому. В беседе с Анатолием Найманом еврейский мыслитель так пояснил свою позицию: «Мандельштам, не Мандельштам - мне всё равно (а выше речь шла о том, что Гиппиус назвала поэта «неврастеническим жидёнком». - Ю.П.). Для меня её нет. Ни её, ни мужа. Для вас есть? Где? Что они - чтобы быть?»

Это чувство гордыни, исключительности проявляется в Рубиной не только по отношению к арабам, но и немцам, французам, русским. О последних скажем подробнее по понятным причинам, в качестве примера возьмём Ивана Бунина, который с симпатией относился к евреям.

Герой-повествователь в романе «Вот идёт Мессия!..», совпадающий с автором в главных человечески-творческих позициях, рассуждает о своей судьбе известного, но бедствующего в Израиле писателя. И в этом контексте возникает имя Бунина: «Мог бы стать распространителем чего бы то ни было, возьмём - Бунин Иван Алексеевич?»

Да ни черта бы он не распространял, вдруг зло подумала она, его в эмиграции содержали богатые и добрые евреи, влюблённые в русскую литературу. А мне здесь ни одна собака говённого чека на карточку не выпишет...».

Раз не уточняется, в какое время Бунин был на еврейском содержании, то следует понимать, что все тридцать три года. А это может утверждать либо человек сверхдалёкий от литературы, либо очень предвзятый в своём отношении к Бунину. У него в изгнании были разные периоды - от относительной финансовой стабильности до крайней бедности. Но никогда писатель не был на содержании у евреев.

Например, до 1929 года основным финансовым источником семьи Буниных являлись гонорары и чешская, сербская помощь. Когда Чехия перестала выплачивать Ивану Алексеевичу стипендию, его жена 9 января 1929 года записала в дневнике: «Чехи прекратили пособия - это минус 380 фр.» (здесь и далее в статье цитирую по книге: Бунин И., Бунина В. Устами Буниных. Дневники. - М., 2004). Для того, чтобы понять, какую часть от гонораров это пособие составляло, приведу свидетельство Веры Николаевны от 24 января 1929 года: «Пришли 2000 фр. из «Поел. Новостей».

Немалым материальным подспорьем были вечера, лотереи, книжные лавки, «быстрая помощь». И суммы здесь выручались разные. Например, в помощь В.Набокову собрано 770 франков (запись от 25.01.1937), И.Бунину - 2000 долларов (запись от 15.08.1948), Н.Тэффи - 20000 франков (запись от 13-01.1950) и т.д. В подобных мероприятиях, вопреки утверждению Рубиной, Бунин принимал участие. Так, 18 декабря 1922 года Вера Николаевна фиксирует в дневнике: «На «встрече» мы начали продавать билеты на вечер Шмелёва. Ян (ИБунин. - Ю.П.) никуда не годится как продавец - конфузится...».

Самые же тяжёлые периоды во время эмиграции Бунина - это начало 30-х годов, немецкая оккупация Франции, последние три года жизни. На протяжении этих почти 15 лет преобладающий бытовой фон был таким: «У меня всего 2 рубашки, наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только 2, остальные - в заплатах. Ян не может купить себе тёплого белья. Я большей частью хожу в Галиновых вещах» (14.11.1932); «Деньги опять вышли» (11.01.1933); «В четверг почта принесла деньги из 2 мест: из «Совр.Зап.» и от сербов. Передышка дней на 15» (5.1.1933); «Едим очень скудно. Весь день хочется есть» (20.12.1940); «Нынче у нас за обедом голые щи и по 3 варёных картошки» (10.12.1943); «Был доктор Дюфур <...>. У меня почти не было денег. Кодрянские дали займы 30000 фр.» (23.08.1950); «Теперь у нас долг в 100 тыс.» (12.09.1950); «Взяли займы у Кодрянских сто тысяч франков» (24.04.1953).

И это Вы, Дина Ильинична, называете «жить на содержании богатых и добрых евреев»? Естественно, хотелось бы знать, какие конкретно евреи имеются в виду. Финансовую и человеческую помощь М.Цетлин, МАлданова, Я.Цвибака, САгрона и некоторых других евреев отрицать несправедливо и глупо. Сам Иван Бунин и Вера Николаевна эту помощь признавали и неоднократно благодарили за неё. Другое дело, что периодически слухи о размерах пожертвований были сильно преувеличены, о чём спокойно и с гневом Бунин говорил в письмах к Н.Тэффи и Я.Цвибаку. А после очередного послания Марка Алданова Иван Алексеевич пришёл к выводу, что во всём Нью-Йорке трудно найти среди самых богатых больше двух человек, способных пожертвовать сто долларов.

К тому же сия помощь стала предметом грязных спекуляций со стороны Марии Цетлин и её сторонников. Да и Яков Цвибак поступил в данной ситуации двусмысленно. Пожалуй, единственным из еврейских друзей и якобы друзей Бунина, кто вёл себя всегда достойно, был Марк Алданов.

Думаю, когда речь идёт о том, что Бунина содержали евреи, следует помнить и о другом: Иван Алексеевич долгое время помогал многим людям. Например, из 715 тысяч франков Нобелевской премии почти 120 тысяч (то есть одна шестая всей суммы) были розданы нуждающимся. К тому же в доме писателя годами жили, ели-пили Галина Кузнецова, Марга

Степун, Александр Бахрах, Леонид Зуров, Николай Рощин, Елена и Ольга Жировы... Присутствие некоторых из них в годы войны было ещё и опасным для жизни хозяев. Около недели Бунины прятали от фашистов евреев Александра Либермана и его жену. Четыре года прожил в доме писателя еврей Александр Бахрах...

Вот только общий, бегло-пунктирный сюжет жизни Ивана Бунина, грубо-произвольно перевёрнутый Диной Рубиной. И заметьте, приправленный своеобразным лексическим соусом: «да ни черта», «ни одна собака», «говённый чек». Но это, как говорится, ещё цветочки.

На вопрос Наталии Клевакиной: «Вас часто спрашивают, почему вы употребляете неформальную лексику?» - Дина Рубина ответила так «Ради художественной достоверности. Представьте - экскаваторщик приходит домой, а еда не приготовлена, потому что жена весь день читала детективы. Что он скажет? То-то» («Литературная Россия», 2007, № 38).

В суждении Рубиной всё вызывает сомнение. Жёны экскаваторщиков, как правило, работают. А если и не работают, то почти наверняка можно сказать, что весь день детективы они не будут читать... Но главное в ином: в произведениях писательницы выражаются неформально не столько «экскаваторщики», сколько интеллигенты, преимущественно евреи, мужчины и женщины.

Я долго сомневался (да и сейчас не уверен, что поступаю правильно), приводить мне примеры из текстов Дины Рубиной или нет. Как русский человек, я, конечно, этого делать не должен. Но в таком случае страдает достоверность, доказательность. Поэтому я остановился на компромиссном варианте «мягкого» употребления «неформальщины» в романе «Вот идёт Мессия!..»:

«- Здравствуй, дедушка Мороз - борода из ваты! Ты подарки нам принёс, пидорас проклятый?

- Я подарки не принёс, - пробубнил Рабинович виноватым басом, - денег не хватило.

На что Доктор резонным тенорком заметил:

- Что же ты сюда приполз, ватное мудило?»

В дневнике Владимира Лакшина есть такая запись от 17 марта 1971 года: «Нынешняя наша интеллигенция по преимуществу еврейская. Среди неё много отличных, даровитых людей, но в существование и образ мыслей интеллигенции незаметно внесён и стал уже неизбежным элементом дух торгашества, уклончивости, покладистости, хитроумного извлечения выгод, веками гонений воспитанный в еврейской нации» («Дружба народов», 2004, № 10). К этому смелому и точному суждению Владимира Яковлевича в контексте нашей темы необходимо добавить следующее. Еврейская интеллигенция, писатели в частности, «узаконили», сделали нормой неформальную лексику. И это ещё одно отличие еврейских и вообще русскоязычных авторов от русских писателей.

Предвижу возражения, поэтому отвечу сразу. Во-первых, авторов типа Венедикта и Виктора Ерофеевых русскими писателями не считаю. Это выродки, люди без национальности, русскоязычные беллетристы. Во-вторых, ржа матерщины коснулась и произведений некоторых действительно русских писателей, как в случае с талантливим Захаром Прилепиным. Уверен, это явление наносное, временное.

Конечно, далеко не всегда в произведениях Рубиной наглядно проявляется национальный эгоцентризм. Довольно часто он существует в скрытом - «растворённом» или «полурасстворённом» - виде, его нужно «собирать по частям», чтобы получить цельное представление. Примером тому роман «На солнечной стороне улицы», получивший в 2007 году третью премию «Большой книги» и изданный «Эксмо» в серии «Великие романы XX века».

Многими авторами отмечается любовь, с которой в произведении изображается старый Ташкент, город до землетрясения 1966 года. И с этим трудно не согласиться. Однако то, как расставлены Рубиной национальные акценты, вызывает вопросы.

Сразу бросается в глаза, что писательница с особой симпатией изображает узбеков. В них - Хадиче, рыночных торговцах, хозяине сада - Рубина по-разному подчёркивает доброту и гостеприимство как типичные черты узбеков. Очевидно и другое: часто автор романа национально маркирует поступки персонажей, даже самых второстепенных. Например, акцентированно сообщается, что Веру Щеглову и Стаса подобрал на шоссе, пустил переночевать, накормил шурпой «молодой уйгур».

В трёх из четырёх приведённых случаев герои романа не имеют имени-фамилии, для Рубиной важна их национальная принадлежность - узбеки, уйгур. Подобное употребление слова «русский» в положительном контексте романа отсутствует. Подавляющее же большинство персонажей «На солнечной стороне улицы» утративших или почти утративших человеческий облик - русские.

С симпатией изображая представителей разных народов, за исключением русского, Дина Рубина не навязчиво, но настойчиво проводит мысль: евреи - вот народ, который абсолютно превосходит всех остальных по своим профессиональным или человеческим качествам. Цилия, Зара Марковна, Маргарита Исаевна, Женья Горелик, Клара Нухимовна, Михаил Лифшиц, Лёня Волошин, Айзек Аронович, Хасик Коган и другие герои-евреи создают ту неповторимую атмосферу, которая делает старый Ташкент особым городом.

Показательно, что одно из главных действующих лиц, Вера Щеглова, стала другой, нежели её грешная, падшая русская мать, стала полноценным человеком и большим художником благодаря Михаилу Лифшицу. Он, по сути, её создал, изваял как личность, поэтому, в конце концов, Вера называет дядю Мишу своим отцом.

Другой еврей Леонид Волошин - «добрый ангел» Щегловой, с которым она связала свою жизнь. Он - идеал чуткого, надёжного, любящего мужчины. В пяти книгах Рубиной, прочитанных мной, ни один из русских к уровню Леонида даже близко не приближается. Исключением, быть может, является герой романа «Вот идёт Мессия!..» Юрик Баранов, бывший русский. Он в студенческие годы принимает иудаизм, чуть не умирает после обрезания и становится не просто Ури Бар-Ханином, а ортодоксальным иудеем, большим евреем, чем все его еврейские родственники со стороны жены.

Именно духовный отец Веры Михаил Лифшиц открывает ей глаза на то, что они живут в империи, в которой Узбекистан - колония, и так далее и тому подобное: прямо по «блокноту агитатора» любого либерала-русофоба. Хотя слово «русские» в этой беседе не звучит, вопрос, кто кого угнетает, не возникает.

Понимаю, что, как всегда в подобных случаях, станут говорить: нельзя отождествлять позицию героя и позицию автора... Это и другое нам известно, Михаила Бахтина читали ещё в 70-е... И чтобы снять возможные вопросы, приведу высказывание Дины Рубиной из интервью с Инной Найдис. Смысл его полностью совпадает с разглагольствованиями Лифшица и других героев на тему империи: «Да, в Ташкенте было всё несколько мягче, теплее для евреев. Не так заставляла жизнь выдавливать из себя по капле иудея, чтобы быстренько стать эллином <...> Хозяева, узбеки, притесняемые советской властью в своей идентичности, смотрели на этническое меньшинство более сочувственно, чем на титульную нацию <...> Словом, было, было обаяние в этой относительной свободе колониального юга...» (Рубина Д. На Верхней Масловке. - М., 2007).

Я понимаю, что Дине Рубиной и её единомышленникам бесполезно что-то говорить в ответ, и всё же скажу предельно кратко. В СССР была «империя наоборот» (А.Зиновьев), то есть именно Россия была главным донором, главной колонией, обделённой во всех смыслах куда значительнее, чем другие республики. А титульная нация, которую Рубина ассоциирует с властью, метрополией, - одна из самых пострадавших наций за годы антирусской власти, пострадавшей гораздо больше, нежели евреи.

Империя и исторический город сталкиваются, по Рубиной, в 1966 году: «Старый Ташкент был сокрушён в 66-м году подземными толчками и дружбой народов, снабжённой экскаваторами». Различные варианты этой мысли встречаются у писательницы неоднократно. Укрепляя дружбу народов, дающую трещину, метрополия перестаралась в колонии: разрушения после землетрясения были не столь значительны, чтобы так «восстанавливать» Ташкент, уничтожая почти все исторические строения.

Но окончательно исчез старый Ташкент, когда его покинули «белые колонизаторы» (сквозной образ романа), придававшие ему неповторимое своеобразие. Только в американской фирме Волошина трудится 10% «ташкентцев». Поэтому, если следовать логике Рубиной, следует ожидать, что аналог старого Ташкента должен возникнуть где-нибудь в США или Израиле, куда перекочевала большая часть «белых колонизаторов»...

Нередко в русскоязычной литературе национально-ограниченное восприятие человека перерастает в «разрешение крови по совести», в убийство во благо, что при определённых условиях закономерно. Если «чужой» - не человек или неполноценный человек, а ненависть - естественное отношение к нему, то убийство «чужого» - высшее проявление ненависти - не грех, и как вариант - доблесть. Другое восприятие «чужого» вызывает подозрение и в принципе отрицается.

В рассказе Рубиной «Белый осёл в ожидании Спасителя» повествователь, как всегда у писательницы, выражающий авторскую точку зрения, не приемлет чувство зрителя кладбища «темплеров» (так у Рубиной. - Ю.П.) Меира. Ему жалко немцев, которых англичане во время Второй мировой войны выселили из Палестины в Австралию, опасаясь, что они будут сотрудничать с фашистами. Аргументация Меира («Когда людей выгоняют из домов, с детьми и стариками... всегда жалко») не убедительна для рассказчицы, поэтому его позиция определяется героиней как позиция постороннего.

Рубина через повествователя утверждает идею коллективной, всеобщей национальной вины и ответственности. Её доводы не новы, лишены логики, правды, человечности: «Ещё бы, ведь из кожи его (Меира. - Ю.П.) родных не делали кошельков и абжуров соплеменники всех этих утончённых аптекарей-флейтистов».

Понятно, что страшная философия Дины Рубиной вырастает из древней ветхозаветной традиции «око за око». Это открыто признаёт и сама писательница, считая такую позицию единственно возможной, достойной.

Рубина неоднократно говорила, что согласно семейному преданию её прапрабабка была цыганкой. В рассказе «Цыганка» повествователь, вновь идентичный автору, выясняет подробности жизни своей прародительницы. Эмоционально-идейной кульминацией в развитии действия является следующий эпизод.

Во время войны фашисты вместе с евреями расстреливают цыганку. Перед смертью женщина проклинает палачей: «Землю за моих жрать будете <...>. Мои все до девятого колена присмо-о-о-тренные!..» И через день это проклятие сбылось: всех немцев, кто принимал участие в расстреле, разорвало в клочья, а их командира «башку оторвало, рот открытый весь был землёй забит».

Знаменательна реакция героини (Рубиной) на рассказ о данном событии: «Буйный восторг ударил мне в голову <...>. Дикая, горькая радость душила меня! Вот оно чудовищное, древнее, глубинное: око за око! А другого и не бывает (здесь и далее в цитатах разрядка моя. - Ю.П.), другое всё - ложь, ханжество, тухлая серая кровь! Землю, землю за моих будете жрать, повторяла я, землю будете жрать».

И задыхалась.

И не могла опомниться».

Схожим образом реагирует на известие о смерти приятеля Хаима Зяма, героиня романа «Вот идёт Мессия!..». Она адресует всем арабам следующее проклятие: «Я хочу, чтоб все (здесь и далее в цитатах разрядка моя. - Ю.П.) они сдохли <...>, все они, со своими жёнами, детьми и животными! Чтоб мы хоронили их семь месяцев, не разгибая спины!»

В русской литературе такая ситуация в принципе невозможна. Герой, убивая во время военных событий, страдает из-за этого, болеет душой (как Григорий Мелехов в «Тихом Доне» Михаила Шолохова), либо «правда» героя, разрешающая кровь по совести, обязательно опровергается правдами других персонажей, правдой автора (как в повести «Третья правда» Леонида Бородина). Тем более смерть человека не может быть объектом иронии, шуток, смеха, как, например, в эссе Рубиной «В России надо жить долго...».

Показателен следующий эпизод. У Рубиных собрались Игорь Гу-berman, Михаил Вайскопф, Лидия Либединская, Виктор Шендерович с Милой. Обсуждается смерть четы Чаушеску. На возмущённый вопрос Либединской: «Ну, зачем, зачем им давление мерили?!» - последовала следующая реакция: «Вайскопф обронил:

- Проверяли - выдержат ли расстрел.

Все захохотали, а Шендерович вообще смеялся, как безумный, и заявил, что завтра едет в Тверь выступать, и на выступлении обязательно опробует эту шутку».

Нет сомнений, что христианский гуманизм русской литературы и национально-ограниченный гуманизм русскоязычной литературы, русский юмор и еврейский юмор - это явления и понятия прямо противоположные. Ещё и поэтому все попытки сделать из Дины Рубиной русского писателя бесперспективны.

И всё же Дина Рубина - русскоязычный, еврейский прозаик - подаётся авторами учебников, статей, журналистами чаще всего как русский писатель. Например, в вузовском учебнике «Русская проза конца XX века» под редакцией Т.М. Колядич (М., 2005) имеется монографический очерк о творчестве Дины Рубиной. О В.Белове, Е.Носове, В.Максимове, Л.Бородине, В.Личутине, А.Киме, В.Галктионовой, Б.Екимове и других русских первоклассных писателей таких очерков нет, а вот о русскоязычных - Д.Рубиной, В.Аксёнове, Ф.Горенштейне, В.Пелевине, В.Сорокине, Т.Толстой, Л.Улицкой - есть.

В этом плохом учебнике о причине эмиграции Рубиной говорится: «Казалось бы, всё складывается благополучно (после переезда в Москву. - Ю.П.), однако сама ситуация в стране подталкивает её сделать решительный шаг, и она эмигрирует в Израиль, где начинает заново строить жизненную и литературную биографию». Сказано туманно, и можно лишь гипотетически рассуждать, что заставило Дину Ильиничну покинуть страну.

Станислав Рассадин в «Книге прощаний» (М., 2004) так говорит о причине отъезда писательницы: «Дина Рубина, израильский русскоязычный прозаик, как-то сказала, что её выдал из России Александр Иванович Куприн. Без шуток «...Его письмо издателю Бабюшкову, перепечатанное в газетёнке «Пульс Тушина» и расклеенное на нашей остановке, ошеломило меня безоглядной неприязнью <...>. Оно стало для меня последней каплей».

Не всё так просто и однозначно с Куприным, как это представляется Рубиной, Рассадину и многим другим. Не случайно Г.Зеленина, составитель книги «Евреи и жида в русской классике» (Москва-Иерусалим, 2005), письмо Куприна проигнорировала, зато включила в главу «Пархатые жидашки и незабвенные жидовки: евреи в русской беллетристике» три рассказа писателя «Трус», «Жидовка», «Свадьба». Включила, уверен, потому, что в каждом из них есть герои-евреи, изображённые автором с симпатией или любовью.

Симптоматично и другое: Михаил Эдельштейн, автор послесловия, обратил внимание на «Жидовку». Он, в том числе на основании этого рассказа, делает главный вывод: русская литература смогла «на рубеже XIX-XX веков разглядеть наконец в еврее человека».

Сам вывод, с которым не согласен, не комментирую, скажу о другом: Эдельштейн взял из рассказа Куприна не самую содержательную, ключевую, выразительную цитату. Он прошёл мимо (не знаю, почему) описания «прекрасного лица еврейки» и рассуждений об «удивительном, непостижимом еврейском народе». И то, и другое воспринимаются однозначно как гимн еврейской женщине и еврейскому народу.

Не только ничего подобного, но и близкого к этому у Дины Рубиной в отношении к русскому народу нет и, думаю, не будет. Она честно, точно, объективно определила своё творческое кредо: «Я пишу о разных сторонах характера моего (еврейского. - Ю.П.) народа, пишу без умиления, часто с горечью (писатель обязан говорить правду), но, тем не менее, пишу с любовью - и было бы странно, если бы писала без любви, я ведь здоровый человек» (<http://www.dinarubina.com/interview/booknik2007.html>).

Однако вызывает озабоченность здоровье, состояние ума и души тех авторов, которые вопреки очевидному (о чём шла речь в статье) пытаются из Дины Рубиной, еврейского русскоязычного писателя, сделать классика русской литературы. Понятно, что данное

явление возникло не сегодня, ему примерно около ста лет. Но именно в последние десятилетия оно приобрело тотальный характер. И если ещё через литературу больному русскому народу при-выют «дичок обрезания» (В.Розанов), то почти с уверенностью можно сказать, что он как народ перестанет существовать. То есть давайте изучать Дину Рубину и ей подобных русскоязычных авторов, которыми целенаправленно подменяют русских писателей в школе и вузе, по их «прописке», по «ведомству» еврейской словесности.

2008

Профессор и «трусики»: заметки о романе Сергея Есина «Марбург».

Главный герой романа С.Есина «Марбург», опубликованного в 2005 году в 10 и 11 номерах «Нового мира», - профессор-филолог. Он приглашён в известный немецкий город, название которого вынесено в заглавие романа, читать лекции о Михаиле Ломоносове и Борисе Пастернаке, чьи жизни и творчество напрямую были связаны с Марбургом. Конечно, сам факт приглашения Новикова может вызвать определённое недоверие к нему, ибо в Европе и Америке читали и читают лекции «профессора» уровня либо Евгения Евтушенко и Василия Аксёнова (то есть, мягко говоря, не профессионалы), либо М.Эпштейна и МЛиповецкого - те, кто своими «научными» изысканиями выхолащивают, переименовывают религиозную, духовную, философскую сущность русской литературы.

Конечно, стоит помнить и о другом: в цивилизованном, то есть больном, западном мире ещё остались здоровые люди с консервативными убеждениями, христианской системой ценностей, с традиционной ориентацией - от литературной до сексуальной. Ведь не случайно в разное время и в разных странах читали лекции Юрий Архипов, Вадим Кожин, Игорь Золотусский, Сергей Небольсин, Владимир Бондаренко...

Алексей Новиков не раз подчёркивает своё профессиональное - учёное - отличие от окружающих, которым он явно гордится: «профессорская привычка», «это вне моих академических интересов», «мой опыт литературоведа показывает», «разве теперь это награда за выдержку и сдержанность в науке? Разве не заслужил я, чтобы что-то отличало меня от этой переполнявшей самолёт черни?» Трудно представить, чтобы своими учёными степенями и званиями кичились Михаил Бахтин, Вадим Кожин, Михаил Лобанов, Сергей Небольсин, Владимир Воропаев... Некоторые из названных и неназванных настоящих учёных не раз справедливо говорили об условности всех этих регалий, а Вадим Кожин, например, принципиально не стремился повысить свой статус кандидата наук

Степенями и званиями обычно побрякивают люди, чувствующие свою учёную несостоятельность или неполноценность. Думаю, в герое «Марбурга» пророс профессорский комплекс самого Сергея Есина, который в возрасте 69 лет защитил кандидатскую диссертацию и, как говорят, не собирается останавливаться на достигнутом. К тому же, в романе данный комплекс в перевёрнутом виде навязывается другим. Новиков и Серафима утверждают, что любой профессор ощущает себя писателем и стремится им стать. Конечно, есть литературоведы и критики, которые успешно и безуспешно реализуют себя на писательском поприще. Но это мизерная по количеству группа авторов, это далеко не вся профессура.

Новиков называет себя дельным литературоведом, что с его подачи подтверждается следующим образом: «Нет в стране общественной жизни, нет и литературы». Это высказывание жены Новикова, уязвимое с точки зрения «теории» и «практики» вопроса, воспринимается профессором как истина и вызывает реакцию, раскрывающую секрет его профессионального успеха: «Мне не надо ничего больше объяснять и разъяснять <...>». Детали - это моя специальность, их я достану, они уже давно вьются возле меня, ожидая, как

я их уложу, и час настал <...>. И потом кто-нибудь отметит: «Как пронизателен этот профессор!»

Итак, Алексей Новиков – специалист по деталям, о которых скажу далее. Из них, по замыслу профессора, возникает «новая данность», оказывающая необходимое воздействие на слушателей. При этом цитаты, традиционные реалии любой лекции, Новиковым сокращаются до минимума. Конечно, могут сказать, что профессор поступает профессионально, ориентируясь на марбургскую аудиторию. Не зря его гложут сомнения, сколько информации стоит выливать на головы интересующихся сплетнями профанов.

Но тогда не могу не спросить: почему в разномасштабной аудитории нужно ориентироваться на профанов или, как в другом случае, на еврейскую часть слушателей? При таком подходе любой профессор, любой специалист вольно или невольно грешит перед истиной. Он уподобляется шоуменам типа Эдварда Радзинского или, что ещё хуже – в смысле базарнее, похабнее, пошлее – Виктору Ерофееву и Татьяне Толстой. Непонятно и другое: откуда берётся дельность, научность, духовность, которую, по версии Новикова, впитывает в себя марбургская аудитория?

Слово «духовность» не раз возникает на страницах романа, и во всех эпизодах оно употребляется в значении, далёком от традиционноправославного. Так, случай с Зинаидой Николаевной Нейгауз, второй женой Бориса Пастернака, у которой в возрасте 15 лет был роман с 45-летним кузеном, стал поводом для следующего умозаключения Новикова: «В еврейских семьях женщины всегда старше по духовному жизненному опыту». Духовность в данном случае определяется профессором через греховную страсть, что в комментариях не нуждается. Православие же, подлинный источник духовности, в размышлениях и лекциях Новикова практически игнорируется. О нём лишь мимоходом упоминается как о факте биографии или проблеме: «Ломоносов при всём своём истовом и глубоком православии не смог пройти мимо этого здания»; «А крещёный еврей Пастернак – с этим крещением и с его православием – для исследователей такая морока».

Имя Господа возникает в мыслях и на устах профессора чаще всего машинально в эвдемоническом контексте: при виде шипящего жареного мяса или как хвала за западные порядки, при которых в гостинице не спрашивают, «с кем вы и надолго ли?». Имя Всевышнего встречается и в иронической ситуации, когда сравнивается досье на человека у Бога и у силовой структуры, возглавляемой Патрушевым. Положения не меняет и онтологический контекст, ибо уровень мышления Новикова остаётся поверхностно-примитивным: «Может быть, её молодость (души. -Ю.П.) в контрасте с быстро стареющим телом и подтверждает наше бессмертие? Наше бессмертие и, значит, существование Бога?» В такой последовательности профессора нет ничего удивительного: он – обезбоженный интеллигент.

В интервью Владимиру Бондаренко («День литературы», 2005, № 12) Сергей Есин, признавая автобиографичность первой части «Марбурга», подчёркивает, что в произведении фактура наполняется «крайне обобщённым смыслом», это роман о людях вообще. Данную версию можно принять только с одной обязательной и существенной поправкой: о людях, увиденных глазами интеллигента. То есть человек и время оцениваются и изображаются в «Марбурге» с позиции денационализированной, эгоцентрической, обезбоженной личности, а зазор между позицией главного героя и позицией автора отсутствует.

Хотя и говорит Новиков о своей крестьянской закваске, но по мироотношению, по утверждаемым им ценностям он – интеллигент. Более того, московский интеллигент, что плохо вдвойне.

Интеллигентство главного героя «Марбурга» проявляется в самых разных ситуациях, начиная с одной из самых типичных. Для Новикова, который находится на офицерских сборах в Рыбинске, жизнь провинциального города – это экзотика, мир неполноценных людей. Слово «провинция», как и водится у интеллигентов, употребляется только в негативном смысле. В частности, характеристика администратора гостиницы пропитана кастово-брезгливым высокомерием: «...Вопрошал изучающий взгляд провинциальной халды с сооружённым на голове безобразием похлеще париков придворных Людовика XIV».

Естественно, что Новиков хорошо ориентируется в приоритетах цивилизованной публики, как зарубежной, так и отечественной. Показательно его мимолётное сожаление: «Ах, как славно

было бы, если б я писал роман, вернуть модную гомосексуальную тему». Однако в «Марбурге» Есина эта тема возникает не раз: в случаях с кельнером, немецким мужем Наталии Максом, безымянными интеллигентными солдатами, балетмейстером, «глядевшим только в сторону мужского балетного класса».

Модная тема возникает не просто как реалии жизни, с которыми сталкивается Новиков, но как предмет его интереса, до конца самому профессору непонятного. Уже на второй странице романа сказано: «Последнее время читаю «Дневники» Михаила Кузмина <...>. Он живописно изображает свои любовные связи с городскими банщиками и знаменитыми художниками. Но где здесь искренне, а где самооговор? <...> Или эти дневники привлекают меня по какой-то иной причине?

Минут на пятнадцать я погружаюсь в другую, молодую чужую жизнь. Единственное, чему можно завидовать, - это молодости и её безрассудствам».

В двусмысленности и недосказанности Новикова, вероятно, можно увидеть намёки на его латентный гомосексуализм. Предоставлю возможность рассуждать на эту тему тому, кого она волнует, и скажу об очевидном. Специфический интерес к дневникам Кузмина, ещё больше - зависть героя к тому, что названо безрассудством молодости, свидетельствуют о нравственном нездоровье профессора. Оно, в первую очередь, проявляется по отношению к женщине.

С удивлением прочитал в рецензии Ильи Кириллова на роман («Литературная газета», 2005, № 53) следующее утверждение: «Ответственная поездка требует эмоциональной и профессиональной подготовки, но сознание, мысли, чувства профессора заняты состоянием Саломеи, жены, которая неизлечимо больна». Во-первых, Новиков неоднократно забывает о Саломее, что, видимо, естественно; во-вторых, и это главное, в такие минуты, часы, дни его мысли и поступки опровергают то, что говорит о профессоре Илья Кириллов.

Первое отключение происходит уже в самолёте при виде стюардесс. Пиком высокомерно-мерзкого поведения Новикова, которое в его глазах выглядит интеллектуальным развлечением с элегантно-модным ходом, являются фантазии героя - «творческое» реализация его истинной сущности. Уже сам сюжет, возникший в воображении профессора (а бортпроводница Новиков представляет в виде героини из порнофильмов), и то, с каким вождением, сладострастием, знанием дела он прокручивается, характеризует героя как нравственного уродца, сексуального извращенца. Приведу только один пример: «Другая, у которой цепочек на шее было больше, в моём восприятии сразу села на стул, вульгарно раздвинула ноги, и раб, в кожаном, с металлическими заклёпками и шипами ошейнике, высунув язык, подползал к её разгорячённой промежности».

Второе отключение Новикова происходит тут же в самолёте при виде Наталии и далее у неё дома в Германии. Наталия - бывшая студентка профессора, с которой у него ранее был суточный постельный роман. Закономерно, что в восприятии Новикова эта связь («мы соединялись раз за разом», «почти животная страсть») обретает ореол высокого чувства. Если бы профессор оценивал свои отношения с Наталией, с другими женщинами с позиций традиционных ценностей, русской литературы, то такая подмена понятий была бы невозможна.

Вторая встреча Новикова с бывшей студенткой прежнего удовлетворения не принесла, хотя развивалась по привычному сценарию. Однако тело шестидесятилетнего профессора, которое «было готово к встрече», выводит из рабочего состояния бережливость Наталии. Она - вот уж эти тонкие наблюдательные интеллигентные натуры - «не сбросила колготки и трусики на пол, как, помню, было раньше, а аккуратно повесила всё на спинку стула». И далее специалист по деталям сообщает подробность, которая воспринимается как «ахиллесова пята» Новикова. Только вид трусиков Наталии, от которых герой «не отрывал глаз», возвращает его тело в прежнее состояние.

Именно трусики Серафимы, Саломеи, Наталии (невольно просится на язык «трусиками породнённые») вызывают у мужчины особый трепет, благоговение. Он в порыве чувств - не совсем понятно, от чьего имени - с гордостью и патетикой заявляет: «Мы и трусики зимой носили тогда исключительно из шёлковой паутинки». Комментарии опустим, переведём дух и пойдём дальше.

Третье отключение Новикова - это звонок от Серафимы (в ожидании которого, как выясняется, герой жил) и последующая встреча с ней. Серафима - известная актриса и порочная женщина. Её «любовь» (это слово не к месту употребляет профессор) тридцатипятилетней женщины к восемнадцатилетнему Новикову и к другим пришедшим ему на смену «мальчикам» объясняется нерастратенным материнством и вероятным желанием расслабиться перед спектаклем.

Вторая версия, равносущностная первой, иллюстрируется характерным примером. «Материнство» через постель и «творческий» допинг Серафимы сродни «расслаблению» примы-балерины: «Накануне спектакля ей нужен был мужчина, всё равно какой - молодой, старый, дворник, слесарь. Она выходила на поиски, набросив на себя шубу поплоче, и находила его». В этом, как и в других аналогичных случаях, порочные чувства и поступки героев не называются своими именами, что вполне закономерно.

В мире Новикова, где отсутствует христианская иерархия ценностей, «долг», «честь», «верность», «измена» и другие традиционные понятия условны либо отсутствуют вообще. И семья в восприятии профессора - это, по сути, «шведская семья». Отсюда многочисленные романы Новикова в разные периоды его семейной жизни. Поэтому непонятно, о каком гордиевом узле в отношениях между физически здоровым мужем и больной женой говорит Илья Кириллов. Узла не было, нет и в принципе быть не может. Да и сам Новиков неоднократно свидетельствует, что его увлечения на стороне не отменяют чувство к Саломее, которое является для героя главным и которое он не может назвать.

Не может назвать, думаю, по следующим причинам. Профессору, живущему с убеждением, что «человек невольно в первую очередь думает о себе», едва ли возможно это сделать. А то, что испытывал молодой Новиков к Саломее, назвать любовью действительно трудно. Чувства героя характеризуются преимущественно через такие подробности: «ночью отчаянно трещала и скрипела наша кровать»; «перестрелка глазами, перестрелка руками, работающие с перегревом железы внутренней секреции подавали свои сигналы, тело соприкасалось с телом...».

В чём уверен Новиков, и в этом с ним соглашаешься, брак для него предприятие с удобствами, союз, добавлю от себя, приносящий моральную «выгоду». Искреннее сострадание и забота о больной жене - это то небольшое, что даёт ему возможность чувствовать себя человеком (а не двуногим животным, коим он является во многих проявлениях), что роднит его с миром традиционных ценностей.

И всё же один раз профессор Новиков пытается определить любовь через чувство Саломеи к нему: «Но любовь это несколько большее, чем жизнь тела, чем мелочи измен и увлечений. Браки, утверждают, совершаются на небесах, но и любовь завязывается там же. Это больше, чем привычка, дети, страсть - это предопределение жизни, и это судьба». Такие конструкции: «это несколько большее», «это больше, чем привычка» - предполагают полемику с конкретными авторами или устоявшейся точкой зрения. Непонятно, зачем любовь характеризовать через «привычку» или «мелочь измен, увлечений», через понятия, совершенно не имеющие к ней никакого отношения. Лежит на поверхности истина, что любовь больше, чем страсть, жизнь тела. Она вызывает сомнения, пожалуй, лишь у денационализированных индивидуалистов, идеологами которых является интеллигенция. Индивидуумов, убеждённых, как Юрий Живаго и Алексей Новиков, в том, что любовь больше, чем дети. И тот, кто живёт согласно этой «формуле», неминуемо приближает человека и человечество к самоуничтожению, гибели. Итоговое же определение любви как судьбы звучит абстрактно-уязвимо.

Мемуары последних лет: взгляд из Армавира.

ср, 06/22/2011 - 13:21 — Вячеслав Румянцев

В начале XXI века появились мемуары и мемуарная проза Евгения Евтушенко, Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Бориса Грибанова, Даниила Гранина, Юлиу Эддиса, Наума Коржавина, Лазаря Лазарева, Бенедикта Сарнова, Станислава Рассадина... Все эти авторы, за исключением Коржавина, - «шестидесятники». Сегодня многие историки, литературоведы, критики, преподаватели, учителя, студенты, ученики и читатели вообще представления о XX веке черпают из этих источников и, наверное, будут черпать в будущем. На некоторых примерах покажу «болевы́е точки», уязвимые места мемуаров «шестидесятников», которые позволяют относиться к ним как к источникам с «мёртвой» водой. За пределами заметок оставляю книги Ст. Рассадина и Б.Сарнова, о них я уже высказался («Наш современник», 2005, № 11; «Наш современник», 2008, № 5).

В 2006-м году были опубликованы воспоминания Бориса Грибанова «И память-снег летит и пасть не может...». Немногим ранее Лазарь Лазарев, главный редактор «Вопросов литературы», на вопрос мемуариста, напечатает ли он эти воспоминания, ответил: «Напечатаю <...> но при одном условии: если они не будут целиком посвящены пьянкам и бабам». Мемуары вышли не в «Вопросах литературы», а в «Знамени» (2006, № 9), и в них действительно речь идёт преимущественно о пьянках и бабах... Об этом мне уже также приходилось писать («День литературы», 2008, № 3).

Начну с того, что называется воздухом времени, каким он предстаёт у Грибанова и других мемуаристов. Обращусь к одной из главных тем для всех «шестидесятников» и «левых» вообще, к теме Сталина.

На одной журнальной странице Борис Грибанов собрал самые невероятные слухи о Сталине, находя в них объяснение его государственной деятельности. По версии мемуариста, «собака зарыта» в тайне происхождения Сталина: «Его мать <...> была горийской шлюхой, красоткой, которая, между прочим, спала с местным князьком. Когда она забеременела, прибегли к старинному способу - нашли бедняка, Виссариона Джугашвили, купили его согласие на бракосочетание, после чего он уехал в Тифлис, поступил там рабочим на обувную фабрику Алиханова, а затем канул в неизвестность».

Приведённая цитата - лучшая иллюстрация уровня мышления и фактографической «точности» Грибанова. Во-первых, мать Сталина была женщиной религиозной и добропорядочной. Даже Э.Рад-зинский, падкий на всякие сомнительные, «жёлтые» сенсации, в своей книге «Сталин» (М., 1997) признаёт ложность подобных слухов. Во-вторых, Сталин был уже третьим ребёнком в семье Джугашвили, то есть версия, что Екатерина Геладзе забеременела ещё до брака - полный абсурд. В-третьих, Грибанову не мешало бы знать, что бракосочетание родителей Сталина состоялось 17 мая 1874 года - почти за три с половиной года до рождения Иосифа.

И большинство суждений о Сталине в мемуарах выдержано на таком же уровне. Нельзя сказать, что информация о других политических деятелях качественно иная и ей можно доверять. В одних случаях возникают сомнения в достоверности сообщаемого, как, например, в эпизоде, рассказанном Б.Грибановым, о встрече со Светланой Аллилуевой и Давидом

Самойловым на квартире А.И. Микояна. В других случаях приводимые якобы факты легко опровергаются. Так, тот же Микоян, по Грибанову, в конце 50-х годов был председателем Верховного Совета СССР. Реально же Анастас Иванович был назначен на эту должность 15 июля 1964 года.

Юлиу Эдлис в своих мемуарах «Четверо в дублёрках и другие фигуранты» (М., 2003) сообщает о Микояне следующее: «...Было это уже в послехрущёвскую (разрядка моя. -Ю.П.) пору, - на второй или третий день после своей встречи с Анастасом Микояном, тогда уже отстранённым от высокой властной должности и коротавшим свою старость всего-навсего пенсионером «союзного значения»: Трифонов задумал книгу о своём <...> отце <...> и, Анастас Иванович, которому теперь бояться и терять было уже нечего, согласился рассказать о Валентине Трифонове всё, что он о нём помнил, хотя, вероятно же, далеко не всё».

Плохо, что Эдлис не называет той высокой должности, которой лишился Микоян. Вероятнее всего, имеется в виду Председатель Президиума Верховного Совета. Им Анастас Иванович перестал быть в декабре 1965 года, после чего, однако, не ушёл на пенсию. Это произойдёт в июне 1966 года вслед за его отставкой из Президиума ЦК КПСС. Правда, до 1973 года Микоян ещё остается членом ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета. То есть, если следовать логике Эдлиса, то до указанного срока Анастасу Ивановичу было чего бояться. Однако микояновско-трифоновская конструкция Эдлиса, состоящая из лжефактов и лжехарактеристик, которые я вообще не комментировал, разлетается вдребезги уже от соприкосновения с очевидной реальностью: книга Юрия Трифонова об отце «Отблеск костра» вышла в 1965 году, то есть до каких-либо отставок, «союзного пенсионерства» и т.д.

Гораздо реже, чем о Сталине, Микояне, Хрущёве, и с меньшей охотой «шестидесятники» пишут о Ленине. Пишут чаще всего вынужденно. Так, понятно, почему Евтушенко не мог миновать этой темы: думаю, ещё немало читателей помнят его поэму о Ленине «Казанский университет». В своих мемуарах «Шестидесятник» (М., 2006) Евгений Александрович говорит о Владимире Ульянове, по сути, то же, что и Даниил Гранин в книге «Причуды моей памяти» (М., 2008). Приведу отрывок воспоминаний Евтушенко, из главы «Я - последний советский поэт»: «Я принадлежу к тем шестидесятиникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками? Как мы могли прочесть «Архипелаг ГУЛАГ» до того, как он был написан? Мы не знали, что под декретом о создании Со- ловков - первого догитлеровского концлагеря - стояла подпись Ленина, что именно он отдавал безжалостные приказы о расправах с крестьянами, не знали о его непримиримости к инакомыслящей интеллигенции. Многие его записки Дзержинскому, Сталину, депеши, указания скрывались».

Думаю, довод «мы не могли узнать» работает в том случае, когда такое заявляет, условно говоря, простой обыватель; если же эти слова звучат из уст писателя, тем более создавшего произведение о Ленине, то меня они не убеждают. Для того чтобы понять сущность Ульянова, знание «секретных материалов» (в которых, как видим, Евтушенко до сих пор путается) не обязательно. Работы и письма Ленина, изданные в СССР, дают представление о нём как о людоеде, ненавистнике Бога, России, русских, крестьянства, традиционных ценностей, сверхпримитивном толкователе отечественной классики.

Но возможно и другое: возраст, «жизненные слабости», лень, желание идти в ногу со временем и т.д. не позволили Евтушенко и «шестидесятиникам» увидеть подлинную суть Ульянова. Это произошло, по версии Евтушенко, лишь в 80-е годы. Но почему до сих пор - задаю я риторический вопрос - «шестидесятники», отравлявшие сознание миллионов своими «Казанскими университетами», «Секвойями Ленина», «Лонжюмо» (входившими в школьную программу) и мифами о «пламенных революционерах», не признали ни своей вины, ни своей моральной ответственности?..

При изображении социальной действительности во многих мемуарах возникает сюжет о «деле врачей», в котором особый акцент делается на последствия, якобы ожидавшие евреев. Например, в мемуарах Бориса Грибанова «И память-снег летит и пасть не может...» и Лазаря Лазарева «Записки пожилого человека» («Знамя», 2003, № 7) предстаёт такая характерная версия событий: «Москва жила в атмосфере страха, все ждали открытого судебного процесса над врача- ми-убийцами, готовящихся еврейских погромов и последующего массового

выселения евреев на север и в казахстанские степи. Говорили, что там уже строят бараки»; «Сообщение (об аресте врачей- вредителей. -Ю.П.) послужило началом разнузданной черносотенной, антисемитской кампании, готовившей то ли погромы, то ли депортацию евреев...».

Как известно, впервые подобные слухи, мифы родились ещё в начале 50-х годов XX века. Они транслировались как в СССР, так и за его пределами, особенно активно и заинтересованно - в США и Израиле. За последние двадцать лет издано большое количество «страшилок», авторы которых, подобно Грибанову и Лазареву, напрочь игнорируют альтернативную точку зрения историков. Такие мировоззренчески разные авторы, как Рудольф Пихоя, Геннадий Костырченко, Вадим Кожин, Сергей Семанов, утверждают, что планируемая депортация евреев - это миф, ибо нет никаких - прямых или косвенных - документальных доказательств сей якобы готовившейся грандиозной акции. Озвучу некоторые доводы, приводимые в этой связи.

Кожин в книге «Россия. Век XX-й (1939-1964)» (М., 1999) одним из первых обратил внимание на факты, разрушающие старые и новые мифы, порождённые «делом врачей». Во-первых, в отличие от многих исследователей, Вадим Валерианович акцентированно замечает, что по данному «делу» русских было арестовано больше, чем евреев. Во-вторых, для перемещения более двух миллионов человек на огромное расстояние была необходима «заблаговременная и очень существенная подготовка. А ведь абсолютно никаких сведений о подобной подготовке не имеется». В-третьих, Сталин, если бы и хотел, не мог осуществить депортацию евреев по разным причинам.

Более детально и всесторонне об этих причинах говорит Геннадий Костырченко в своей книге «Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм» (М., 2003), в главе «Миф о депортации». К тому же он обращает внимание на то, что Л.Каганович, Н.Хрущёв и другие руководители страны из окружения Сталина позже в своих мемуарах и интервью отрицали наличие плана депортации евреев. Исключением является Булганин - пенсионер, в сильном подпитии рассказывавший «байки» о секретном плане Сталина...

В мемуарах Гладилина «Улица генералов» (М., 2008) миф о депортации евреев обрастает новыми подробностями. Незнакомый капитан политотдела под воздействием алкоголя рассказал начинающему писателю такую историю о своём начальнике: «...Крейзер, конечно, еврей, но самый храбрый еврей Советской армии. Когда Сталин заставил (надо - заставлял. - Ю.П.) подписывать письмо о переселении евреев, все ваши штатские - академики, артисты, писатели - подписали, а Крейзер, тогда генерал-полковник, не подписал».

Вполне естественно, что во время встречи с капитаном Гладилин спокойно «проглотил» информацию о письме, но уже в момент написания мемуаров он, думаю, должен был данный факт проверить по достоверным источникам, ибо из таких деталей складывается у читателя представление о времени. Гладилин же в этом, как и в других случаях создаёт кривозеркальную реальность.

На самом деле письмо о переселении евреев никто не подписывал, ибо его не существовало вообще. В двух редакциях для публикации в «Правде» готовилось письмо (где говорилось о дружбе народов в СССР, о честных еврейских тружениках, клеймились Израиль и сионизм и т.д.), письмо, которым хотели снять напряжение, вызванное «делом врачей». Однако обе редакции письма, как и сама идея, в конце концов были отвергнуты Сталиным. И вот этот документ действительно подписали многие известные в Советском Союзе евреи: Илья Эренбург, Василий Гроссман, Самуил Маршак, Исаак Дунаевский...

Ситуация не меняется и тогда, когда «шестидесятники» обращаются к иным периодам и векам отечественной и мировой истории. Их суждения о ней есть не результат выявления закономерностей из совокупности фактов и событий, а производное от идей, схем, чувств, под которые подгоняется близкое и далёкое прошлое.

Вот как, например, Евгений Евтушенко в «Шестидесятнике», отталкиваясь от неизлечимого заболевания царевича Алексея, характеризует одну из особенностей русской истории и национального менталитета: «Мы знаем, что этот дядька-матрос предаст своего воспитанника, присоединится к тем, кто издевался над царской семьёй. Но многие из тех, кто расстреливал царскую семью, окажутся расстрелянными сами. Неостановимость крови - гемофилия - это

национальная болезнь России. Она берёт начало во времена тата-ро-монгольского ига, когда русские князья бесконечно сражались друг против друга, вместо того, чтобы объединиться. Тогда и зародилась национальная традиция, которой не стоит гордиться, - привычка к проливанью русскими русской крови».

Не вызывает сомнений, что в своих представлениях об истории Евтушенко так и не вырос из примитивных леволиберальных стереотипов. Не утомляя цифрами и фактами, тезисно, предельно кратко напомним широко известное, о чём неоднократно писали многие авторы, которых Евгений Александрович, видимо, не читал.

Сражения русских князей друг с другом велись ещё до нашествия монголо-татар, бесконечные же сражения - это явное преувеличение, плод фантазии и недостатка знаний Евтушенко. Немецкие, английские и прочие европейские «князья» воевали между собой не реже русских, а крови своих народов многие из них пролили больше, чем русские. То есть гемофилия - не собственно национальная болезнь. Кстати, почему Евгений Александрович не учитывает чужую кровь, пролитую теми же немцами, англичанами, французами или американцами? В этом они явно превзошли русских. И ещё: если гемофилия - данность отечественной истории, то откуда берутся такие периоды в ней, когда эта «болезнь» отсутствует или почти отсутствует? Например, практически весь XIX век или время правления Леонида Брежнева. И, наконец, как быть с большим количеством нерусских расстрельщиков царской семьи?

Не менее удивляет то, какой предстаёт во многих мемуарах литературная жизнь. Её изображение, её оценки видятся мне из армавирского далёка поверхностными, крайне схематичными, а часто - примитивными. Вот Анатолий Гладилин с ностальгией вспоминает времена, когда писатели читали друг друга, и критично отзываясь о дне сегодняшнем, ибо вместо «широкого литературного круга» существуют «многочисленные малочисленные кружки, которые стараются друг друга не замечать».

На уровне констатации фактов Гладилин, безусловно, прав. Он говорит об очевидном, о чём до него писали сотни, если не тысячи авторов. Но куда нужнее, продуктивнее было сказать о причинах и деятелях, приведших к такому результату. Естественно, что Гладилин и его единомышленники об этом не говорят и говорить - во всяком случае объективно - не будут: сие для них равносильно самоубийству.

То, что мы имеем сегодня - небывалое в истории России падение нравственности, интеллекта, отсутствие самых элементарных знаний в области литературы, истории и других дисциплин, массовое физическое вырождение, катастрофическое положение «толстых» журналов, преступная издательская политика, когда ублю- дочно-матерные книжки выходят тиражом большим, чем вся русская классика, вместе взятая, - это результат вашей деятельности, Виктор Ерофеев, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин, Татьяна Толстая... Результат деятельности той власти, которую вы двадцать лет окучиваете идейно и культурно.

Только не говорите, что вы ни при чём, вы, как всегда, в оппозиции к власти. Лучше вспомните, кто входил и входит в различные общественные палаты и комиссии при президенте и иных властных структурах, в том числе в комиссию по Государственным премиям, и кто эти премии и другие высокие награды каждый год - обильно и ни за что - получает, кого в юбилеи президенты поздравляли лично, чьим здоровьем интересовались, чьи произведения и телевизионные передачи хвалили, и про книжную ярмарку с Путиным и Шираком не забудьте...

Поэтому меня умиляет мыслительная и душевная невменяемость большинства «шестидесятников», которые до сих пор так ничего и не поняли. Даниил Гранин, например, в книге «Причуды моей памяти» (М., 2008) похвалу своим единомышленникам заканчивает тирадой: «Преобразились журналы, редактируемые Баклановым, Коротичем, Залыгиным, Баруздиным, Ананьевым. Словом, гласность, демократизация показали (???- Ю.П.) писателей как активных сторонников перестройки и подняли престиж советского писателя».

С престижем пусть разбирается Игорь Шадхан, на которого книга Гранина произвела «огромное впечатление» («Литературная Россия», 2009, № 1). Мы же вернёмся к характеристике современной литературной жизни. Эта жизнь, уверяет Гладилин, сводится к разного рода презентациям и, более того, «ни один литературный критик, даже из самого

паршивого издания, принципиально не откроет книгу, если вместе с ней ему не поднесут хотя бы рюмку водки и хвост селедки».

Я уже начал закипать от возмущения, ибо вспомнил МЛобанова, И.Роднянскую, В.Бондаренко, К.Кокшенёву, С.Куныя, С.Небольсина, В.Огрызко, В.Баракова, А.Татарина, Р.Сенчина, А.Рудалёва, С.Казначеева, Н.Крижановского и других бескорыстных критиков, но вовремя остановил себя: Гладили, конечно, имеет в виду тех авторов из «шестидесятнической», «либеральной» тусовки, с которыми сам общается... Но всё же не стоит в лучших традициях «пламенных революционеров» (о них «шестидесятники» накопали в своё время немало книг) говорить обо всех критиках так общо, мазать всех хвостом селедки... «Это ещё хуже, чем обвинения в антисемитизме», - слышится мне голос московского друга-критика.

Зависть - постоянный лейтмотив мемуаров «шестидесятников», одно из ключевых понятий в жизни творческой интеллигенции. Например, Сергей Довлатов в письме к Анатолию Гладили, которое последний приводит в своих мемуарах, объясняет, что нападки на Анатолия Тихоновича со стороны некоторых представителей третьей волны эмиграции вызваны социальной завистью: дескать, мы сидели в Риге, Ленинграде и т.д., «копались в говне», а вы - в столице - процветали... К тому же Довлатов утверждает, что данное чувство присуще и ему, и Бродскому.

Не комментируя сию мысль, скажу, на мой взгляд, о главном. Довлатов и согласный с ним Гладили забывают о более мощном «движителе» во взаимоотношениях писателей - творческой зависти. В таком случае чаще всего все другие соображения (место жительства, социальный и писательский статус, материальное положение) не имеют или почти не имеют значения.

Поясню на примере, который приводит Владимир Соловьёв в книге «Три еврея, или Утешение в слезах» (М., 2002). Евгений Евтушенко и Александр Кушнер, по сути, одинаково прореагировали на своё поражение в своеобразном поэтическом соревновании с Иосифом Бродским - читке стихов, устроенной на квартире Соловьёва. «Евтух (так в компании Соловьёва звали Евтушенко. -Ю.П.) забудет о покровительственных - по отношению к Бродскому - своих обязанностях (какое там покровительство!), и помрачнеет Саша, превратившись на глазах в маленького озлобленного карлика...».

Оба поэта, по Соловьёву, были заинтересованы в исчезновении Бродского с литературного ландшафта Советского Союза. А Евтушенко, согласно версии будущего Нобелевского лауреата, подтверждённой самим Евгением Александровичем в беседе с автором «Трёх евреев...», этому исчезновению способствовал. Евтушенко на вопрос Андропова: представляет ли он будущее Бродского в СССР, - ответил: не представляю. И уже через месяц поэт покинул страну по упрощённой схеме выезда.

Конечно, версию творческой зависти нужно использовать осторожно, во многих случаях она не срабатывает. Так, надуманным выглядит утверждение Гладили о том, что Твардовский не печатал в «Новом мире» Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Окуджаву, Рождественского из-за «профессиональной ревности - по популярности с нашими поэтами никто не мог сравниться». Суть проблемы, думаю, не в этом, а в человеческой и творческой несовместимости главного редактора «Нового мира» и названных поэтов, что в полной мере относится и к самому Гладили.

Анатолий Тихонович пишет, что ему понятно, почему Твардовский не печатал его, но причину или причины не называет. Вероятнее всего, подразумевается следующее объяснение: для Александра Трифоновича были неприемлемы формальные изыскания Гладили, «гениального» (В.Катаев) мовиста. Это, несомненно, так, но сие всё же - не главное. Думаю, в отношении Твардовского к Ахмадулиной, Гладили и компании определяющими явились онтологические разногласия.

Представления о жизни, человеке, литературе у Гладили были интеллигентско-западнокосмополитическими, у Твардовского - советско-народными с периодическими прорывами в традиционнорусские. Например, Анатолий Тихонович в понимании социального времени не только в 60-е годы XX века, но в XXI столетии даже не приближается к неожиданным для меня прозрениям Александра Трифоновича. Он 13 июля 1969 года после прочтения Идейчера делает такую запись: «Ну что мне до этой «борьбы титанов» - этого грузина (Сталина. -Ю.П.)

и этого еврея (Троцкого. - Ю.П.), полем состязания которых была русская жизнь, деревня, крестьянство - о которых они знали по книгам, суммарным понятиям, и обоим, в сущности, было ни холодно ни жарко от живой судьбы мужика, человека, людей, родины (где она у них)» («Знамя», 2004, № 9).

Итак, в этом суждении Твардовского всё чуждо-враждебно для мировоззрения «шестидесятников», Гладилина в частности. И то, что Александр Трифонович расставляет национальные акценты в разговоре о руководителях страны. И то, что Твардовский поверяет деятельность Сталина и Троцкого единственно правильными, традиционными критериями русской жизни и русской литературы.

В мемуарах «шестидесятников» существует чёткое подразделение на «своих» и «чужих». Если в повествовании В.Грибанова речь идёт о «своём», например, Михаиле Светлове, то никаких непристойностей о нём автор воспоминаний не рассказывает. И всё же вопросы возникают. Так, с какой целью появлялась в Коктейль-хол- ле каждый раз в два-три часа ночи жена Светлова? Чтобы довести его до дома или оторвать от стакана, а может быть, то и другое вместе? Особенно пошлой, недостойной выглядит в такой ситуации шутка «обаятельного человека», обращённая к статной жене: «Зачем мне, бедному еврею, такой дворец? Мне бы хижину».

Совсем по-другому, с явной неприязнью Б.Грибанов пишет о русском пьянице С.Наровчатове. Он и нужду справляет в рояль на глазах у всех, и неэстетично-комично ведёт себя после выхода из клиники для алкоголиков... А Б.Сарнов в своих мемуарах «Скуки не было» (М., 2004) говорит о Наровчатове и как о «партийном функционере, отъевшем свиноподобную ряшку, неотличимую от морд других таких же партийных функционеров».

Д.Самойлов, любитель размашисто-негативных характеристик, к С.Наровчатovu относится более благосклонно, чем Б.Грибанов, Б.Сарнов, Л.Чуковская и другие авторы. Из многих его разнонаправленных высказываний приведу одно (от 20 июля 1978 года), которое итожит предыдущие оценки и сфокусированно выражает отношение писателя к бывшему другу: «Масштаб человека определяется натурой. Наровчатov-характер или Наровчатov-личность мне чужды. Но в натуре его много незаурядного, много того, что можно ценить» (Самойлов Д. Подёрнные записи: В 2 т. - Т.2. - М., 2002).

В воспоминаниях Н.Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи» (М., 2006), Р. Киреева «Пятьдесят лет в раю» («Знамя», 2006, № 10), Ю.Кузнецова «Очарованный институт» (Кузнецов Ю. Прозрение во тьме. - Краснодар, 2007) акцент делается на «дневном», «светлом» С.Наровчатове. Показательно, что опорные слова в коржавинской характеристике поэта следующие: «редкостно красив», «насквозь интеллигентен», «ярко, празднично талантлив». В отличие от Лидии Чуковской, для которой Наровчатov - «проигравший себя карьерист» (письмо Д.Самойлову от 28.09.1978//«Знамя», 2003, № 6), Руслан Киреев называет Сергея Сергеевича сановником «с характером и принципами», отмечает его феноменальную память и фантастическую начитанность, высоко оценивает Наровчатова как главного редактора, широту его идейно-эстетических взглядов прежде всего.

Последнее качество в Наровчатове выделяет и не менее резкий в суждениях, чем Давид Самойлов и Лидия Чуковская, Юрий Кузнецов, когда говорит о нём как о руководителе семинара в Литературном институте. Сергей Сергеевич «принимал все течения и манеры и давал студентам полную свободу». По отношению к Кузнецову Наровчатov проявил себя и как добрый, отзывчивый человек, который помог кубанскому поэту после окончания института остаться и прописаться в Москве.

То есть пьянством или карьеризмом личность С.Наровчатова не исчерпывается. К тому же свидетельства Н.Коржавина, Р.Киреева, Ю.Кузнецова я приводил ещё и потому, что выросло целое поколение читателей, якобы профессиональных филологов, которые историю литературы, личность и творчество отдельных авторов воспринимают с позиций модных стереотипов, односторонних подходов, полного или частичного культурно-информационного беспамятства.

Уж если Роман Сенчин, талантливый писатель и серьёзный критик, признаётся, что мемуары Р.Киреева открывают ему «почти неизвестную... страницу советской

литературы» («Литературная Россия», 2008, № 1), хотя в них, по сути, ничего нового не сообщается, то что уж говорить о многих других...

Для воспринимающих литературу по учебникам В.Баевского, Н.Лейдермана и М.Липовецкого, В.Агеносова, М.Черняк, по мемуарам «шестидесятников» сообщу о поступке С.Наровчатова, замалчиваемом нашей «левой опричниной» (В.Розанов). Если бы такой поступок был фактом биографии, скажем, Е.Евтушенко, Д.Самойлова, А.Рыбакова, то о нём бы широко раструбили, в нём увидели бы проявление мужества, человеческого и писательского достоинства, порядочности.

Итак, в феврале 1970 года А.Твардовский в рабочих тетрадях приводит список новых членов редколлегии «Нового мира», список, который ещё нигде не публиковался. И как показали дальнейшие события, список был точен: «разведка» «Нового мира» работала хорошо. Однако С.Наровчатов внёс коррективы в этот список. Он, единственный из предложенных сверху кандидатов, отказался войти в новую редколлегия журнала.

Этот поступок никак не комментируется ни самим А.Твардовским, ни его дочерью. Они в коротком послесловии к публикации рабочих тетрадей отца («Знамя», 2005, № 10) дважды с горечью говорят о поведении известных писателей и критиков, которые предали Твардовского, стали дружно и поспешно сотрудничать с новым «Новым миром». Это Ю.Трифонов, Е.Евтушенко, А.Рыбаков и многие другие «борцы с тоталитаризмом». О С.Наровчатове в этом послесловии - ни звука. Это и понятно: партийная дисциплина есть сверхдисциплина... У нынешних либералов от литературы она ещё строже, чем у ортодоксальных коммунистов советской эпохи.

И всё же на поступок С.Наровчатова отреагировал 11 февраля 1970 года В.Лакшин. В своём дневнике он записал: «Рассказывают, что Наровчатов отказался работать в редколлегии без согласия Твардовского. Его утвердили прежде, чем поговорили с ним. Будто бы он отказался решительно, а выходя из кабинета Воронкова - плюнул и сказал: «Бляди». Хоть какое-то человеческое приобретение в эти дни. Рыжий <...> Рекемчук, конечно, на это не способен...» («Дружба народов», 2003, № 6).

У всех «шестидесятников» обязательно возникает в мемуарах еврейская тема. Трепетно-живое, почти священное отношение к ней обусловлено устойчивой «левой» традицией (евреи - соль земли, самый талантливый и несчастный народ...) и происхождением большинства мемуаристов. Их национальная самоидентификация происходит по-разному, но обязательно через сопряжение с еврейским миром.

Бenedикт Сарнов в книге «Скуки не было» откровенно и много пишет о своём еврействе, параллельно обильно мифотворствуя на тему антисемитизма. Станислав Рассадин, бывший друг Сарнова, в «Книге прощаний» (М., 2004) признаётся, что всю жизнь хотел стать евреем и, констатирую, стал им.

Людмила Петрушевская в очерке «Национальность не определена...» (См.: В Израиль и обратно. - М., 2004) называет собственное еврейство данностью, от которой никуда не деться, «проклятым горбом и прекрасным даром». Видимо, по «случайному» совпадению самые денежные премии в нашей стране получают «горбатые» и шабесгои: Людмила Петрушевская, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Владимир Войнович, Андрей Вознесенский, Владимир Маканин...

Наум Коржавин во вступлении к двухтомнику мемуаров «В соблазнах кровавой эпохи» на тридцати страницах рассказывает о своих родителях-евреях и многочисленных родственниках. В конце главы писатель делает, казалось бы, не логичный, не вытекающий из сказанного вывод, с которым, учитывая мировоззрение и творчество Коржавина, соглашаешься: «А любовь моя давно и бесповоротно отдана России. Почему я прежде всего и главным образом - русский».

Евгений Евтушенко в мемуарной прозе «Шестидесятник» счёл необходимым подчеркнуть, что в его жилах нет еврейской крови, как будто это что-то меняет в культурно-духовной прописке поэта. Как идеал, реализованный Евтушенко в жизни, как самохарактеристика, звучат для меня его стихотворные строки из романа «Ягодные места» про «слово радостное человек», в которое должны слиться оба слова - еврей и русский. Хотя иногда Евтушенко особенно

настаивает на своей русскости, как, например, в случае, рассказанном Владимиром Соловьёвым в книге «Три еврея, или Утешение в слезах».

Евгений Александрович в компании ему подобных товарищей в троллейбусе был атакован «разъярённым патриотом». Реакция поэта, который ранее просил Фиделя взять его солдатом острова Свободы, была такова: «Жена вдруг, сквозь весь троллейбус, кинулся к водителю, и мы услышали пронзительный мальчишеский его голос, срывающийся от волнения на дискант: «Я - знаменитый русский поэт Евтушенко, <...> а этот меня бьёт! Немедленно остановите троллейбус, закройте все двери, никого не выпускайте, вызовите милиционера, я - знаменитый русский поэт Евтушенко».

О попытке национальной самоидентификации и о сложностях, которые при этом возникают, - глава «Мы - евреи» в повествовании Евгения Рейна «Призрак среди руин». Поэт вместе с Ильёй Авербахом, оказавшись в израильской синагоге, пытается определить свою национальную принадлежность через незнакомый мир иудаизма. Неопределённый результат («смущение души») - следствие таких размышлений Рейна: «А кто были мы? Русские, может быть, но не совсем. Евреи? Но тоже какие-то неполноценные».

И еврейская полноценность субботников, выходцев из России, живущих в Израиле, исповедующих иудаизм, вызывает у поэта сомнение. Особенно его смущает, что субботники - «деревенской, абсолютно русской внешности люди». Но всё же имя-отчество одного из них - Израиль Моисеевич - окончательно снимает вопросы Евгения Рейна. Однако вопрос невольно возникает у меня, вопрос о полноценности полноценных евреев - служителей синагоги. Они обманывают поэта, заплатив ему за выступление 70 долларов вместо обещанных 100.

Анатолий Гладилин в «Улице генералов» говорит о своём происхождении следующее. Он дважды упоминает русского отца, о матери сообщает, что она «старый большевик и секретарь наркома Луначарского», себя же Гладилин характеризует так «по анкете я русский, Анатолий Тихонович». «По анкете» звучит двусмысленно, с подтекстом, подразумевающим, во-первых, формальную принадлежность писателя к русским, во-вторых, наличие нерусской матери. Выше приведённая информация о ней плюс явная юдофилия Анатолия Тихоновича дают основание предположить, что, скорее всего, его мать была еврейкой.

Я держу в уме и то, что уже в ранней повести «Бригантина поднимает паруса» (1959) «семитский вопрос» (цитата из произведения) встаёт перед главным героем Вовкой. Через размышления его и «лучшего грузчика» (так сказано в повести) еврея Лосева писатель стремится разрушить некоторые отрицательные стереотипы о дорогом для себя народе. Показательно и то, как поступает разозлённый ругательством пьяницы: «еврей, гад» - и его хамским поведением Вовка. Он наносит «несколько ударов, сильных, точных». И когда пьяница остаётся «лежать на мостовой», Вовка, убеждённый строитель коммунизма, спешно вскакивает в отходящий автобус.

В мемуарах Гладилина, вышедших через сорок девять лет после публикации данной повести, тихая, не декларируемая любовь к евреям проявляется во всём, в большом и малом. Например, многие авторы мемуаров разных направлений пишут о явном преобладании евреев в 50-60-е годы в редакциях журналов и газет. Так, в «Юности», где печатались произведения Гладилина, появлению Станислава Рассадина, как русского сотрудника журнала, по его свидетельству в «Книге прощаний», очень обрадовались, так как почти все остальные работники были евреи. Об аналогичной ситуации в «Знамени» рассказывает в своих мемуарах «Поэзия. Судьба. Россия» (М., 2005) Станислав Куняев.

Гладилин, в отличие от названных и неназванных авторов, говорит о единичном, точечном присутствии евреев в различных СМИ. Они, по его версии, выполняли функции преимущественно хранителей идеологической чистоты, как Александр Чаковский в «Литературной газете» или Борис Закс в «Новом мире».

Читатель, далёкий от литературы, каковым сегодня из-за проводимой «мудрой» вузовско-школьно-издательской политики является и большинство филологов, может поверить Гладилину. Тем более что он (как и все «шестидесятники», чьими мемуарами заполнены книжные магазины) последовательно проводит мысль об антисемитизме как общей атмосфере партийно-комсомольско-журнально-газетной жизни.

Однако те факты, которые сообщает сам Гладилин, если не опровергают, то ставят под сомнение объективность такой версии событий. Например, Лен Карпинский, секретарь ЦК ВЛКСМ, позвонивший Анатолию Тихоновичу после прочтения его повести «Дым в глаза», как прорвался через якобы антисемитские заслоны? Или представление о «Новом мире» резко изменится, если помимо За-кса будут названы другие евреи, работавшие в журнале. Вот только некоторые из них - Игорь Сац, Ася Берзер, Софья Минц, Владимир Лакшин, Ефим Дорош, Софья Караганова, Юрий Буртин.

В мемуарах большую роль играет авторская самооценка; степень её адекватности, как правило, определяет и адекватность других оценок и характеристик. В восхвалении себя любимого всех превзошёл Евтушенко, что, конечно, не неожиданность. По самохарактеристике поэта, он - «эпицентрик» XX века, а различные факты и события призваны сие подтвердить. Вот только некоторые из них: негр с Берега Слоновой Кости 25 лет носил в бумажнике газету со стихотворением Евгения Александровича «На мосту»; А.И. Микоян понял, что наступили новые времена, увидев очередь на вечер поэта; за Евтушенко «шпионили не только мелкие стукачи, но и председатели КГБ Семичастный и Андропов»; стихотворение поэта «Наследники Сталина» было доставлено в «Правду» на военном самолёте с резолюцией самого Хрущёва.

В главе «Ни с болонками, ни с овчарками» поэт называет себя и всех «шестидесятников» «мауглями социалистических джунглей», а другую главу в свойственной ему манере завершает так ««Волчий паспорт» - вот моя судьба». Тема несвободы, преследования Евтушенко и его товарищей лейтмотивом проходит через все мемуары. Об этом, по сути, говорит и Анатолий Гладилин в «Улице генералов», делая упор на том, что «они не печатались, они пробивались».

Данный широко распространённый миф в последние 15 лет был подвергнут убедительной критике как «справа», так и «слева». Довольно часто приводят в качестве контраргумента информацию, которую Евтушенко растиражировал в различных интервью, а затем включил в мемуары: поэт с «волчьим паспортом» посетил 94 страны мира... Отвечая на различные упреки, раздающиеся в адрес «шестидесятников» в последние годы, Евгений Александрович заявляет: «Про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что наша смелость была «санкционированной». Эта зависть к тому, как нас любили. Нам никто ничего не дарил - мы брали боем каждый сантиметр территории свободы».

По логике Евтушенко и Анна Ахматова попадает в завистники поэта. Она, свидетельствует Лидия Чуковская, довольно критично отзывалась о Евгении Александровиче как человеке и поэте. Показательно, что на утверждение Чуковской: «Начальство их недолюбливает», - Ахматова отреагировала так: «Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалуется на самом деле!» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. - СПб., 1996).

В «Шестидесятнике» есть «Глава, написанная не мной», где на 75 страницах приводятся отзывы о Евтушенко. Однако в этой главе не нашлось места для резко-негативных, уничижительно-убийственных высказываний о поэте Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Владимира Максимова, Галины Вишневской, Натальи Горбаневской, Владимира Соловьёва, Александра Зиновьева, Владимира Бондаренко, Станислава Куняева... Последний, в частности, в своих мемуарах «Поэзия. Судьба. Россия», ссылаясь на документ, обращает внимание на то, что перевод и издание книги Евтушенко в Голландии, по сути, спонсировались советским государством. Может быть, это Евгений Александрович и называет «брать боем каждый сантиметр территории свободы»?..

Вообще именно Станислав Куняев дал, на мой взгляд, самую точную оценку мемуарам Евтушенко, его личности и творчеству. В следующее переиздание «Шестидесятника», в «Главу, написанную не мной» советую включить - плюрализма ради - хотя бы такую цитату из мемуаров Куняева: «Пусть этот баловень судьбы, выкормыш «социалистических джунглей», этот сволочёныш, столько сил положивший для разрушения нашей жизни и воцарения ельцинской эпохи, пожинает плоды своих деяний - глядит на старух с протянутыми для подаяния ладонями, на мужчин, копающихся на помойках, на подростков с остекленевшими от наркотиков зрачками и мечтает только об одном, чтобы мы пожалели шакалов из его стаи - Собчака и Коротича...

«Волчий паспорт»? Да какой там волчий - сучий...».

Василий Аксёнов в книге «Зеница ока» (М., 2005) рассказывает о себе и «шестидесятниках», одним из которых является Юрий Ренье. В отличие от тех, кто оказался в Израиле, Германии, Франции, США и т.д., он остался «тута». Думаю, сие слово употреблено Аксёновым не столько по причине его известной ироничности, сколько из-за нежелания определять отношение своего героя к стране проживания. Не знаю, какого эффекта хотел достичь автор «Зеницы ока» следующим позиционированием Ренье, такой его культурно-духовной пропиской: «Кто-то ведь должен был позитивно оккупировать данную территорию».

Вот портрет «оккупанта» XX века Юрия Ренье в исполнении Василия Аксёнова. Он «ещё в школе грезил баррикадами Будапешта», а когда вырос, стал взрослым «барбосом», музыкантом и драматургом, брал иные баррикады - сердца девятиклассниц. То, что должно вызывать омерзение и желание дать в морду бородатому «дядьке» в шортах и майке, у его друга-шестидесятника вызывает одобрение и лёгкую иронию. Ренье «учил слушать» девятиклассниц джаз и трижды женился... В другом месте «шестидесятник-барбос» «манифестировал своё поколение» вновь через джаз, сюрреализм, кришнаизм (джентельменский набор недоумка). Ещё Ренье не голосовал за коммунизм, пел «Ожог» Аксёнова под гитару, преодолевал расстояния, чтобы раздобыть «кусочек черновика со сквернословиями».

Скажут: Юрий Ренье - неудачный пример. Хотите, возьмём другой, более удачный - самого Аксёнова. Помнится, в интервью Марии Дементьевой во время первого приезда в «тутошнюю» страну после долгого отсутствия, Василий Павлович говорил о себе как о гражданине мира и признавался, что относится к России «как к источнику информации, к литературному материалу» («Собеседник», 1989, № 50). Именно с такой позиции - чужестранства-оккупантства - Аксёнов оценивает в книге «Зеница ока» любые события и лица. Он утверждает, что «нелегко будет России замолить свою вину перед Синявским» (вину должен был замаливать именно Андрей Донатович за «Россию-суку» и многое другое), что русский народ должно обвинять за раскулачивание и ГУЛАГ (у Василия Павловича явные проблемы и со знанием истории, и с совестью: главная жертва становится у него единственным обвиняемым. А маму вашу и других «пламенных революционеров» вы, конечно, отнесёте к жертвам или героям?), что Борис Березовский - «генератор идей, человек, каких не хватает в постсоветской России» (без комментариев), а Алик Гинзбург - «проводник всех этих сахаровских и солженицынских сурово-жизненных идей» (каким мейнстримом такую нелепость в голову Аксёнова надуло?), и т.д., и т.п.

Итак, многое из того, что мы имеем сегодня, - в первую очередь, широкомасштабное одичание «тутошних» народов - это результат «позитивной оккупации» «шестидесятников». Ещё в письме к Боткину от 8 сентября 1841 года Виссарион Белинский, характеризуя себя и своих друзей-западников, точно определил тип человека-ко-сполита, который в XX веке будет явлен в аксёновых, гладили-ных, сарновых и прочих евушенках: «Человек - великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, немец, англичанин, русский. А русские ли мы?.. Нет. <...> Мы люди без отечества - нет, хуже, чем без отечества: мы люди, для которых отечество - призрак...» (Белинский В. Собр. соч.: В 9 т. - Т. 9. - М., 1982).

Уже более ста лет «люди без отечества», «граждане мира» во многом определяют культурно-литературный, образовательный и иной ландшафт нашей страны, уверенно ведут её, как чужую, ненавистную, «тутошнюю» территорию, к неизбежной гибели. Пора спасти нашу Родину, пора кончать со всякими «оккупациями» и «оккупантами».

Заметки на полях мемуаров и статей Станислава Куняева.

Станислав Куняев так определил одну из причин появления собственных мемуаров: предоставить возможность читателю судить об эпохе не только по многочисленным воспоминаниям «левых», но и «правых». Среди мемуаров последних книга «Поэзия. Судьба. Россия», публиковавшаяся в «Нашем современнике» в 90-е года XX века, была первой ласточкой. Затем появились мемуары Леонида Бородина, Василия Белова, Михаила Лобанова, Сергея Семанова.

Но и «левые», конечно, не дремали. К упоминаемым Куняевым публикациям добавились мемуары Александра Яковлева, Бенедикта Сарнова, Станислава Рассадина, Андрея Туркова, Юрия Манна, Василия Аксёнова, Анатолия Гладилина, Юлиу Эдлиса, Даниила Гранина... Однако книги, сопоставимой с «Поэзией. Судьбой. Россией» Станислава Куняева по охвату событий, уровню их осмысления, таланта, русского языка, у «левых» не появилось.

Труднее всего, тяжелее всего мне было читать первую главу мемуаров Станислава Куняева. Боль и печаль о жизни ушедшей пронизывают повествование о детстве будущего поэта. Боль неутраченная, можно сказать, беспредельная, а печаль - беспросветная. Сопряжение трёх временных пластов жизни - дореволюционного, советского и постсоветского - создаёт реальную и трагическую картину разрушения и угасания русской цивилизации.

В этой главе, написанной на уровне отечественной классической прозы, есть два эпизода, которые во многом объясняют явление Куняева и природу таланта русского писателя вообще.

Эпизод первый. Во время Великой войны голодный мальчик Куняев, жадно уничтожающий в столовой обед, вдруг почувствовал появление нежданного соседа, «припадочного», у которого умерла жена и осталась дочь-подросток «Его лицо, казалось, все состояло из впадин. Две впадины вместо щёк, впадины рта, и, самое страшное, - глубоко провалившиеся в лицевых костях глазницы, в глубине которых горели огромные глаза. Он глядел на меня так пристально, что мне расхотелось есть, и я отодвинул от себя тарелку. <...> Вслед за тарелкой мужчина схватил деревянную ложку, недоеденный мною кусок хлеба и, боязливо поглядывая <...>, начал, безостановочно работая ложкой, заглатывать остатки еды <...>

Я шёл <...> по обочине накатанной санями дороги и думать не думал о том, что проживу целую долгую жизнь, что множество лиц и взоров встретятся мне, что они будут излучать любовь, ненависть, восхищение, страх, восторг, - всё равно я забуду их. Но эти два измождённых лица отца и дочери, эти два пронзительных взгляда не забуду никогда, потому что в них светилось то, что без пощады, словно бы ножом освобождает нашу душу из её утробной оболочки, - горе человеческое...».

Только из ответной реакции на это горе, только из боли и сострадания вырастает настоящий русский писатель. Пытаюсь обнаружить нечто подобное в мемуарной прозе Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и нахожу лишь любовь и сострадание к своим отцу и матери, соседствующие с ненавистью к России, русским и даже к русскому языку, якобы несвободному и виноватому перед родителями поэта. В этом и проявляется одно из принципиальных отли-

чий русскоязычного писателя: его боль, сострадание, любовь индивидуально или национально избранны, ограниченны...

Эпизод второй - любовный. Приведу один из самых проникновенно-поэтических сюжетов мемуаров: «И тогда я, затаив дыхание, вдруг нащупал рукой маленькую ладошку девочки в белой шапке и, замерев от восторга, почувствовал, как та ладошка покорно и согласно легла мне в руку. Так мы простояли до конца службы, уже не глядя друг на друга, переговариваясь между собой кончиками вложенных пальцев и прикосновением горячих ладоней...

А потом этот мальчик вырос, стал мужчиной, мужем, отцом. Не раз душа его, как и положено земной душе, изнемогала под бременем страстей человеческих. Но никогда более он не испытывал чувства, подобного тому, которое посетило его в древней церкви маленького русского города лютой снежной зимой, в разгар Великой войны».

Мечта об идеале или сам идеал, живущий в писателе, помогает ему остаться человеком, личностью духовной. Поэтому и в творчестве своём он стремится, как точно пишет Куняев в главе о Николае Рубцове, «высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира». И что бы ни говорили о Есенине и Рубцове современные бухариноподобные и какие бы жуткие истории ни рассказывал в «Книге прощаний» (М., 2004) Станислав Рассадин о Михаиле Шолохове, Юрии Казакове, Владимире Максимове, нужно понимать главное: русский художник пишет «незамутнённой» частью души, он не реабилитирует грех или не возводит его в идеал, как это делали и делают многочисленные русскоязычные авторы XX-XXI веков.

Станислав Куняев впервые услышал слово «антисемит», значение которого не знал, от Михаила Светлова в 1960-ом году. Уточню: адресовано оно было не Куняеву и его друзьям... Вторично еврейский вопрос был поставлен Виктором Ардовым в «Знамени». Он, обращаясь к Станиславу Куняеву, спросил: «А вы, милейший, не полужидок?» Отрицательный ответ вызвал подозрение Ардова, логика которого так реконструируется Куняевым: «...Как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале? Вот отделом критики заведует «полужидок» Самуил Александрович Дмитриев <...>, его помощник Лёва Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публицистики сидят Александр Кривицкий, Миша Роцин (Гимельман) и Нина Кодонер - это все наши! Секретарь редакции - Фаня Левина, зам. главного редактора Людмила Ивановна Скорино, вроде бы украинка, но муж у неё Виктор Моисеевич Важаев <...>. А в прозе София Разумовская, а её муж Даниил Данин, а вдруг какой-то чисто русский!»

И то, что это не фантазия, не бред, не провокация «антисемита» Куняева, подтверждает, в частности, такое же по сути свидетельство юдофила Станислава Рассадина в «Книге прощаний». Ему при приёме на работу в журнале «Юность» был задан вопрос: «Стасик, вы не еврей?» Показательна реакция на отрицательный ответ Рассадина: «Ой, как хорошо! А то нас и без того здесь много...».

Вопреки навязываемому мифу о гонениях на «несчастных» евреев, их было действительно много во всех ключевых сферах советской жизни (за исключением материального производства), о чём неоднократно писали не только «правые», но и некоторые евреи, о чём анекдот Бахтина, рассказанный Кожинным Куняеву. «Проходил в Москве съезд Коминтерна, и на него прибыли представители многих коммунистических партий со всех концов света: китайцы, индусы, бразильцы, арабы, только вот от зулусской партии никто не приехал. И знаете, почему? Да потому что ни один еврей не решился намазать лицо сажей, проткнуть себе ноздри и вставить в них кольцо».

Этот анекдот рифмуется с тем, который зафиксировал в своей записной книжке Михаил Булгаков: «Будто по-китайски «еврей» - «там». Там-там-там-там (на мотив «Интернационала») означает много евреев».

Станислав Юрьевич неоднократно, убедительно и на разных примерах, опровергает версию о государственном антисемитизме в СССР. В частности, историей одной фотографии он подтверждает мысль Бориса Пастернака об открытости всех дверей перед евреями в 30-е годы. На подаренной Куняеву фотографии учителя и ученики выпускного класса 11-ой средней школы Ленинграда в 1939-ом году. «Из восьми преподавателей лишь один директор был осетином - все остальные <...> были соплеменниками Пастернака. Из двадцати четырёх

учеников лишь одна (!) <...> носила русскую фамилию - Болотина. Остальные 23 были: Хейфиц, Нейштадт, Рыбкин...».

В комментариях хозяйки фотографии Короевой невольно называется одна из причин того явления, о котором Вадим Кожин говорил незадолго до смерти: в годы обучения в МГУ он общался исключительно с евреями, русских же - высококультурных и высокоинтеллектуальных - почти не было.

Данную ситуацию Людмила Короева видит так «Это фото опровергает домыслы о дискриминации в образовании. Получали аттестаты и шли в институты, а все остальные вкалывали на стройках коммунизма».

Станислав Куняев отмечает крайнее тщеславие, напыщенность классиков советской литературы еврейского происхождения: Виктора Шкловского, Самуила Маршака, Ильи Сельвинского, Семёна Кирсанова и других. В числе одной из причин их глубокой уверенности в принадлежности к пантеону отечественной литературы автор мемуаров называет отсутствие конкуренции среди русских писателей-современников. Одни - Сергей Есенин, Николай Клюев и т.д. - были в могиле, другие - Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков и т.д. - «запуганы на всю оставшуюся жизнь», третьи - Анна Ахматова и Александр Твардовский - «заложники своих репрессированных родных и близких».

И всё же главная причина, думаю, кроется в особенностях национального менталитета «классиков», в их убеждённости, что люди - только евреи, и, соответственно, классиками могут быть, за редким исключением, только представители «избранного народа».

Вот, например, во втором номере «Нового литературного обозрения» за 2005 год опубликовано интервью, в котором Алексей Хвостенко «скромно» заявляет: «И себя я причисляю к людям, создавшим эпохи в культуре. Это ощущение подспудно существовало во мне всегда. И чем дольше я живу, тем больше в этом убеждаюсь»; «В общем, такие люди, как Кедров, я, Анри Волохонский и ещё некоторые, создают славу современной поэзии». «Некоторые» - это холины, сапиры, а Н.Рубцова, Ю.Кузнецова, В.Соколова и других выдающихся русских поэтов для Хвостенко просто не существует.

В автобиографическом романе «Максим» Хвостенко даёт ответ на вопрос, чем измеряется «человек-эпоха». Измеряется в том числе выпитым портвейном, водкой, одеколоном, многочисленными женщинами без имени и лица, экскрементами. О последних говорится: «Вот скажите мне, почему у нас не принято писать о говне? То есть не то что не принято, даже и пишут, и в кино показывают, а просто и запросто не пишут, и всё тут».

Вот беда-то какая!..

Ещё об одной «беде» с горечью и неудовольствием сообщается: несмотря на предпринимаемые попытки, гомосексуалиста из Максима не получилось.

Следующее высказывание Хвостенко о русской литературе даёт представление о подлинном росте «последнего человека Ренессанса», о его чудовищно примитивном уровне мысли и знаний: «Вообще в русской литературе всё перемешалось. Писатели рядились в одежды философов, поэты мнили себя пророками. Литературная критика XVIII и XIX столетий не знала практически ничего, кроме брани. <...> А про это самое XIX столетие что мы можем вспомнить? Наш Пушкин, чуть что, вызывает кого попало на дуэль. <...> Наш

Пушкин не позволяет издателю печатать стихи другого поэта и при этом невнятно оправдывается соображениями высшего порядка».

Советские «классики» еврейского происхождения, о которых пишет Куняев, за редким исключением, были такими же, по сути, «гениями», как Хвостенко. История с Эдуардом Багрицким, одним из советских писателей еврейского происхождения, - в центре главы мемуаров «Наш первый бунт».

Дискуссия «Классика и мы» проходила 21 декабря 1977 года в ЦДЛ. Совпадение с днём рождения Иосифа Сталина - в чём увидели символическую заданность некоторые участники дискуссии и зарубежные СМИ - чистая случайность. Сегодня самыми значительными,

глубокими выступлениями мне представляются выступления Станислава Куняева, Михаила Лобанова, Серго Ломинадзе, Ирины Роднянской.

Наибольший же резонанс, в том числе негативный, вызвала речь Ст. Куняева. Такая реакция объясняется тем, что Станислав Юрьевич затронул проблему сущности отечественной классики и русской литературы вообще (именно это до сих пор не оценено в полной мере) на примере творчества Э.Багрицкого, которого друзья и почитатели записали в классики. Оппоненты Куняева заметили в его выступлении лишь ссылки на еврейские реалии из произведений Багрицкого и то, что поэт отлучён от русской литературы. Это и стало основанием для обвинений Станислава Юрьевича в антисемитизме. Показательно, что и через тринадцать лет после дискуссии Н.Иванова в статье «Возвращение к настоящему» продолжала утверждать: «Но не ради анализа содержания поэм Багрицкого вышел Куняев. Главное - разоблачить «ущемлённость своим происхождением» (разумеется, неполноценным), «преодоление своих комплексов» (опять-таки национальных)» («Знамя», 1990, № 8).

Итак, что бы ни писала Н.Иванова о выступлении Ст. Куняева, что бы ни приносили в него сторонники и противники Станислава Юрьевича, реальный пафос его выступления иной, не утративший своей актуальности и сегодня. По Куняеву, поэзия Багрицкого направлена против всего, «что поддерживает на земле основы жизни». И как следствие - неприязнь и ненависть поэта к человеку, который создаёт традиционные ценности, материальные и духовные. Таким образом происходит разрыв с гуманистической традицией (тогда невозможно было сказать точнее - христианским гуманизмом) русской литературы, которую Куняев характеризует, в частности, так «Наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда нечто значительное». Как известно, по-другому об этом говорил Фёдор Достоевский, определяя своё кредо: «Найти человеческое в человеке».

Ст. Куняев справедливо считал: полный разрыв Багрицкого с русской литературой состоит и в том, что он в своём творчестве оправдывает разрешение крови по совести. И Станиславу Юрьевичу не нужно было ничего выискивать, выдёргивать отдельные строки из текстов, в чём его упрекали Е.Евтушенко, Н.Иванова и другие «левые». Пафосом кровавого человеконенавистничества пропитаны «Дума про Опанаса», «ТВС», «Смерть пионерки», «Февраль» и т.д. Правда, при всём своём «людоедстве», при всей своей нравственной аномальности Эдуард Багрицкий не достигает той точки падения, которая характерна для фантазий лирического героя в «Песне» Михаила Светлова:

В такие дни таков закон:

Со мной, товарищ, рядом.

Родную мать встречай штыком,

Глуши её прикладом.

Нам баловаться сотни лет

Любовью надоело.

Пусть штык проложит новый след

Сквозь маленькое тело...

Думаю, вполне закономерно, что Ст. Куняев через десять лет после дискуссии в статье «Ради жизни на земле» («Молодая гвардия», 1987, № 8) приводит слова Ю.Кузнецова «Забудь про Светлова с Багрицким» и делает соответствующий вывод: «...Это означало, что поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть нового мышления, нового гуманизма...». Е.Евтушенко, вечный оппонент Ст. Куняева, в этих словах увидел «оскорбительные обобщения, на которые не решались даже в худшие времена» («Литературная газета», 1988, № 2). В своём письме-кляузе «Премированное недоброжелательство» Евтушенко привёл такие трескучие, примитивно-пустые контраргументы: «Нет, не может быть нового мышления, частью которого не стала светловская «Гренада», ибо новое мышление зиждется не на узком национализме, исторически переходящем в шовинизм, а на великих идеях интернационального братства».

Собственно национальная, еврейская, тема, на которой зациклились многие, появилась только во второй половине выступления Ст. Куняева, и акценты в трактовке её расставлены совсем по-иному, чем это привиделось Е.Евтушенко, Н.Ивановой и другим. Станислав Юрьевич обращает внимание на то, что Э.Багрицкий отрешается не только от быта, чуждого ему по происхождению и воспитанию, но и от «родной ему <...> местечковости. Он произносит по её адресу такие проклятия, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался». На разных примерах из поэзии Багрицкого Ст. Куняев показывает бессердечность, жестокость, физиологическую злобу героя к своему родному - еврейскому - миру. И это отношение, с точки зрения русского поэта, удручающе, противоестественно, оно - волчье.

Обвинения или подозрения Ст. Куняева в антисемитизме разбиваются и о сравнение поэзии Э.Багрицкого с творчеством А.Фета и О.Мандельштама. Станислав Юрьевич приводит высказывания мемуаристов, ставящих Э.Багрицкого - по чувству природы - в один ряд с классиками русской литературы - от автора «Слова о полку Игореве» до А.Фета и И.Бунина. Опровергая эту точку зрения, Ст. Куняев убедительно показывает, что автору «Папиросного коробка» природа чужда и враждебна. В основе такого отношения лежит мироощущение поэта, принципиально отличное от традиционного русского. Ст. Куняев так, в частности, мотивирует данное утверждение: «У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, - астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть «всё, что душу облекает в плоть». Наоборот, обострённое чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Всё его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни».

Ясно, что национальное происхождение Фета, еврея по отцу, для Ст. Куняева не играет никакой роли, ибо поэт по-русски ощущает природу и мир. Русскость А.Фета за истекшие тридцать лет неоднократно подтверждалась разной аргументацией и с разных позиций, в том числе взглядом «со стороны». Яков Рабинович в книге «Быть евреем в России: спасибо Солженицыну» (М., 2005) приводит такую говорящую параллель: Юрий Нагибин, сын русских родителей, «был гораздо больше евреем», чем «композитор Рихтер Вагнер и поэт Афанасий Фет, хотя оба, живя сегодня, имели бы право по Закону о возвращении стать гражданами Израиля как дети отцов-евреев».

Другое сравнение Ст. Куняева (О.Мандельштам, в отличие от Э.Багрицкого, продолжил гуманистическую традицию русской классики) было замечено многими, и «левыми» оценено негативно. Скорее всего, Е.Евтушенко лукавил, когда на той же дискуссии заявил: «Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты». Что же касается другого довода Евгения Александровича: «Но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого», - то у Станислава Юрьевича, уверен, не было желания искусственно поднимать одного поэта за счёт другого: без таких оценок по «гамбургскому счёту», без подобных параллелей невозможно объективно определить значение и место любого писателя в истории литературы.

На протяжении последних тридцати лет отношение Ст. Куняева к Э.Багрицкому осталось неизменным, о чём, в частности, свидетельствует следующая чеканная характеристика: «Апологет коммунистической русофобии и революционного палачества» («Наш современник», 1994, № 2). Взгляд Ст. Куняева на О.Мандельштама не раз корректировался.

В интервью 1989 года «Идея и стихия» он утверждал, что Мандельштам «вольтовой дугой своего таланта» соединяет два мира: ветхозаветный, мифический и русский, реальный. В данном интервью чётко не сказано, к какой литературе Куняев относит поэта. Но с учётом того, что говорится о делении на русскую и русскоязычную литературу и с каким пониманием цитируется Лион Фейхтвангер («По убеждению я интернационалист, по чувству я еврей, по языку я немец»), Мандельштама можно отнести, если использовать мою классификацию, к амбивалентнорусским писателям.

Ещё через четыре года в «Прогулках с Мандельштамом» («Наш современник», 1994, № 2) Ст. Куняев признаётся, что по истечении времени ему стала очевидной поверхностность его мысли, высказанной в ходе дискуссии «Классика и мы»: Мандельштам - продолжатель гуманистической традиции русской классики. В 1990-ом году Станислав Юрьевич, по его признанию, казалось бы, готов был согласиться с логикой устроителей мирового этнографического центра в США, для которых Мандельштам - олицетворение еврейства,

Израиля. Однако в конце «Прогулок...» он высказывает сомнения в правильности такой прописки поэта: «Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатухе»; «А может быть, не столько Осип Мандельштам «наплывал на русскую поэзию», сколько она «наплывала» на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в частичку того тёплого и человеческого душевного мира, который мы называем «русским космосом».

В последней на сегодняшний день работе Ст. Куняева о О.Мандельштаме «Крупнозернистая жизнь» («Наш современник», 2004, № 3) показывается, как меняется мировоззрение и творчество поэта на протяжении 30-х годов. Об этих изменениях применительно к муссируемой «левыми» теме происхождения сказано так «Жизнь без наживы! Подобное состояние для Осипа Эмильевича, порвавшего ещё в юности с «хаосом иудейским», с культом золотого тельца, ушедшего в русскую бескорыстную литературную жизнь, было вполне естественным». И, продолжая тему, Ст. Куняев уточняет: «Жизнь без наживы», русско-советское бессребреничество было по душе Мандельштаму». Или о другом стихотворении, с позиций того же происхождения, говорится: «...В поистине сказочном финале <...> гордец Мандельштам <...>, смирив свою иудейскую жестоко- выйность, приносит покаяние вождю <...>, о котором написал неправду».

Те 54 стихотворения Осипа Мандельштама 1937 года, которые определяются Станиславом Куняевым как «державно-эпические, советски-сталинистские» не есть ли затянущаяся и, как оказалось, последняя попытка мучить «себя по чужому подобию»?

В статье Ст. Куняева «Крупнозернистая жизнь» говорится: «Для Бориса Пастернака величие социализма олицетворялось в эпическо-былинном образе Сталина, и то, что стихи о нём были написаны и напечатаны в 1936 году (после ареста и ссылки Мандельштама!), лишний раз свидетельствует о фанатичной вере поэта в величие вождя».

С не меньшим основанием можно утверждать противоположное. Во-первых, резонно предположить, что стихотворение «Художник», которое имеет в виду Ст. Куняев - это защита Пастернака, вызванная боязнью оказаться на месте Мандельштама. К тому же, что не новость, данное стихотворение было написано по заказу Николая Бухарина. Во-вторых, Мандельштам для Пастернака не был другом или человеком, которым бы он измерял себя и время: отсюда известная реакция Бориса Леонидовича на вопрос Сталина во время телефонного разговора в 1934-ом году.

Станислав Куняев, ссылаясь на свидетельство Иванова-Разумни- ка о поэме Н.Клюева «Кремль», присланной из ссылки и заканчивающейся словами «Прости или умереть вели», утверждает: «Оба поэта (О.Мандельштам и Н.Клюев.- Ю.П.) перед смертью успели повиниться перед вождём».

Иванов-Разумник - источник, мягко говоря, не очень надёжный. К тому же непонятно, за что должен был виниться Клюев? За «Пого- релыцину», за чудовищные реалии новой жизни, изображённые в ней, за людоедство, о котором он с такой силой и проникновенностью писал в поэме? Если и повинился Клюев, то не потому, что был неправ, а потому, что был подавлен, сломен.

В отличие от многих авторов, Ст. Куняев считает, что воронежские стихи, о И.Сталине в частности, написаны искренне, в здравом уме, они - вершина в творчестве поэта. Хотя вопрос о «прописке» О.Мандельштама в данной статье не поднимается, но по тому, что говорится, с уверенностью можно утверждать: Осип Эмильевич для Куняева, как и во времена дискуссии «Классика и мы», - русский поэт.

Возвращаясь к дискуссии, отмечу, что в ней, как бы ни представляли данное событие западные СМИ, принимали активное участие идейные противники П.Палиевского, В.Кожина, Ст. Куняева, М.Лобанова и других русских патриотов. Назову тех, кто открыто осудил выступление Ст. Куняева. Это А.Борщаговский, АЭфрос, Е.Сидоров, Е.Евтушенко и прикнудивший к ним Ф.Кузнецов. Они по-разному избегали полемики как аргументированного отстаивания своей точки зрения через опровержение доводов оппонента, ограничиваясь констатацией личного отношения, как А.Борщаговский («Ну, Багрицкий - это, так сказать, частный выпад. Для меня неприятный, я бы сказал более того - гадкий»), либо оценками

общей, аксиоматической направленности, как Е.Евтушенко (О.Мандельштам и Э.Багрицкий - «оба прекрасные поэты»).

Через одиннадцать лет Е.Евтушенко в своей поэтической антологии «Русская муза XX века» написал о Э.Багрицком с явным оглядом на выступление Ст. Куняева, имя которого не было названо. Евгений Александрович привёл одну из цитат, звучавших в речи Станислава Юрьевича. Привёл одну из самых «мягких» цитат на еврейскую тему:

Любовь?

Но съеденные вами косы; Ключица, выпирающая косо; Прыщи; обмазанный селёдкой рот Да шеи лошадиный поворот.

Если у Ст. Куняева о таком отношении сказано как о противоестественном, злобном, волчьем, то у Е.Евтушенко - принципиально иначе, щадяще мягко. Вышеприведённые строки он предваряет словами: «Багрицкий умел писать не только красиво, а иногда и жёстко, почти жестоко» («Огонёк», 1988, № 35).

Проповеди же человеконенавистничества, утверждению философии разрешения крови по совести Е.Евтушенко находит удобное объяснение. Он в духе известной традиции кивает на время и реанимирует мифы из биографии поэта: «Багрицкий безоговорочно принял революцию, сражался в особых отрядах и, принимая время, желая быть вместе с ним, впадал вместе с временем в его ошибки».

Во-первых, ещё в 1974 году вышла книга Олега Михайлова «Верность», в которой объективно и трезво - с подачи самого Багрицкого, при помощи цитаты из его стихотворения «Рассыпанной цепью» - определено творческое кредо поэта в тот период: <„> Друзья,

Облава близится к коню! Ударит Рука рабочья в сердце роковое, И захрипит, и упадёт тяжёлый Свирепый мир - в промёрзшие кусты... А мы, поэты, что во время боя Стояли молча, мы сбегимся дружно, И над огромным и косматым трупом Мы славу победителю) споём!

В контексте этих строк и умения Багрицкого писать на любые заданные темы свидетельство Максимилиана Волошина, приводимое Иваном Буниным, не выглядит неожиданным: «Поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступил в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для 1 мая, он заявил, смеясь: «У меня свободных только два, но оба монархические» (Устами Буниных. Дневники. В 2 т. - Т. 1. - М., 2005).

Во-вторых, я не знаю, что имеет в виду Евгений Евтушенко, когда пишет, что Багрицкий «сражался в особых отрядах»... Быть может, краткосрочную службу при агитпоезде?

В-третьих, философией исторического фатализма можно оправдать всё, в том числе и фашизм. При этом ошибки пусть останутся ошибками, а преступления - преступлениями...

Известные же строки из «ТВС», приводимые Ст. Куняевым, Е.Евтушенко называет срывом «в попытках философского осмысления мира». И далее, защищая Э.Багрицкого, он выдвигает такую в высшей степени неубедительную версию: «Но нельзя выдавать эти строки, написанные в 29-ом году, видимо, во время депрессии, за философское кредо всей поэзии Багрицкого, как пытались это делать недобросовестные интерпретаторы».

Конечно, доказательства депрессии отсутствуют, но если бы они и были, всё равно это ничего не объясняет. Поэт морально, духовно здоровый, в какой бы депрессии он ни находился, такое не придумает. К тому же «депрессия» у Э.Багрицкого была затяжная, многолетняя, как минимум, начиная с 1926 года, с «Думы про Опанаса» (которую Е.Евтушенко называет лучшим творением поэта) и заканчивая «Февралём» (1933-1934), годом смерти. Эти и другие программные, как уверяют, лучшие произведения Багрицкого проникнуты пафосом человеконенавистничества, «людоедства». Напомню лишь тот факт, который у Е.Евтушенко и И.Волгина, автора предисловия к сборнику поэта «Стихотворения и поэмы» (М., 1987), отсутствует. Э.Багрицкий так решает до суда судьбу несчастных, невинных, проходивших по шахтинскому делу: Семь в обойме Восьмой в стволе - Должны быть нашим ответом!

В своём выступлении Ст. Куняев точно передаёт основной мотив поэмы «Февраль»: еврейский юноша насилует русскую девушку, используя своё новое чекистское положение, и видит в этом своеобразную месть за себя и своих предков. Через тридцать лет в «Лейтенантах и маркитантах» («Наш современник», 2007, № 9) Станислав Юрьевич обращает внимание на эпизод из жизни Давида Самойлова, который, на мой взгляд, стоит в одном ряду с «местью» из «Февраля». Куняев не проводит параллелей с Багрицким, он видит в случае с Дезиком проявление давней, ветхозаветной традиции.

Итак, Давид Самойлов после «первой ночи» со Светланой Аллилуевой говорит своему другу Грибанову: «Боря, мы его трахнули». Замечу, что у друга Дезика возмущение вызывает не слово «его», а «мы». На реплику Грибанова: «А я-то тут причём?» - Самойлов ответил: «Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!» Станислав Куняев так, в частности, комментирует этот мерзопакостный диалог двух интеллигентных литераторов: «Дезик мог бы ещё добавить - и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация зеркально копировала ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса <...>. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфирь играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазнённого царя <...> - принцесса Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита - врага еврейского народа - сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Мсть свершилась. <...> Не просто её соблазнили, но через неё - ему отомстили».

Станислав Юрьевич сообщает о том, как по-разному реагирует ифлиец Давид Самойлов, воспитанный на первой волне русскоязычных авторов (В.Маяковский, Э.Багрицкий, М.Светлов и т.д.), на его - Куняева - выступление. В дневнике Дезик делает вполне предсказуемую запись: «Палиевский, Куняев и Кожин выкинули фортель на обсуждении темы «Классика и современность». Честолюбцы предлагают товар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света». В письме же к Ст. Куняеву его «наставник» был терпимо-корректен: о том, что у него действительно было на душе и в мыслях, сказано так «Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит. Просто по российской привычке всё путать мы путаем мировоззрение и нравственность»; «Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей».

В размышлениях Ст. Куняева о письме и дневниковой записи Д.Самойлова вновь, вполне естественно, возникает Э.Багрицкий: «Я-то думал, что он, «гуманист и философ», поймёт мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов <...>. Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспел и прославлял Багрицкий-Дзюба <...>. Дезик промолчал о той крови, как будто её и не было. Но осудил меня за то, что якобы моё выступление на дискуссии призывает к кровопролитию».

В этой очередной главе из мемуаров Ст. Куняева вскользь говорится об «одесской школе», о русскоязычных литераторах, перекочевавших в столицу. Во-первых, Станислав Юрьевич через тридцать лет совершенно точно прописывает статус Багрицкого и «компании» - русскоязычные. Раньше это понятие Куняев не использовал и не относился к нему критически, о чём говорил в интервью «Идея и стихия» («Литературная Россия», 1989, № 33). Во-вторых, данное перекочевание напрямую связано с реализацией того заветного, что Эдуард Багрицкий выразил в «Феврале» и что, если не ошибаюсь, никем не комментировалось. В поэме показательна и символична надежда героя, в которой - мечта автора: «Может быть, моё ночное семя // Оплодотворит твою пустыню».

Несомненно, Эдуард Багрицкий стремился «оплодотворить» «пустыню» классической литературы и русского сознания. С этой целью он и все известные писатели-одесситы перебрались в Москву и вскоре, по словам В.Катаева, её завоевали. «Победе» способствовало многое, но в первую очередь - власть и еврейско-одесская солидарность, о которой Э.Багрицкий говорит открыто в своих письмах.

В 1926 году он, уже москвич, даёт такой дельный совет НХард-жиеву: «Я слышал, что вы написали хороший сценарий. В Одессе, городе рыжего пива и чёрных евреев, вам, конечно, этот сценарий устроить будет трудно. Здесь же, в Москве, городе рыжего пива и русских кацапов, это сделать легче... Я постараюсь его устроить через Шкловского или Гехта» (Багрицкий Э. Письма. // Литературное наследство. - Т. 74. - М., 1965). Двумя годами позже Э.Багрицкий в письме к Т.Тэсс делает знаменательное признание: «Как честный

представитель одесской нации <...>, я посылаю вам привет через полярный круг...». Уточню: привет отправлен из Кунцева в Одессу, то есть не вызывает сомнения, что для «честного представителя одесской нации» вся Россия - это ледник...

Да, опасения Василия Розанова, выраженные в письме к Михаилу Гершензону ещё в 1909 году («Боюсь, что евреи заберут историю русской литературы и русскую критику ещё прочнее, чем банки»), оправдались через десять с небольшим лет. Только необходимо уточнить, что помимо евреев «победителями» стали и денационализированные русские типа В.Маяковского.

И как одно из последствий этого «завоевания», миллионы несчастных советских школьников десятилетиями воспитывали на «Смерти пионерки» Э.Багрицкого, где среди многочисленных чудовищных строк есть такие:

Возникай содружество Ворона с бойцом, - Укрепляйся мужество Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая Кровью истекла, Чтобы юность новая Из костей взошла.

Выступление Станислава Куняева стало первым публичным «нет» такой поэзии, таким ценностям, несовместимым с ценностями русской литературы.

Через тридцать лет в «Лейтенантах и маркитантах» Ст. Куняев вновь вернулся к этой теме. Он говорит об обвинениях, которые звучали в статьях О.Кучкиной, Е.Евтушенко, АЛГуркова и других авторов в связи с публикацией его статьи «Ради жизни на земле» («Молодая гвардия», 1987, № 8). Отвечая защитникам П.Когана, М.Кульчицкого, Б.Слуцкого и т.д., защитникам, повторяющим аргументы «адвокатов» Э.Багрицкого, Станислав Куняев сказал исчерпывающе точно: «Но житейская мудрость - «о мёртвых или хорошо, или ничего» - годится только на гражданских панихидах, тем более что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и ещё бушуют вокруг имён Достоевского, Маяковского, Есенина...» («Наш современник», 2007, № 9).

Как и Вадим Кожин, Станислав Куняев развенчивает миф о патологической мстительности Сталина на примере мягкого отношения вождя к совратителю его шестнадцатилетней дочери Светланы, сорокалетнему одесскому «дон Жуану» Алексею Каплеру. Более того, в поведении Каплера Куняев видит знаковое действие. К такому выводу он пришёл после комментария Давидом Самойловым своих стихов: «Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую, рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, радуясь бессилию всемогущего человека».

«Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин - все они в определённый момент начинали вести себя как цирюльники из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства».

Несомненно, названные и неназванные Ст. Куняевым «товарищи» обладали и обладают таким распространённым в XX-ом и XXI-ом веках талантом, как всегда идти в ногу со временем, легко и радостно подстраиваясь под него. Напомню, как поступали их «отцы», «предтечи» Эдуард Багрицкий и Юрий Олеша.

Первый в годы гражданской войны поразил Ивана Бунина своим цинизмом, своими «стихотворениями», написанными на все случаи жизни, под любую власть. У Юрия же Олеши во время приёма на работу в «Гудок» спросили: «Что вы умеете делать?» Находчивый одессит ответил: «А что вам надо». Нужны были фельетоны на железнодорожные темы. И Олеша, как утверждают очевидцы, не снимая плаща и шляпы, за 15 минут накропал фельетон без единой помарки, а главное - политически грамотно.

Действительно, в 70-е годы Василий Аксёнов и Анатолий Гладилин, «русские гении», как их «обозвал» Валентин Катаев, меняют свою политическую ориентацию. Но насколько «любовь к электричеству», к «пламенным революционерам» была их любовью, их сутью? Не знаю. Уверен в другом: новый курс, взятый русскоязычными авторами, был только внешне новым. По сути же он выражал их естественное состояние, их подлинные взгляды. И в данном случае

перестраиваться не пришлось, ибо гадящими на Россию и русских «цирюльниками» они были всегда.

В главе мемуаров о Вадиме Кожинове «За горизонтом старые друзья...» много очень точных суждений Куняева о своём друге, и не только о нём. Уверен, историки литературы, биографы Кожинова со временем, если русское время не остановится, растащат эту главу на цитаты. Приведу только одно высказывание Куняева, сколь неожиданное, столь и очевидное своей правотой, высказывание, так много дающее для понимания личности Вадима Кожинова: «Мало ли во все времена было критиков, писавших о поэзии, – Е.Сидоров, Лесневский, Рассадин, Чупринин, Сарнов, Турков, Аннинский, – но ни одному поэту в голову не пришла мысль вывести образ Чупринина или Рассадина в стихотворении. Это выглядело бы не то чтобы неприлично, но скорее смешно. Насколько не могли они быть объектами вдохновения. А Кожинов им был».

Любовь к истине и справедливости, полное бескорыстие Вадима Валериановича в мемуарах, в частности, подтверждается примерами «бомжа» Аркадия Кутилова и бывшего беспризорника, заключённого Михаила Сопина, открытых Кожиновым. «Пусть эти публикации были, так сказать, одноразовыми, но они, по убеждению Вадима, свидетельствовали о способности русского человека жить неким идеалом, творить, чувствовать и выражать себя в самых нечеловеческих условиях.

- Такой народ, Стасик, – постоянно повторял он при подобных обстоятельствах, – пропасть не может!»

Современная жизнь пока свидетельствует об ином. – Пропадает. Почти пропал...

Защищая Вадима Кожинова от «своих» (Всеволода Сахарова, Татьяны Глушковой, Владимира Бушина), Станислав Куняев прибегает к резким, едким, порой убийственным, но всегда справедливым оценкам. Например, об одном из «своих», в частности, сказано: «Но со временем выяснилось, что Сахаров человек вроде бы из патриотов, но пишет скучновато, мыслит не талантливо <...>. Так что не надо бы Сахарову со злорадством намекать на то, что он уже тогда понял тайную суть кожиновского влияния, что якобы «сразу было замечено и обошлось мне дорого: я был изгнан...». Боже мой, какое болезненное самолюбие! Да кому в те времена было нужно замечать и разгадывать «проницательные открытия» какого-то второстепенного сотрудника ИМЛИ, да ещё «изгонять» его из всех «славянофильских изданий», как фигуру крупную и опасную!»

Я некоторое время думал, что название главы «Наш первый бунт» о дискуссии «Классика и мы» неудачно, ибо бунт вроде бы не первый. Таким названием оттесняется на обочину истории сопротивление авторов «Молодой гвардии», которое началось примерно за 12 лет до дискуссии-бунта. Название главы, думал я, обусловлено личностным фактором, тем, что во время дискуссии «Классика и мы», несомненно, самым смелым, глубоким, триумфальным было выступление Станислава Куняева.

Однако после публикации статьи «Но истина дороже...» («День литературы», 2003, № 3) вторая часть сомнений развеялась, я признал свою неправоту и порадовался за Куняева. Он, обращаясь к В.Сорокину, в частности, пишет: «Вспомни, что именно он (Вадим Кожинов. – Ю.П.) организовал и осуществил наш первый бунт против еврейского засилья в культуре в 1978 году – дискуссию «Классика и мы». И даже фактическая ошибка в данном случае и контексте – «за» Куняева (дискуссия состоялась 21 декабря 1977 года), Куняева, написавшего в защиту Вадима Кожинова умную, справедливую статью, поступившего как благодарный и благородный друг.

По версии Ст. Куняева, озвученной в главе «Прощай, мой безнадёжный друг...», «русская партия» возникла не в «Молодой гвардии» во второй половине 60-х годов XX века, как утверждают многие, а в «Знамени» в период с 1961 по 1963 годы. Об иных очагах «русскости» в Москве в мемуарах сообщается следующее: «...При обществе Охраны памятников несколько позднее возник так называемый русский клуб, где витийствовали Пётр Палиевский, Дмитрий Жуклов, Олег Михайлов, Сергей Семанов, при журнале «Октябрь» полукровка Дмитрий Стариков и еврей Юра Идашкин успешно представляли русские интересы – не даром «Октябрь» был первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в Москве подборка стихотворений Николая Рубцова; в журнале «Молодая гвардия» под крылом

Леонова возмущали Владимир Цыбин и Виктор Чалмаев, Владимир Фирсов и Анатолий Поперечный...».

Этот отрывок вызывает немало вопросов. Во-первых, кто помимо самого Ст. Куняева и В.Кожина входил в «русскую партию» от «кружка» при «Знамени»? Из контекста и оценок автора мемуаров ясно, что это не упоминаемые А.Передрезов, В.Соколов, В.Дробышев. Тогда кто? Сам В.Кожин выдвигает «молодогвардейскую» версию рождения «русской партии».

Во-вторых, помимо публикации стихотворений Н.Рубцова, какие есть подтверждения тому, что Д.Стариков и Ю.Идашкин представляли русские интересы? В их собственных статьях «русский дух» начисто отсутствует. Есть и иная версия о том, кто пробил подборку Николая Рубцова. Но суть, конечно, не в этом, а в общей линии журнала. Она же, несмотря на отдельные «отклонения», была явно антирусской.

В-третьих, почему не назван Михаил Лобанов, фигура несравненно более крупная, чем Цыбин, Чалмаев, Фирсов, Поперечный?

Трудно согласиться с точкой зрения Ст. Куняева, которая, по сути, совпадает с версией «левых»: С.Чуприна, Ст. Рассадина, А.Дементьев, М.Твардовской, Н.Митрохина и других. В мемуарах Куняева читаем: «Но нас не устраивали «молодогвардейский» или «октябрьский» кружки, поскольку и тот и другой находились под мощным присмотром государственной денационализированной идеологии - «Октябрь» опекался цеховскими чиновниками, а «Молодая гвардия» - комсомольской верхушкой, нам же хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного свободы, и некоего лицейского царскосельского патриотического и поэтического содружества...».

Мне неприятием противостоит сближение «Октября» и «Молодой гвардии»: дело не столько в «опекунах», которые в понимании национального вопроса занимали разные позиции, а в «продукции» и линии журналов: интернационалистски-советской у «Октября» и непоследовательно русской у «Молодой гвардии». Это понимал Михаил Лобанов ещё в 1968 году, который в статье «Просвещённое мещанство» критиковал и «Октябрь», и «Новый мир» за бездуховность.

«Когда литературно-комсомольская делегация летела в конце шестидесятых годов после посещения Шолохова из Ростова в

Москву, он (С.Семанов. -Ю.П.) вдруг вытянулся в салоне самолёта по стойке «смирно» и командовал:

- Господа! Мы пролетаем над местом гибели генерала Корнилова! Приказываю всем встать!»

Здесь кто-то напутал, то ли Куняев, то ли Семанов. Корнилов погиб под Екатеринодаром.

Станислав Куняев в своих мемуарах, выражаясь языком либеральной интеллигенции, «достал» (это, конечно, не «говно», которое со вкусом и явным удовольствием Ст. Рассадина вкладывает в уста НАсеева и Б.Пастернака в «Книге прощаний») многих и многих «левых». Так, Евгению Сидорову, бывшему ректору Литературного института, министру культуры и послу России, даётся такая убийственная и справедливая оценка: «...Этот посредственный конформистский критик 60-70-х годов, от писаний которого не осталось не то чтобы строчки, но даже буквы». К тому же Куняев рассказывает историю, когда Владимир Соколов трижды намеренно называет Сидорова Евгением Абрамовичем, подчёркивая, думаю, не столько еврейство жены, сколько «шабесгойство» критика, благодаря которому он и достиг административных высот.

Евгений Сидоров так отреагировал через время на выпад Куняева. В 5-ом номере журнала «Знамя» за 2005 год в рецензии на книгу А.Туркова он уточняет: «...Деятельность С.Куняева как «идеолога» началась в конце шестидесятых именно тогда, когда он, будучи человеком умным, понял, что не может как поэт стать вровень со своими сотоварищами (Шкляревским, Рубцовым, Пере- дреевым). Предположу, что тайный комплекс поэтической неполноценности во многом создал главного редактора «Нашего современника». По иронии судьбы <...> не кто иной, как Борис Абрамович Слуцкий щедро благословил когда-то молодого Куняева на стихотворную стезю и (невольно) на «комиссарство». Второе возобладало».

В неадекватной версии Евгения Сидорова есть одна адекватность: хорошо, что он хотя бы признаёт ум Станислава Куняева. Как правило, единомышленники Сидорова отрицают и это. Давид Маркиш, например, в интервью Татьяне Бек («Дружба народов», 2005, № 3) походя называет Куняева «серым», но сам демонстрирует редкую серость и убогость мысли.

В вопросе же, кто был «наставником» Станислава Куняева, «левым» нужно разобраться. В отличие от Евгения Сидорова, Станислав Рассадин в «Книге прощаний» утверждает, что Александр Ме- жиров как мыслитель подпитывал, формировал Куняева. Через историко- философское тяготение автора «классического» стихотворения «Коммунисты, вперёд!» к Василию Розанову и Константину Леонтьеву, через «его рафинированные старания матерели кожи- новы и куняевы».

Воспользуюсь лексикой известного стихотворения Станислава Юрьевича, умеют, конечно, «смехачи» хохмить, умеют наводить тень на плетень, умеют нагло, беспардонно лгать. Думаю, что таким образом Ст. Рассадин отвечает на главу из мемуаров Ст. Куняева, где Межиров, «Шурик-лгун», предстаёт в самом неприглядном свете. Но зачем же самому уподобляться лгуну? Хотя и понимаю, что вопрос этот риторический... Невольно вспоминаются строки Юрия Кузнецова, адресованные Кожину:

Видать, копнул ты глубоко, историк, Что вызвал на себя весь каганат. Ты отвечаешь: этот шум не стоит Внимания. Враги всегда шумят.

Но и «шуметь» можно по-разному, можно, как однокурсник Куняева по МГУ Рассадин в «Книге прощаний»: «Звонит друг-кишинё- вец Рудик Ольшевский - поделиться скорбным недоумением как раз насчёт вечера в Лужниках, в записи переданного по радио:

- Что там у вас происходит? Выступает Булат - тишина. Читает Куняев - овация!

Хитрости монтажа в то простодушное время как-то не приходили в голову».

Это уже диагноз...

В главе о жизни и поэзии Николая Рубцова «Образ прекрасного мира», одной из самых лирических и светлых в книге Станислава Куняева, есть высказывание о природе и назначении поэта: «...Поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт - не по названию, по сути - выплывает сыновний долг народу <...> своеобразной заботой и уходом за народной душой...».

Это высказывание - полемика с расхожим «левым» взглядом на проблему. Именно через язык авторы от Иосифа Бродского до Бориса Хазанова определяют национальную принадлежность писателя. Куняев, как и все «правые», определяет её через духовное сопряжение с народным идеалом, который своими корнями уходит в христианство, Православие. Православие же для всех «левых», русскоязычных - это проказа, рабство, главный враг... Иосиф Бродский, например, так говорит о роли Православия в своей жизни в эссе «Полторы комнаты»: «В военные годы в её (площадь с собором. - Ю.П.) подземелье размещалось одно из бомбоубежищ, и мать держала меня там во время воздушных налетов <...>. Это то небольшое, чем я обязан православию...».

В приведённом высказывании Куняева точно определён и характер отношений двух участников жизнетворческого процесса - писателя и народа.

И у нас есть все основания сказать, что Станислав Юрьевич по- сыновьи благодарен своему народу - почве, на которой только и вырастают русские таланты, гении. Всем своим творчеством, подвижнической деятельностью он возвращает долг народу, делает всё возможное, чтобы русские и Россия не исчезли с исторической сцены.

Вадим Кожин в несвойственной ему высокопарной манере в дарственной надписи на книге, подаренной Станиславу Куняеву, в частности, утверждает: «...И поверь мне, - я знаю, - что твоя мудрость, мужество и нежность, воплощённые в твоих словах и деле, останутся как яркая звезда на историческом небе России!» И это действительно так

«Лейтенант Третьей мировой»: интервью со Станиславом Куняевым.

Юрий Павлов. *Станислав Юрьевич*, ваши недруги из либерально-демократических СМИ называют вас русским националистом, антисемитом, черносотенцем. Как вы относитесь к такого рода «оценкам»?

Станислав Куняев. Когда в ответ на мои исторические исследования, на цитаты из классиков, на упоминание должностей и фамилий, на приведённые неоспоримые факты я слышу: «Ксенофобия! Расизм! Антисемитизм!», я отношусь к такого рода истерике спокойно и спрашиваю беснующихся коллег: «Граждане, я сказал правду или неправду? Если правду, то закройте рты. Фёдор Михайлович Достоевский однажды изрёк: «Правда превыше всего, даже - России». Хотите, чтобы я пояснил свою мысль? Пожалуйста!

В течение последнего года я был втянут в длительную и жестокую полемику с Марком Дейчем из «Московского комсомольца» и с Семёном Резником из «Еврейской газеты». Дейч объявил в одной из своих статей, что главным виновником в репрессиях 30-х годов были русские чекисты. В ответ я напомнил ему, что шефом ОГПУ в те времена был Генрих Ягода. Тогда оба журналиста завизжали: «Антисемитизм! ГУЛАГ! Ягода был не еврей, а коммунист!»

В ответ я уточнил, что «коммунист» - это партийная принадлежность, которую можно поменять, из партии могут перед расстрелом исключить, но евреем ты всё равно останешься. А ещё я добавил, коли они вспомнили ГУЛАГ, что начальником всего ГУЛАГа был М.Берман (сменивший Когана), что у Бермана было три заместителя - Раппопорт, Плиннер, Кацнельсон. Я даже не стал выяснять, какой они национальности. Не успел, потому что наши папараци засучили ножками, засверкали глазёнками и завопили: «Расист! Погромщик! Черносотенец!» Но я, не слушая этот гвалт, добавил, что в ноябре 1935 года в газете «Известия» был опубликован список награждённых орденами всех степеней комиссаров госбезопасности, верхушки НКВД, в котором из 37 фамилий 19 (то есть 52%) были соплеменниками Марка и Семёна, а остальные 18 - русские, украинцы, белорусы, латыши, поляки, грузины и «разные прочие шведы», говоря словами Маяковского. Я переспросил Марка и Семёна: знакомы ли они с этим указом о награждении, или это очередная сталинская фальсификация истории? В ответ Семён возопил, будто бы я обвиняю их обоих в том, что они пьют кровь христианских младенцев, потом у обоих пена пошла изо рта и они рухнули без чувств наземь. На том дискуссия и закончилась. Вроде через некоторое время оклемались. Но молчат до сих пор...

Вот такие у меня разборки случаются. А недавно один читатель- патриот назвал меня в письме «сторожевым псом русского народа». Не знаю, то ли печалиться, то ли радоваться. Словом, и смех и грех.

Ю.П. Вы неоднократно отрицательно высказывались о подходе, когда человек, народ определяются с позиций крови, «кровного» происхождения. Вы ещё в 1989 году справедливо говорили, что нация, народ - «понятие больше духовное, нежели кровное». Вас же, непонятно по каким причинам, называют то татарин, как Вадим Кожин, то полукровкой, как Яков Рабинович. Как, Станислав Юрьевич, Вы относитесь к этому и как определяете свою духовно-культурно-национальную прописку?

Ст.К. Сколько было крику в «Огоньке» в разгар перестройки, что русские патриоты считают, будто бы власть в России должна принадлежать чистокровным русским... А между прочим, никто из знаменитых русских писателей, поэтов, историков никогда не утверждал такую глупость. Ни Валентин Распутин, ни Василий Белов, ни Владимир Личутин, ни Юрий Кузнецов, ни Вадим Кожин... Все они (и многие другие) понимали русскость не как «расистское» кровное, а как духовно-религиозное понятие. «Край мой - любимая Русь и Мордва», - писал «националист» Есенин. «И назовёт меня всяк сущий в ней язык..», - утверждал русский государственный Александр Пушкин.

Мне надоело объяснять эту очевидную, словно народная поговорка, истину. Конечно, русский народ проявил гениальные способности в строительстве великого государства. Во время этого тысячелетнего строительства сложился русский многокровный характер со всеми своими великими достоинствами и изъянами, и я вижу и в своей судьбе следы этих достоинств и недостатков, но, как сказал Пушкин: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». Вспомним, что эту великую формулу нашего русского патриотизма завещал нам человек с долей африканской крови, но абсолютно русский по духу.

Ю.П. В своё время Вы резко отозвались о делении литературы на русскую и русскоязычную, отозвались, если я правильно понял, так потому, что при подобном подходе за бортом истории литературы остаются писатели, которых не пропишешь по «ведомству» ни русской, ни русскоязычной литературы.

Как Вы сегодня могли бы подвести итоги поэзии XX века, то есть назовите лучших поэтов русской, русскоязычной литературы XX века и той, которая «между», которую можно назвать «амбивалент- норусской».

Ст.К. Пушкинская формула патриотизма может нам объяснить многое в разговоре о русской и русскоязычной литературе...

Невозможность для русского писателя «переменить отечество» и отказаться от родной истории: это фундаментальная основа для русского писателя. Язык - это ещё не всё. И на родном языке можно проклинать родину что делал первый диссидент пушкинской эпохи Владимир Печерин, и на родном языке можно было блистательно публицисту Александру Герцену измышлять над русской историей так, что Достоевский вынужден был заметить, что автор эпопеи «Былое и думы» «не стал эмигрантом, но он им родился»...

В советское время подлинно русскими писателями и поэтами безо всяких оговорок стали сыновья русского простонародья: Сергей Есенин, Николай Заболоцкий, Павел Васильев, Николай Клюев, Михаил Шолохов... Владимир Маяковский, сложившийся и проведший полжизни в бриковском салоне, был стопроцентно советским поэтом с юдофильскими и чекистскими комплексами.

То же деление применимо и к литераторам военного поколения. Проза Виктора Астафьева и Константина Воробьёва, поэзия Александра Твардовского и Фёдора Сухова была, несомненно, куда более народной и русской, нежели книги Василия Гроссмана, мемуары Ильи Эренбурга или стихи Давида Самойлова, самая ключевая и яркая строчка из поэзии которого, хотя и написана на русском языке, но выражает абсолютно не свойственное русской душе чувство: «Я хочу быть маркитантом при огромном свежем войске».

И в поколении «оттепели» это деление на русских и русскоязычных осталось (с одной стороны, Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Василий Белов, Валентин Распутин, Вадим Кожин, с другой - Евгений Евтушенко, Василий Аксёнов, Владимир Войнович и прочие «маркитанты» калибром поменьше вплоть до Виктора Ерофеева).

Впрочем, все названные мною и многие неназванные писатели останутся так или иначе в истории литературы.

Ю.П. Выступление на дискуссии «Классика и мы», письмо в ЦК КПСС о сионизме, статьи о Высоцком, поэтах-ифлийцах - это и многое другое вызвало долгое эхо и известные последствия. Что движет Куняевым в подобных случаях, откуда в нём это матросов-ское начало - броситься на амбразуру?

Ст.К. Мною во всех моих дерзких и неосторожных с точки зрения здравого смысла поступках двигало одно чувство - поиск истины. А силу и решимость мне всегда давало сознание своей правоты. Когда оно приходило ко мне - меня невозможно было остановить, отговорить, запугать. Мои недруги часто намекали, что за мной во время такого рода поступков, нарушающих всяческие табу, стоят некие силы: националистические, партийные, кэзэбэшные... Глупцы. Я всегда действовал в одиночку, отвечая лишь за самого себя, не желая никого подставлять, сознавая себя абсолютно независимым в своих поступках. Когда я шёл на дискуссию «Классика и мы», я никому не показывал своего выступления, ни с кем не советовался. Даже с Кожинным. Побеждать в одиночку - задача тяжёлая, но крайне увлекательная! И никакого «русского ордена» в ЦК КПСС не было. По крайней мере, я о нём ничего не знал и ни на кого не надеялся, кроме самого себя. Я знал, что во время всех своих выходов я успею сказать столь важные вещи, посеять столь нужные семена, что завтра они обязательно дадут всходы.

Конечно, синяков, шишек, выволочек, притеснений после этого я получал немало. Но на душе всегда после таких напряжённых и рискованных прорывов у меня становилось легко и светло от сознания своей моральной победы и исполненного чувства долга. Перед кем? Перед русской жизнью, перед русской историей, перед своей совестью... А на все сопутствующие этому чувству неприятности житейские мне было наплевать. Dixi!

Ю.П. Ваша книга о Сергее Есенине, написанная совместно с сыном Сергеем, - это лучшее на сегодняшний день исследование о великом поэте. Как и почему родился замысел книги, как протекала работа, с какими трудностями Вы столкнулись, и удалось ли достичь поставленной цели?

Ст.К. Мы понимали, что работа над книгой о Есенине в сущности есть работа по осмыслению истории России XX века, русской идеи, русского будущего. Мы понимали, что работаем в странное для России время и что именно сейчас разгадка судьбы и творчества Есенина для России словно бы последняя роковая ставка, которая поможет выиграть борьбу за историческое будущее. В процессе работы нам становилось очевиднее, что разгадать тайну Есенина - значит разгадать тайну и причины русской трагедии XX века. Без этой разгадки будущее России неясно.

Гоголь как-то заметил, что Пушкин - это идеальный тип русского человека, который во всей полноте откроется для нас лет через двести. Есенин боготворил Пушкина, но вся заковыка в том, что сам он не был человеком пушкинского склада и что не пушкинский тип («человек меры»), а есенинский («человек без предела») определил ход русской истории в XX веке и характер русской революции.

Люди есенинского склада, о которых Достоевский говорил, что их «сузить бы надо» («широк русский человек!»), определили в нашем столетии размах и стиль основных российских событий. Люди есенинского склада были главной силой у большевиков и у белогвардейцев, у анархистов и у донских казаков, у антоновцев и продармейцев. Разве Григорий Мелехов не человек есенинской складки? Эти люди во взаимной самоубийственной борьбе за правду не могли удержаться от соблазна «перевеситься через край», оттого русская революция и стала такой глубокой, такой великой, такой кровавой и такой героической. Главные черты людей этого типа - безмерная одарённость, духовный фанатизм, широта диапазона между злом и добром, совершенно непонятное западным людям богоборчество, замешанное на религиозном чувстве, способность прожить за одну жизнь как бы несколько жизней, пренебрежение к чужой судьбе и к собственной жизни...

Всё это вместе взятое и есть то, что мы порой называем «рус-скость». Аполлон Григорьев как-то сказал, что «Пушкин это наше всё». В XX веке «наше всё» - это Есенин.

Кстати, книга была написана к 100-летию поэта в 1995... И за 12 лет выдержала 7 изданий. Вот так-то!

Ю.П. В стихотворении Юрия Кузнецова, которое посвящено вам, Станислав Юрьевич, есть такие строки: «Потому что Третья мировая // Началась до первой мировой». Если я правильно понимаю смысл этих строк, то Юрий Кузнецов отталкивался от известного выступления Юрия Селезнёва, от такой мысли своего кубанского земляка: это война за нашу душу, за нашу духовность, и передовой плацдарм этой войны - русская литература. Если мы обратимся к

учебникам по современной литературе и русской литературе XX века вообще, то большинство достойнейших русских писателей в этих учебниках не увидим: всё И.Бродский, В.Гроссман, А.Бек, Т.Бек, Сдовлатов, Авознесенский, Б.Окуджава и другие русскоязычные авторы. Не кажется ли вам, что эту войну мы проиграли или почти проиграли?

Ст.К. В значительной степени вы правы, мы её проиграли, прежде всего потому, что не сумели утвердить главную истину: Вторая мировая война была венцом вечной Третьей мировой войны. Мы не сумели отстоять совершенную и объективную истину о великой жертвенности и нашей страны, и русского народа в том, что в конечном итоге стало называться нашей Победой. Нас закидали шапками. В последние 20 лет средства массовой информации забросали либеральными штампами смысл нашей войны и смысл нашей победы.

Юрий Кузнецов, который жил в высших духовных сферах, старался выразить не мировоззренческий, а религиозный смысл войны, условно говоря, между добром и злом, этой вечной Третьей мировой, вышедшей на историческую финишную прямую в XX веке. По поводу моих небольших восстаний: дискуссия «Классика и мы», письмо в ЦК и т.д. - он говорил так: «Стае, какие-то цели у тебя слишком приземлённые. Ты воюешь с конкретными лицами: критиками, писателями, историками, а я борюсь со всей мощью тёмных сил, я не хочу различать их лица, фамилии... Ты всего лишь лейтенант, ты идёшь в атаку, пуля тебе в лоб попадёт, ты споткнёшься, упадёшь и даже не поймёшь, что уже погиб». То, что он назвал меня лейтенантом Третьей мировой, мне льстит. У Кузнецова есть стихи «В тишине генерального штаба». Он с этих позиций смотрел на всё, смотрел как идеолог генерального штаба, который воюет с силами мирового зла. У меня же очень конкретное мышление в отличие от Юрия Поликарповича. Я ему говорил: «Юра, каждому - своё. Вот у меня есть свои окопы, есть враги на той стороне, есть своя линия фронта... С меня вот так этого хватит».

Ю.П. Станислав Юрьевич, а чем объяснить то, что студенты многих вузов страны, прежде всего московских, и большая часть преподавателей не знают и не хотят знать таких прозаиков, как Юрий Казаков, Георгий Семёнов, Василий Белов, Владимир Личутин, Пётр Краснов, Леонид Бородин, Вера Галактионова, не знают или плохо знают поэзию того же Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Николая Рубцова, Станислава Куняева и многих других настоящих, больших и великих русских писателей. То есть, по сути, оправдался прогноз Василия Розанова, и к русской литературе привит «дичок обрезания», еврейский дичок, и многие наши соотечественники, сами о том не подозревая, «пожидовели». Почему это произошло? И здесь же второй вопрос, напрямую связанный с первым: интеллигенция - это зло, проклятие России или, как говорил Вадим Кожин, мост между государством и обществом?

Ст.К. В нынешней ситуации нет ничего нового. Вновь восторжествовало западничество, которое периодически возрождается и неистребимо, как зубы дракона, если использовать образ Шварца. Подобное происходило ещё в эпоху Пушкина, и через лет десять после его смерти он был фактически забыт.

Ю.П. Да, всё это уродство и вырождение русской мысли, русского взгляда на мир началось с Белинского, Добролюбова, Писарева...

Ст.К. Великое пушкинское понимание русской истории, которое, казалось бы, должно быть незыблемым, было отодвинуто, заброшено. Ведь русская либеральная и революционно-демократическая интеллигенция отвернулась от великих пророчеств Пушкина, начиная с его «Клеветникам России»... В сущности, Пушкин предугадал всё, что произошло в 90-е годы XX века, в первую очередь, обкорнание русского мира.

А Фёдора Тютчева, этого гения геополитической мысли, разве поняли? Две его работы «Россия и Германия», «Россия и революция», на которых нужно было воспитывать учителей, дипломатов, политиков, всю интеллигенцию, остались, по сути, незамеченными, не повлияли на русское общество той эпохи.

А Фёдор Достоевский с «Дневником писателя»? То есть наш проигрыш не случаен, он заложен в нескольких поколениях прозападной интеллигенции, которая всегда реанимирует эту антирусскую, антироссийскую прозападную волю. Так что в этом смысле русская национальная мысль несчастна, она никогда не могла сформировать слой русской

интеллигенции, несмотря на свою пророческую правду. И я не удивляюсь, что мы проиграли. Я больше удивился бы, если бы мы выиграли.

Ю.П. Следующий вопрос естественно вытекает из сказанного. Станислав Юрьевич, назовите ваших любимых мыслителей XIX- XX веков.

Ст.К. В XIX веке - это Пушкин и Леонтьев. Последний, конечно, несколько односторонен, но он так мощно сформулировал все опасности, все исторические ямы и ловушки, что ожидали Россию.

Но и его пророчества были не услышаны, он никак не повлиял на русскую интеллигенцию.

Ю.П. «Неузнанный феномен» - так назвал статью о нём Василий Розанов.

Ст.К. Да, неузнанный феномен.

Россия и революция - вот роковой вопрос, поставленный Ф.Тютчевым, которого почти никто не услышал. Когда я в 60-е годы прочитал две главные статьи Тютчева, я подумал: Господи, такие заветы, такие проникновения в глубину русско-европейских отношений, а мы как будто заново начинаем свою историю, заново начинаем свою мысль. Ради Бога, всё уже сказано. Только накладывай этот великий шаблон на сегодняшнюю жизнь, и будет ясно: куда пойдёт история, откуда нас ожидают опасности, кто наши союзники и извечные враги... Вот наконец-то сейчас в путинское время мы только начинаем понимать, что существует понятие «геополитические враги». А Пушкин, Достоевский, Тютчев, Леонтьев понимали это ещё в то время. Конечно, политическое развитие нашего XX века способствовало тому, что это понимание, как мусор, было выброшено на свалку истории. Однако вечные истины выбросить и убить невозможно, они рано или поздно вновь прорастают, можно только сделать вид, что их не существует.

Из мыслителей XX века я очень ценю Даниила Андреева. Игорь Шафаревич, например, называет его крупнейшим поэтом второй половины XX века. Ну это вопрос спорный. Мне же он интересен как историософ, который замечательно понимал геополитические реалии XX века и не только его. В один из юбилеев Даниила Андреева мы в «Нашем современнике» напечатали его стихи о нашествии новой фашистской Европы на Россию, ведь это было религиозное европейское нашествие, а не политическое противостояние Гитлера и Сталина, как это часто представляют, упрощая до идиотизма, наши историки. И, конечно, здесь без фигуры Сталина обойтись невозможно: он - в центре этого узла.

И вот Даниил Андреев, осмысляя русскую историю от Ивана Грозного до Иосифа Сталина, написал восемь строчек не о Сталине, а о русском типе вождя:

Коль не он, то смерть народа, Значит он.

Но темна его природа, Лют закон.

Да, темна его природа, Лют закон.

Коль не он, так смерть народа, Значит он.

Ю.П. Станислав Юрьевич, помимо Даниила Андреева, кого ещё вы можете назвать из наиболее созвучных вам мыслителей XX века. Василий Розанов, например, какие вызывает у вас чувства, да и вся так называемая религиозная философия?

Ст.К. Розанов занимает меня удивительным стилем своего мышления. У него как бы не было системы. Русская философская мысль вообще не системна, она художественна, и зигзаги её удивительны. Тот же Николай Бердяев говорил удивительно пророческие вещи и одновременно был помешан на антисемитизме и много всяких глупостей наговорил. Но прочитайте его «Новое Средневековье». Это абсолютное продолжение пушкинско-тютчевско-леонтьевской линии. Вот один раз он написал замечательное исследование, а потом снова стал либералом, то есть плоским, примитивным мыслителем.

Для меня настоящим мыслителем является Георгий Свиридов. Его «Музыка как судьба» - у меня настольная книга. Прочитать бы её русской интеллигенции всерьёз. Издать бы её не

тиражом в пять тысяч, как она издана, а в полмиллиона. Это, конечно, иллюзия. Но иллюзии, как и мифы, могут двигать мировую историю.

Ю.П. Как я понимаю, любовь Вадима Кожина к Михаилу Бахтину вы не разделяете. Сначала Владимир Гусев, затем Михаил Лобанов и Сергей Небольсин заговорили о том, что значение Бахтина сильно преувеличено, он, по словам Лобанова, вообще не православный, а католический мыслитель...

Ст.К. Бахтин, к сожалению, оставил мало размышлений о непосредственно русском. Кожин, видимо, был влюблён в него как литературовед, эстет, историк, философ. Бахтин для моего понимания достаточно сложен, и он прямо не ответил на многие вопросы, которые меня интересуют. Три его книги я прочитал, и мне этого хватило, а всё остальное - разговоры Бахтина - я уже узнавал через Кожина. В разговорах Михаил Михайлович был, видимо, смелее и решительнее. Но разговоры остаются разговорами (они потом вышли, записанные моим университетским преподавателем Дува-киным). Бахтин всё равно не был человеком пророческого склада, а именно это всегда привлекало меня в русских философах больше всего.

Ю.П. Игорь Шафаревич, Александр Панарин, Олег Платонов, видимо, до этого уровня не дотягивают?

Ст.К. Несколько работ Игоря Шафаревича мне дороги, я многое из них почерпнул. Но зачёркивание, порой тенденциозное, советского периода нашей эпохи я не принимал никогда. Александр Панарин - умница чрезвычайный, он сумел понять сущность современного отношения человека к миру, ход русской жизни и пути спасения. Он сказал об этом так, как, может быть, никто в последнее время. Поэтому Панарин и стал автором «Нашего современника». Олег Платонов - историк. Причём историк с пропагандистской жилкой. У него, на мой взгляд, не хватает кожиновской широты, умения исследовать предмет в целом его выражении, во всех его противоречиях. Платонов может исследовать какое-то одно противоречие, но взять жизнь в целом, в органическом таком ощущении, что эти противоречия заложены в самом ходе истории, - это ему не по силам.

Ю.П. Конечно, в этом контексте не миновать вопроса о Вадиме Кожине. Прошло уже почти 7 лет со дня его смерти. Какова роль Вадима Валериановича в вашей судьбе и в русской мысли XX века?

Ст.К. Вадим всегда умел объяснить то, на что у меня самого мозгов не хватало. Все его работы были для меня значительными и подвигли меня в моём развитии. Например, «Правда и истина», «И назовёт меня всяк сущий в ней язык..» стали этапами в моём развитии. Это умение без пропагандистского упрощения глядеть на явление в полном его объёме - вот чему я учился у Вадима всю жизнь. И, думаю, только сейчас в какой-то степени овладел его инструментарием, я имею в виду свою последнюю работу «Лейтенанты и маркитанты» («Наш современник», 2007, № 9). Но стремился я к этому всегда, потому что понимал: это наиболее убедительный, плодотворный, жизнеспособный, запоминающийся образ мысли. Он имеет будущее, работает не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. И недаром книги Кожина так издаются, так расходятся, так читаются сегодня. Я просто счастлив наблюдать эту его посмертную судьбу. Значит, он не зря помучился для того, чтобы овладеть этим историческим взглядом. Да, в сущности, он был у Вадима всегда.

В одной из своих работ середины 60-х годов он написал об отличии русского и европейского менталитетов. Он, в частности, говорил о том, что в Европе любят форму, и когда её не хватает в России, то европеец перестаёт что-либо понимать.

Вот, я помню, приехал к Вадиму немецкий профессор, который хорошо говорил по-русски. Мы собрались у Кожина, выпили немного, Вадим взял гитару и начал петь. Спел Алешковского (который, между прочим, был в нашей компании в начале 60-х годов), спел Тряпкина, Юрия Кузнецова. А потом гость попросил что-ни- будь русское народное. Вадим спел ему «Кирпичики», считая это русской народной песней (Станислав Юрьевич смеётся. -Ю.П.), спел Некрасова, а потом мы грянули «Бродяга к Байкалу подходит...». Мы с таким воодушевлением пели, но на лице нашего гостя появилось какое-то мучительное и угрюмое выражение. Он спросил: «А чем вы восхищаетесь? Бродяга же рыбацкую лодку взял чужую? И потом он - каторжник, и брат у него - каторжник, ведь это - криминальная семья» (Куняев смеётся. -

Ю.П.). Вот разница между русским эстетическим мышлением и узким, системообразующим взглядом немецкого интеллигента. И эту разницу между западноевропейским взглядом и русской стихией, живущей по своим законам, Вадим Кожин блистательно показал в своих работах.

Ю.П. То есть, Станислав Юрьевич, вы считаете Кожина гениальным и ставите его в первый ряд выдающихся мыслителей XX века?

Ст.К. Да, несомненно. Без него вторая половина XX века была бы настолько неполной, что его никак заменить невозможно.

Ю.П. Станислав Юрьевич, когда-то вы свою позицию определили так «Чума на оба ваши дома». Имелись в виду дома коммунистический и либеральный. Прошло время, и вы её скорректировали с аргументацией: «жизнь учит». Условно говоря, «покраснение» взглядов Куняева чем вызвано? И в этой связи – ваше отношение к Сталину.

Ст.К. «Чума на оба ваши дома» – это было сказано в отчаянии, когда я увидел, что верхушка компартии предаёт свою историю и свой народ. То есть имелся в виду дом Яковлева, Горбачёва, Бовина, Арбатова, Бурлацкого и всех тех, кто готов был сдать великие завоевания простонародья, утверждавшиеся, казалось бы, навсегда в советскую сталинскую эпоху. Так что я проклинал не советскую историю, а эту касту предателей.

Что же касается Сталина, то в этом году отмечается своеобразный юбилей 37 года. И что только наши либералы не несут по этому поводу. Вот перед показом фильма «Завещание Ленина» выступил Григорий Померанц. Он сказал, что при Сталине в лагерях сидело 19 миллионов человек, и из них 7 миллионов было расстреляно.

Я давно интересуюсь этим вопросом, работал в архивах КГБ, когда мы с сыном писали книгу о Есенине, и могу авторитетно заявить, что эти цифры – абсолютная чушь. Самые разные исследователи утверждают примерно одно и то же: с 1921 по 1956 годы через тюрьмы и лагеря прошли 2,5-3 миллиона заключённых, и вынесено было 600-900 тысяч смертных приговоров, не все из них были приведены в исполнение. Вот и в США вышла книга некоего Максудова, и в ней называются примерно те же цифры: 3 миллиона сидевших и около миллиона расстрелянных. На те фантастические цифры, которые приводятся нашими либералами или Солженицыным, Кожин реагировал так получается, что всё мужское население страны, или чуть больше, сидело в лагерях или было расстреляно.

Ю.П. И всё-таки, Станислав Юрьевич, Сталин в вашем восприятии какая фигура? Кожин, например, любил проводить параллели с булгаковским Воландом и говорил о Сталине как об абсолютном зле, которое выполняет положительную роль в борьбе с земным злом, с этими бухаринскими, Зиновьевыми, радеками и т.д. Есть версия Михаила Лобанова: Сталин – это русский патриот, государственный. Есть версия, что Сталин проводил известную политику, начиная с 1934 года, потому что у него другого выбора не было, его патриотизм, русскость имели косметический характер...

Ст.К. Думаю, здесь каждый прав понемногу, и нужно это «понемногу» сложить в единое целое. Вадим Кожин никогда не опускался до проклятий в адрес Сталина и его эпохи. Одновременно у него не было идиотского эмоционального восхваления того, что в то время происходило. История – вещь жестокая, и никуда от этого не денешься.

Мы с Юрием Кузнецовым составили антологию «Русские поэты о Сталине». Несколько лет тому назад я, мой сын Сергей Куняев и Кузнецов решили собрать всё, что написано о Сталине серьёзными, значительными поэтами. В результате появилась антология на 600 страниц, книга, какой не было. Она делится на четыре раздела. Первый раздел «Свидетели революции»: Пастернак, Мандельштам, Асеев, Клюев, Шенгели, Бедный, Антокольский, Вертинский, Бенедикт Лившиц, Маршак, Сельвинский и т.д. Второй раздел «Солдаты и эзика»: Заболоцкий, Даниил Андреев, Исаковский, Луговской, Павел Васильев, Светлов, Мартынов, Михалков, Липкин, Грибачёв и т.д. Третий раздел «Шестидесятники»: Окуджава, Левитанский, Коржа-вин, Рождественский, Чичибабин, Алешковский, Вознесенский, Евтушенко, Даниэль, Соколов, Куняев, Иосиф Бродский, Юрий Кузнецов и т.д. И четвёртый раздел «Когда эпоха обесславлена». Он представлен поэтами, которые родились после смерти Сталина.

Интересная получается картина, если сравнивать просталинские и антисталинские стихи по периодам. В первом разделе - пятьдесят на пятьдесят. И во втором - половина на половину, одни проклинают, другие славят. И все - талантливо. Это всё признанные поэты. В третьем разделе - 70% антисталинские стихи и 30% - про- сталинские. И в четвёртом разделе: 70% - «за», и 30% - «против».

Уже ради этой статистики стоило сделать такую антологию. Но что происходит дальше. Когда мы с Кузнецовым предложили в одно из издательств эту антологию, то нам было сказано, что мы должны получить разрешение на публикацию от авторов или их родственников, если поэт мёртв. И вот звоним, например, наследнику Твардовского. Разговор с дочерью. Она говорит: «Я запрещаю печатать всё». Вопрос: «Почему?» Ответ: «Все стихи о Сталине Твардовский писал против своей воли». Когда мы получили несколько таких ответов, то поняли: есть тенденция переписать историю, сделать её другой, не допускать объективной картины.

Неужели крупнейшие таланты нашей эпохи были совершенными идиотами или трусами. Ах, Ахматова писала свои стихи, чтобы спасти своего сына или себя? Да пшик всё это, откроем, скажем, стихотворение мая 1945 года, когда Лев Гумилёв не сидел и никакого постановления о журналах не было. Это стихотворение звучит так Нам есть, чем гордиться, И есть, что беречь: И хартия прав, и родимая речь, И мир, охраняемый нами, И доблесть народа, и доблесть того, Кто нам и родней и дороже всего, Кто наше победное знамя.

А вот сидевший в тюрьме Даниил Андреев, смотрите, что пишет: Пусть демон великодержавия Чудовищен, безмерен, грозен; Пусть миллионы р/усских оземь Швырнуть ему не жаль. Но Ты, -

Ты от разгрома и бесславья Ужель не дашь благословенья

На горестное принесенье

Тех жертв - для русской правоты.

И вот когда всё это вкупе собирается, такой учебник истории получается из нашей антологии, который ни одному историку не написать. Когда у Ахматовой есть и «Реквием» - и прославление, стихи, которые она написала, когда смотрела «Взятие Берлина». Восторженные стихи, там нет имени Сталина, но он там, как и в фильме, главный герой, между прочим.

Так неужели все эти наши великие таланты и умы: Заболоцкий, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Даниил Андреев, - были такими жертвами пропаганды, идиотами? И как можно говорить сегодня, что всё это они написали против своей воли? Русская история попала в жесточайшие клещи идеологов прав человека, и они делают всё, чтобы эту историю изуродовать до неузнаваемости.

Ю.П. Станислав Юрьевич, вы более 18 лет главный редактор «Нашего современника». Что Вам удалось сделать за это время, что вы привнесли в деятельность журнала? Что, быть может, не удалось сделать, и что вы планируете ещё сделать?

Ст.К. Сегодня денационализация культуры идёт жуткими темпами, и вот то, что нам удалось удержать хотя бы маленький сектор, свободный от этой сознательной денационализации, на что брошено громадное количество сил, денег, воли всего Западного мира, - это важнейшее дело. Может быть, поэтому наш журнал сейчас имеет самую большую подписку. Значит, инстинктивно читатель понимает: здесь есть русская национальная жизнь. В чистом виде русская мысль, русское сознание, русское понимание истории в литературе живы и, в первую очередь, в журнале «Наш современник». Нам удалось объединить писателей 60-80-х годов и тех, кто пришёл в литературу во время перестройки...

В журнале продолжают традиции Вадима Кожинова наши замечательные публицисты: Ксения Мяло, Наталья Нарочницкая, Борис Ключников, Сергей Кара-Мурза, Александр Казинцев. Это всё русское национальное достояние. Да, нам удалось спасти часть русской национальной культуры, и это самое главное.

Ю.П. И что планируете сделать?

Ст.К. Россия, по словам Валентина Распутина, переварила идеологию революционного коммунизма. Сегодня же нужно преодолеть ещё более опасный соблазн - соблазн общества потребления. В России не получится общества потребления, у нас другая история, об этом говорил ещё Пушкин... Вот переварить эти новые либерально-демократические соблазны, которые туманят головы русских людей, и выработать приемлемую генетическую национальную психологию жизни - вот как я определяю нашу задачу сегодня.

Ю.П. Когда я читаю патриотические журналы и газеты, у меня создается впечатление, что в то время, когда «иных времён татары и монголы» полонили Россию, остатки русского народа, его культурные представители: писатели, критики и т.д., - ведут между собою борьбу с большей энергией, чем с противниками. Когда закончится эта междоусобная брань, если закончится вообще, и что стоит за ней?

Ст.К. Знаете, Юра, здесь разные причины и разные стимулы. Мои разборки, например, надеюсь, всегда были серьёзными, не пустяковыми. Вот сейчас у меня выходит книга «Мои печальные победы». Она, в сущности, посвящена этому. Вадим Валерианович Кожин не раз высказывал мысль: бессмысленно обвинять во всём евреев, потому что большинство из них никогда не чувствовали себя русскими людьми. И для нас гораздо важнее наладить порядок в умах нас самих. Соблазнов здесь очень много. В книге «Мои печальные победы» я публикую мою переписку с Татьяной Михайловной Глушковой, потому что на финишной прямой своей жизни она весь свой талант, темперамент бросила на то, чтобы развенчать «Наш современник», который как бы недостаточно бережно и внимательно относился к тому, что она пишет. Это не так. Мы её печатали достаточно часто, но не столь часто, как она хотела. И не всегда то, что она писала, нас устраивало, потому что Глушкова была человеком раздора, русского раздора...

Ю.П. Может быть, бабьего?..

Ст.К. Ну хорошо, только с русской присадкой. Когда она захотела свести счёты с Вадимом Кожинным не где-нибудь, а на страницах «Нашего современника», я ей отказал, потому что это была бы катастрофа для журнала, ибо Вадим со своими историческими исследованиями был основной фигурой, камнем в фундаменте нового «Нашего современника». И после моего отказа Глушковой последовала целая серия статей о том, что Кожин, Шафаревич, Куняев - «адвокаты измены». Без объяснений с Татьяной Михайловной нельзя было обойтись, так как у неё свои поклонники, она талантливый человек. Но, тем не менее, у Глушковой были изъяны душевного свойства, поэтому с ней необходимо было объясниться.

Или возьмём мои отношения с Глазуновым. Они были почти дружескими в 70-80-е годы. Мы дарили друг другу книги. Я у него бывал, но всё рухнуло, когда во времена объявленной свободы у Глазунова вдруг вырвалась наружу почти не скрываемая ненависть к русскому простонародью, которую он обосновал своим дворянским происхождением. В XX веке это не только смешно, но и глупо.

Кого Глазунов только ни написал в последние двадцать лет, начиная с Собчака и заканчивая каким-нибудь Котёлкиным, который раньше работал в Росвооружении, а сейчас пропал. Илья Сергеевич стал в полном смысле придворным живописцем. Ну ей-богу, это не достойно крупного русского художника - вот так подстраиваться под время и плевать в лицо русскому униженному простонародью с высоты якобы дворянского происхождения. Да ещё его любовь к тому образу мыслей, которые изложены в книге «Майн Кампф»... Я обязан был об этом написать. Как обязан был, допустим, защитить Кожина от Валентина Сорокина или той же Татьяны Глушковой, от того же Глазунова. То есть я в таких случаях не нападаю, а защищаю последние незыблемые линии нашей обороны. Нельзя, чтобы последние камни из-под русского национального самосознания вышибли эти всплески сумасшедшей чёрной энергии.

Ю.П. Нет, такая критика мне понятна, она просто неизбежна. Я имел в виду другое: критику а-ля Глушкова или а-ля Бушин.

Ст.К. Владимир Бушин ради красного словца не пожалеет и отца. Он целую книгу написал, чтобы размазать многих: В.Распутина, С.Кара-Мурзу, меня... Ну и что? Останется один Бушин со своими книгами об Энгельсе. Это весь наш положительный итог развития за последние десятилетия?

Ю.П. В своих мемуарах в конце главы о Кожинове вы так аккуратно пишете об отношении Вадима Валериановича к Богу. Какова роль веры, Церкви в вашей жизни?

Ст.К. Я исхожу из Достоевского. Как и он, я уверен: русский человек должен быть православным, таковым я и стремлюсь быть. И если бы у Христа была одиннадцатая заповедь, то она звучала бы, как у Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено».

Вадим же был человеком глубокого, бесконечного ума. Вера у него, конечно, была, но он никогда на эту тему не говорил и даже стеснялся, может быть, открывать эту часть своей души. Есть у него отдельные фразы на эту тему: «русские как бы ни кичились своим атеизмом, все равно без веры жить не могут...». И почти легенда, а легенды на пустом месте не рождаются, – предсмертная фраза его: «...Все аргументы исчерпаны». Она очень много о нём говорит. Даже если бы он этого не сказал, то он наверняка так подумал. Вадим хотел всё аргументами делать, а не верой, собственным волевым усилием.

Ю.П. Станислав Юрьевич, какое место семья, дети, внуки занимают в вашей жизни?

Ст.К. Это та часть моей личной жизни, которая всегда со мной и которую я никогда не афиширую. В наше время многие этим злоупотребляют. Я считаю, та борьба, которую я веду, совершенно необходима для моих потомков: для моего сына, моих внуков, а их у меня трое, для правнука. И если я эту борьбу проиграю, то жить им придётся в гораздо худшем мире, чем жилось бы, если бы я, хотя бы морально, эту борьбу выиграл.

Ю.П. Юбилей – это время, когда человек неизбежно подводит какие-то предварительные итоги жизни. Что вы можете сказать о своих итогах?

Ст.К. Порой кажется, у меня не хватает сил везде успевать: писать свои книги, заниматься журналом, общественной жизнью, политикой... Вот стихи я уже не пишу, потому что знаю: эта роскошь для меня уже недоступна. Именно роскошь, ибо стихи пишутся всем существом человеческим, всем опытом жизни, всем слухом, всем зрением, всем умом, всеми инстинктами. То есть, когда я в молодости писал стихи, то включал все свои чакры. Сейчас же моя жизнь настолько растрёпана, что мне стыдно писать стихи, отдавая им маленькую часть своего существа. Нужно отдавать всё, а всё я сейчас отдать не могу, и поневоле у меня получаются повторы, копии с того, что есть. У меня нет сейчас поэтического осмысления воздуха времени, эпохи. Но, слава Богу, я нашёл, быть может, не равноценную замену, а нечто такое, что спасает меня от отчаяния. Это книга воспоминаний, литературных споров, поисков истины. Вот здесь не нужно витамина поэтического вдохновения. Достаточно всех других возможностей, которые у меня до сих пор сохранились, и, быть может, это даже полезнее и нужнее и для меня самого, и тех, кто читает мои книги.

«Кризис и другие» С.Кургиняна: фантазии на литературно-историко-политические темы.

Я давно не читаю статьи Сергея Кургиняна - с детства не люблю фантастику. Однако с подачи возмущённого коллеги всё же одолел часть «эпопеи» «Кризис и другие» («Завтра», №№ 37-48) и решил выразить своё отношение к ней.

В этой работе, в первую очередь, удивляют логика и система доказательств автора, который в определённых кругах славится за политического аналитика и который так говорит о себе: «Я хочу на фактологической, а не спекулятивной основе подбираться к ответу...»; «Метод, который я исповедую, предполагает, что, помимо рефлексии (аналитики текстов, то есть), исследователь располагает перцепцией (то есть этим самым личным опытом). <...> Но апеллировать я намерен к рефлексивному».

Сразу не могу не заметить, что уже приведённые цитаты свидетельствуют о явных проблемах с русским языком у С.Кургиняна: «на основе... подбираться к ответу», «метод... исповедую», произвольно поставленные и не поставленные запятые. Но не будем отвлекаться на такие «мелочи», которых в тексте изобилие. Посмотрим на то, как работает заявленный метод, например, при доказательстве одной из ключевых идей Кургиняна: «Союз русского народа» и «русская партия» - «нож в спину» государственности.

Данная идея вырастает из высказываний С.Витте и А.Байгушева. Более того, оценки Витте - чуть ли не единственный вариант характеристики времени, партий, исторических деятелей. Такой подход, по меньшей мере, односторонен.

Вполне очевидно, что Витте для Кургиняна - идеальный союзник, ретранслятор созвучных ему оценок. Отсюда многочисленные и огромные цитаты из воспоминаний Сергея Юльевича, высказывания, как будто взятые из советских учебников. Показательно и то, что Сергей Ервандович ссылается на мемуары Витте, изданные в СССР в 1960 году. То есть тогда, когда имена В.Розанова, М.Меньшикова и других «правых» можно было называть только в отрицательном контексте, а о публикации их книг не могло быть и речи.

В случае с Витте, типичном для «сериала» «Кризис и другие», «рефлексия» Кургиняна практически отсутствует, а он выступает, по сути, в роли конференсье, связывающего одно высказывание Сергея

Юльевича с другим. В арифметическом выражении аналитический метод Кургиняна выглядит так. «Сюжет» с Витте «равен» 7072 знакам, из них цитаты составляют 58% (4106 знаков). Остальные 42% - комментарии Сергея Ервандовича, которые сводятся преимущественно к следующему: «Вот что Витте говорит о «Союзе русского народа» в своих мемуарах»; «Далее Витте даёт убийственную характеристику «консервативным революционерам»; «А вот ещё что пишет Витте, сумевший, как мне кажется, не только описать свою эпоху, но и заглянуть вперёд» (вновь не могу не обратить внимание на стиль автора: «пишет... описать»).

Конечно же, первостепенное значение имеет вопрос: насколько состоятельны, как достоверный исторический источник, мемуары Витте, насколько точны, объективны

многочисленные характеристики событий, партий, отдельных личностей, содержащиеся в этих воспоминаниях?

Для автора «Кризис и другие» «Сергей Юльевич Витте - один из выдающихся деятелей Российской империи», в чьих оценках Кургинян ни разу не усомнился. При этом за рамками «эпопеи» остаётся принципиально иной взгляд на личность и деятельность Витте, и современный читатель, думаю, должен о нём знать.

Сергей Юльевич характеризовался и характеризуется его и нашими современниками как деятель, сыгравший разрушительную роль в истории русской государственности. Например, Святой Иоанн Кронштадтский считал, что Витте, стоявший у колыбели Конституции 1905 года, - главный виновник подрыва традиционных устоев России, смуты 1905-1907 годов, в частности. Олег Платонов в книге «Еврейский вопрос в России» (М., 2005) приводит текст молитвы Святого, где есть такие слова: «Господи, <...> возьми с Земли друга евреев Витте».

Можно предположить, почему Кургинян говорит о немецко-русской родословной Сергея Юльевича. Вряд ли в этом была необходимость, но вот о факторе жены, еврейском факторе, видимо, следовало сказать, ибо на это делали и делают ударение многие авторы. Так, Николай Марков в книге «Войны тёмных сил» (М., 2002) писал: «Посланный Государем в Америку для переговоров о мире С.Ю. Витте сблизился там с американскими евреями и поторопился заключить 23 августа 1905 года бесславный Портсмутский мир, хотя не мог не знать, что Япония к тому времени совершенно выдохлась. <...> Американские евреи Яков Шиф, Лоб и другие всю войну снабжали Японию деньгами и военными припасами. <...>. Они спасли Японию от нависшей над нею грозной опасности и через послушного иудео-масонству Витте устроили этот срамной для великой России мир»; «Витте был женат на еврейке и всецело находился под её вредным влиянием. Он был другом берлинского банкира, еврей-масона Мендельсона; ближайшим советником Витте во время его министерства был директор международного банка еврей Ротштейн - масон «Великого Востока».

Я понимаю, какую реакцию у С.Кургиняна, и не только у него, вызовут приведённые высказывания Николая Маркова, «правого» монархиста, видного деятеля «Союза русского народа». Не имея возможности высказаться по всему спектру затрагиваемых Марковым проблем, скажу о главном. Версия автора «Войны тёмных сил» о «выдохнувшейся» Японии подтверждается мемуарами участника событий японского дипломата Кикудзиро Исии, на которые ссылается Наталья Нарочницкая в своей книге «Россия и русские в мире истории» (М., 2003). Как явствует из этих мемуаров, Япония, в начале переговоров требовавшая денежную контрибуцию, весь Сахалин и все Курилы, на финише готова была на мир без Сахалина и контрибуции. И естественно, что результаты деятельности главного переговорщика С.Витте Н.Нарочницкая называет неудачными, уточняя в этой связи: «При некоторой твёрдости Россия не потеряла бы южной части Сахалина. И Витте, и Розен (посол России в Вашингтоне) неслучайно в своих воспоминаниях замалчивают вопрос о Сахалине и переговоры о нём».

Второй источник, на который постоянно ссылается Кургинян, - это мемуары Байгушева. Выбор Сергея Ервандовича характерен - и не менее странен, чем в случае с Витте.

О «русской партии», об эпохе 60-80-х годов XX века имеются мемуарные и немемуарные свидетельства Михаила Лобанова, Станислава Куняева, Сергея Семанова и других «правых». Но Кургинян взял книгу Байгушева, вновь продемонстрировав «преимущества» и сущность своего метода. Не мог, конечно, Сергей Ервандович допустить, чтобы на страницах его «сериала» заговорили реальные, а не мифические представители «русской партии», например, МЛоба-нов. Он, один из идеологов и самых стойких бойцов этой партии, в работе Кургиняна даже не упоминается.

Причина сего видится в том, что Михаил Петрович неоднократно заявлял: «русский орден» в ЦК КПСС - это миф. К тому же о Байгушеве, породившем данный миф, который был позже воспринят всерьёз «левыми», Н.Митрохиным, С.Кургиняном, Лобанов в своих воспоминаниях «В сражении и любви» (М., 2003) говорит один раз - и говорит так: «Ходил он в «русских патриотах», обивал порог «Молодой гвардии». Прибегая в редакцию, сочным говорком сыпал новостями и историйками о евреях, о масонах, разнюхивал «новенькое» в редакции, также впопыхах убежал»; «После статьи А.Яковлева Байгушев перестал бегать в «Молодую гвардию», искал новое убежище и нашёл его в издательстве «Современник».

Думаю, красноречив и тот факт, что Станислав Куняев в своём трёхтомнике «Поэзия. Судьба. Россия» фамилию Байгушев не назвал ни разу. И у Вадима Кожина (который вдруг стал в последней книге Александра Иннокентьевича его другом, соратником по борьбе) в многочисленных интервью, статьях автор книги «Русский орден внутри КПСС» не упоминается. А в «Русско-еврейских разборках» Сергея Семанова (М., 2003) «русская партия» представлена именами В.Кожина, МЛобанова, АЛанщикова, ©.Михайлова, П.Палиевского, В.Распутина, В.Белова, Д.Балашова, Б.Рыбакова, И.Глазунова, В.Солоухина. Фамилия Байгушева единожды возникает в главе «Русский клуб».

Одну из ключевых ролей в концепции Кургиняна играет Михаил Бахтин, известный мыслитель, возвращённый к жизни в литературоведении и философии Вадимом Кожинным. С его же подачи был создан культ Бахтина в науке и околонauке. Правда, большая часть «русской партии» к Бахтину отнеслась с разной степенью критичности. Показательно, что уже в конце 70-х годов Юрий Селезнёв, ученик Кожина, начал «коррекцию» взглядов Бахтина, о чём мне приходилось писать («Наш современник», 2009, № 11). Конечно, об этом - о полемике МЛобанова, В.Гусева, Ю.Селезнёва, С.Небольсина с Бахтиным - в статье Кургиняна ни слова, «союзников» он находит в лице Сергея Аверинцева и Алексея Лосева.

Эти мыслители, по утверждению автора «эпопеи» «Кризис и другие», понимали, что «Бахтин бьёт и по церкви, и по абсолютной монархии <...>, и по Идеальности как таковой». И далее Сергей Ер- вандович в присущей ему театральной манере задаёт десять вопросов подряд, вопросов преимущественно риторических. Часть из них я приведу: «А как же Кожин и прочие этого не понимали и не понимают до сих пор? А как это можно не понимать? Если чёрным по белому (А если красным по синему? Это что-то меняет? -Ю.П.) написано о СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЕРЬЁЗНОСТИ! СРЕДНЕВЕКОВОЙ! Что? Написанное касается только католической церкви? С чего вы взяли?»

Однако слова Бахтина, в которых Кургиняна увидел такой глубинный смысл и которые вызвали у него словесно-эмоциональ- ную диарею, Сергей Аверинцев комментирует принципиально иначе и вполне определённо, о чём автор «сериала», конечно, умалчивает. Итак, в сноске номер два Сергей Сергеевич говорит: «Как человек, лично знавший Михаила Михайловича, должен засвидетельствовать, что сам он вспоминал такие пассажи своей книги о Рабле с сожалением и в разговорах приводил их как доказательство того, что он, Бахтин, был не лучше своего времени. Надеюсь (здесь и далее в цитате разрядка моя. -Ю.П.), что в глазах каждого из нас такая способность строго и трезво взглянуть на собственный текст делает Бахтина н е меньше, а гораздо больше».

Кургиняна, вместо того, чтобы, как и полагается любому добросовестному исследователю, реагировать на подобные суждения Аверинцева, предпочитает их игнорировать и упорно творит свой миф, постоянно ссылаясь на известного мыслителя как на союзника.

В работе «Бахтин, смех, христианская культура» Аверинцев справедливо указывает на многие уязвимые места в известной книге о Рабле, но нигде не говорит о сатанизме Бахтина, на чём настаивает Кургиняна. Он, любитель частого и обильного цитирования, в данном случае не приводит высказывания Аверинцева, подтверждающие сию версию, предпочитая пересказ мыслей Сергея Сергеевича, заканчивающийся нелогичным, вопиюще произвольным...

На самом деле в статье «Бахтин, смех, христианская культура» абсолютизация смеха автором книги о Рабле объясняется, в первую очередь, особенностями советского времени: «...Когда защита свободы ведётся на самой последней черте, возникает искушение зажать в руке какой -то талисман - смех <...> - ухватиться за него, как, по русской пословице, утопающий хватается за соломинку <...> Это очень понятное поведение».

Нет ничего удивительного и в том, что все карнавалло-рабле- зианские приметы советского времени, правления Сталина, в частности, называемые Аверинцевым, в статье Кургиняна отсутствуют. Как отсутствует и цитата из Бахтина, приводимая Сергеем Сергеевичем и предваряемая комментарием, в котором содержатся такие суждения, как «Бахтин был прав», «Бахтин имел право», «сказал сбессмертной (разрядка моя. -Ю.П.) силой». В цитате Михаила Михайловича ключевыми, на мой взгляд, являются следующие слова: «Поэтому классовый идеолог никогда не может проникнуть со своим пафосом и своей серьёзностью до ядра народной души...».

Эти слова в полной мере применимы к «классовому идеологу» Кургиняну, который проникновенно пишет об идее диктатуры пролетариата и КМарксе и с таким воодушевлением и вполне серьёзно цитирует «великого мыслителя» В.Ленина... Сергей Ервандович коль уже называет себя аналитиком, то должен был обратиться к другой статье Аверинцева с говорящим названием «Бахтин и русское отношение к смеху». Данная работа, вышедшая через пять лет после статьи «Бахтин, смех, христианская культура», содержит принципиальные суждения, вновь не вписывающиеся в концепцию Кургиняна, вновь разрушающие его миф о Бахтине. Автор «Кризис и другие», думаю, об этом знает, поэтому сия публикация осталась за бортом его «эпопеи».

Уточню - суть в данном случае не в том, прав или не прав в своих оценках М.Бахтина САверинцев, а в том, что его взгляды очень часто «усекаются», искажаются, произвольно трактуются автором «сериала» «Кризис и другие». То есть, в этом вопросе, как, впрочем, и в других, Сергей Аверинцев Сергею Кургиняну не союзник и не единомышленник

И наконец, Сергей Аверинцев прекрасно понимал, что его критика Михаила Бахтина может быть неадекватно, недобросовестно истолкована. Поэтому он, обращаясь и к «аналитикам» разного толка, и к невнимательным читателям, писал в статье, которую активно цитирует Кургинян: «Ещё важнее для меня избежать недоразумений в другом пункте - я и в мыслях не имею набрасывать тень на безупречную чистоту (разрядка моя. - Ю.П.) философских интенций Бахтина, все усилия которого были без остатка отданы защите свободы духа в такой час истории, когда дело это могло казаться безнадёжным. Весь смысл человеческой позиции Михаила Михайловича могут, наверное, понять только те, кто были ему и соотечественниками, и современниками; наша благодарность ему не должна иссякнуть».

Поражает в мифе так называемого политического аналитика о Бахтине и другое. Даже если принять на веру версию Кургиняна, что Михаил Михайлович и его поклонники демонтировали культуру, вели «подкоп под Идеальное», то обязательно возникнет следующий вопрос. Почему отсчёт «подкопа под Идеальное» с помощью смеха, загадочно именуемого «бахтинской смеховой культурой», ведётся с автора книги о Рабле?

Несомненно, что этот процесс демонтажа начался гораздо раньше. Александр Блок, например, на которого часто и всегда неудачно ссылается Кургинян, ещё в статье «Ирония» (1907) говорит о разрушительном смехе как распространённом явлении начала XX века. Характеризуя его, Блок точен и созвучен той русской традиции, о которой так хорошо говорит в своих статьях Сергей Аверинцев. Всё, что Кургинян клеймит в Бахтине-Рабле, Блок находит в дорогом Сергею Ервандовичу модернизме: и «беса смеха», и «дьявольское издевательство», и буйство, и кощунство... Блок, не разделяющий смех и иронию, главный результат воздействия этого разрушительного смеха, этой разлагающей иронии определяет предельно точно: «Перед лицом проклятой иронии - всё равно <...>: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба», «всё обезличено, всё обесцещено, всё - всё равно».

В контексте интересующей нас проблемы, думаю, важно и то, что Блок подобный смех-иронию определяет как болезнь индивидуализма. То есть, добавлю от себя, это болезнь обезбоженного человека, всё равно какой эпохи: античности, ренессанса, XX или XXI веков. И в данном контексте напомним Кургиняну, что Аверинцев в работе «Бахтин и русское отношение к смеху» называет «народную смеховую культуру», или «смех», «одной из универсалий человеческой природы». Далее Сергей Сергеевич делает важное уточнение, которое позволяет понять многое: «Это явление, однако, по-разному окрашено в различных культурах...».

Вот эта национально-культурная «прописка» смеха у Кургиняна отсутствует, но намётки её есть у Блока. «Корректные» - в статье «Ирония», где он говорит о том, что «все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне»; «некорректные» - в дневниковой записи от 17 октября 1912 года («Хотели купить «Шиповник» <...>, но слишком он пропитан своим, дымовско-аверченко-жидовским - юмористическим» // БлокА. Дневник - М., 1989). Так, окружными путями, мы вернулись к Бахтину и смеховой культуре...

В ответ на утверждение Кургиняна об уничтожающей Идеальное «бахтинской смеховой культуре», у человека, хотя бы чуть-чуть знающего историю русской литературы XX века, не может не возникнуть вопрос: «Почему же автор «Фэнтези» о кризисе ни слова не говорит о

еврейской смеховой культуре - неотъемлемой составляющей литературы, культуры, жизни в Российской империи, СССР и сегодняшней России. Как-то странно Вы запомнили, Сергей Ервандович, о бабелях, ильфах, войновичах и прочих сапгирах. Напомню, что ещё в 1974 году Олег Михайлов в книге «Верность», в главе об «одесской школе» поставил вопрос о качестве смеха и выделил два его типа: русский - «смех сквозь слёзы» и «одесский» - смех ради смеха, сытый смех, смех, унижающий, уничтожающий человека. Напомню и то, что Олег Михайлов - представитель «русской партии», которая, как уверяет нас Кургинян, хотела истребить в народном «ЯДРЕ души» серьёзное и вместе с «духовным гуру Бахтиным» готовила ад на земле. Для пущей убедительности театральный критик сей бред оформляет соответственно: «Русские, добро пожаловать в Ад!»

Не менее странно и другое: Кургинян, опирающийся в своих измышлениях о Бахтине на Алексея Лосева, относящийся к философии с большим почтением, почему-то не вступает с ним в полемику по более принципиальным вопросам, которые являются определяющими в разговоре о проблеме и судьбе Идеального. Полагаю, что Сергей Ервандович должен был как-то отреагировать на известные высказывания Лосева или хотя бы на суждения философа, приведённые читателями сочинения Кургиняна в гостевой книге на сайте газеты «Завтра». Любое из этих высказываний, по сути, перечёркивает «Кризис и другие». Вот только некоторые из них: «...Социализм, в сущности, есть синтез папства и либерального капитализма»; «Марксизм есть типичнейший иудаизм, переработанный возрожденческими методами»; и то, что все основатели и главная масса продолжателей марксизма есть евреи, может только подтвердить это»; «Триада либерализма, социализма и анархизма предстаёт перед нами как таинственные судьбы каббалистической идеи и как постоянное нарастающее торжество Израиля. Большинство либералов, социалистов и анархистов совсем не знают и не догадываются, чью волю они творят».

Сергей Ервандович, вероятно, не только догадывается, но и знает, чью волю он творит...

Ещё одним деятелем, приближавшим ад для русских, разваливавшим Советский Союз, ведшим подкоп под Идеальное, был, по Кургиняну, Кожин. В случае с ним Сергей Ервандович оперирует не работами Вадима Валериановича, а его интервью. Для аналитика такая странность характерна, и отнесёмся к ней как к данности, высвечивающей исследовательские предпочтения Кургиняна. Показательно и то, что автор «эпопеи» создаёт образ Кожина, отталкиваясь от одного интервью и беседы, которые состоялись за примерно полтора года и три месяца до смерти Вадима Валериановича. Нужно ли говорить о том, что любой человек в подобной ситуации может ошибиться, запомнить?

Однако факты, приводимые Кожинным, Кургиняном не подвергаются сомнению, проверке, они автоматически попадают в разряд достоверных. И более того, становятся краеугольными камнями, на которых вырастает ряд ключевых сюжетов и идей «фэнтези».

На уязвимость такого исследовательского подхода справедливо указывал сам Кожин. Он в статье «Ещё несколько слов о Михаиле Бахтине» (которая, как и другие работы Вадима Валериановича о Бахтине и Лосеве, в «эпопее» Кургиняна не фигурирует) утверждал: «Н.К. Бонецкая наверняка штудировала эту книгу («Проблемы поэтики Достоевского». -Ю.П.), однако ссылается она всё же не на неё, а на мемуарный (никогда не имеющий стопроцентной точности) пересказ, делая это явно для того, чтобы, так сказать, «поймать» М.М. Бахтина на якобы чуть ли не неожиданном для него самого «разоблачающем» приговоре...».

Эти слова в полной мере применимы и к характеристике работы С.Кургиняна «Кризис и другие». К чему приводит опора на мемуары, помноженная на авторский произвол в их трактовке, покажу на ключевых, сюжетообразующих эпизодах «эпопеи».

Мысль о Бахтине-антисемите неоднократно варьируется на протяжении всего повествования. Эта явно абсурдная, несправедливая оценка подпирается авторитетом Кожина, который, по словам Кургиняна, «говорил о Бахтине как о своём «черносотенном», «антисемитском» гуру». Вот так одной фразой наносится сразу двойной удар по Михаилу Михайловичу и Вадиму Валериановичу.

Но в интервью, которое имеет в виду Сергей Ервандович, Кожин говорит совсем о другом. Бахтин через Розанова разрушил представления Вадима Валериановича о том, что критиковать евреев нельзя и что такая критика есть антисемитизм. К тому же Кожин не раз

справедливо утверждал, что Бахтин в своих работах не выразил отношения к «пресловутой проблеме». И естественно, что нигде - ни в интервью, ни в публичных высказываниях, ни в статьях - Кожин не называет Михаила Михайловича антисемитом. И если бы Кургинян стремился быть объективным, не выносил за пределы своей «эпопеи» то, что противоречит его версии, то он наверняка процитировал бы следующее высказывание Вадима Валериановича: «По мере того, как осваивалось их наследие (П.Флоренского, Л.Карсавина, АЛосева и др. -Ю.П.), становилось известно, что они воспринимали пресловутый «еврейский вопрос» не так, как «положено», и их начали обвинять в «антисемитизме». Слово это в его истинном смысле означает принципиальное и, так сказать, априорное неприятие евреев как таковых, как этноса (что, безусловно, и безнравственно, и просто неразумно), но сие слово сплошь и рядом употребляют по адресу людей, которые принципиально высказались о тех или иных конкретных действиях и суждениях лиц еврейского происхождения, и приписывать им ненависть к целому этносу - грубейшая клевета».

Кургинян же приписывает антисемитизм Бахтину и автоматически - Кожину. Подобные обвинения в свой адрес Вадим Валерианович неоднократно комментировал, доказательно опровергал. Почему всё это не учитывает аналитик - легко догадаться...

И последнее - Кожин никогда не называл Бахтина, как и себя самого, черносотенцем, и оба мыслителя таковыми, конечно, не являлись. Я, естественно, понимаю и экзальтированность натуры, и страсть к фантазированию, и скрытые и явные комплексы Сергея Ервандовича, которые определяют многое... Но, товарищ Кургинян, всё же надо держать себя в руках - то есть оперировать фактами и, желательно, мыслить логически.

Одна из ключевых идей автора «Кризис и другие» вырастает из следующего высказывания Кожина, взятого из последнего его выступления: «Я тогда познакомился с одним итальянским коммунистом, литературным деятелем, Витторио Страда, и уговорил его написать, что итальянские писатели хотят издать книгу Бахтина. Тогда он на самом деле ещё не собирался её издавать <...>. Но он выполнил мою просьбу. Тогда началось некое бюрократическое движение. Я пробрался к директору издательского агентства и напугал его, сказав, что рукопись Бахтина находится уже в Италии (она и правда была в Италии). Мол, её там издадут, и будет вторая история с Пастернаком, которая тогда была ещё свежа в памяти. Представьте себе, этот высокопоставленный чиновник очень испугался и спросил меня, что же делать».

Кургинян находит много нелогичностей в поведении Кожина, которые, по мнению Сергея Ервандовича, свидетельствуют о том, что Вадим Валерианович был каким-то образом связан с КГБ.

Сначала скажем о событиях, очень своеобразно понимаемых и интерпретируемых автором «сериала». Уже в самом факте обращения Кожина к Страде, а не к Кочетову Кургинян находит смысл, разрушающий традиционное представление об одном из лидеров «русской партии». По мнению Сергея Ервандовича, у В.Кожина, «который всегда позиционировался в качестве почвенника-охранителя», по идее, должно быть больше общего с «охранителем-почвенником» В.Кочетовым, чем с В.Страдой.

Удивляет то, что Сергей Ервандович не знает или делает вид, что не знает широко известные факты биографии, мировоззрения Вадима Валериановича. Кожин, по его свидетельству, до встречи с Бахтиным в июле 1961 года был шабесгоем, и естественно, что таковым он оставался осенью того же года, когда «вышел» на Страду. Собственно «почвенником», «правым» Кожин стал уже во второй половине 60-х годов. Конечно, Кожин обратился к Страде, обураваемый одним благородным желанием - помочь опальному Михаилу Бахтину. Если Сергею Кургиняну, который во всём видит классовый, идеологический, тайный смысл, такое чистое желание непонятно, то здесь, как говорится, даже медицина бессильна...

Что же касается общности В.Кожина с В.Кочетовым, то эта идея видится в высшей степени нелепой. Сергею Ервандовичу не мешало бы знать, что Кожин, Лобанов и другие «правые» многократно писали, что у «русской партии» не было и не могло быть ничего общего с В.Кочетовым, «Октябрём», советским официозом - ненавистниками традиционных русских ценностей. В.Кочетов и компания с таким же энтузиазмом громили «русских патриотов», как и Твардовский с новомировской компанией...

Вообще же реальность, которую создаёт Кургинян, отличается тем, что в ней по-настоящему реальным является лишь сам автор. Вот, например, как всплывает в тексте в очередной раз факт аспиранта Витторио Страды: «Весьма разборчивая в отношениях Елена Сергеевна Булгакова передаёт Страде (аспиранту МГУ, коммунисту) отрывки из «Мастера и Маргариты», исключённые из первого советского издания». Напомню, что первая в СССР публикация романа Михаила Булгакова была завершена в 1967 году. Аспирантом же МГУ Страда стал в 1958 году, то есть ни при каких обстоятельствах аспирантом итальянский филолог во время встречи с Еленой Сергеевной быть не мог.

Но самое забавное, курьёзное другое: Вадим Валерианович, приведя историю с Бахтиным и Страдой, дал дополнительный импульс и без того фантазийнейшему Кургиняну. Перед тем как отпустить на волю своё воображение, Сергей Ервандович предупреждает: «Вы убедитесь, что реконструкция этого текста, которую я сейчас предложу, лишена всякой фантазии. И на грубом аналитическом языке излагает («реконструкция... излагает» - это не менее сильно, чем десять подряд заданных вопросов. -Ю.П.) один к одному то, что чуть более изысканно сказано Кожинным».

Вполне понятно, почему Кургинян заикливается на «изысканности» кожининского рассказа (хотя на самом деле её там нет), но гораздо правильнее, продуктивнее было бы аналитику обратить внимание на другое. В публичном выступлении Вадим Валерианович допускает неточности в изложении событий 1961-1962-го годов. Ранее в статье «Великий творец русской культуры XX века» Кожинин рассказал эту историю иначе. И легко доказать, что данный вариант более соответствует реальным фактам, чем тот, на котором строит свои фантазии Кургинян. Для этого нужно лишь прочитать переписку Кожинина с Бахтиным («Москва», 1992, № 11-12).

Так вот, согласно первоначальной - точной - версии событий именно Витторио Страда, готовивший издание работ о Достоевском, «пожелал познакомиться» с Кожинным, а тот предложил ему книгу Бахтина (видите, как всё предельно просто оказывается, Сергей Ервандович). И не каким-то подпольным путём рукопись попала за границу, как утверждает Кургинян, и тем более не в 1961 -ом году, как свидетельствует в выступлении Кожинин и вслед за ним автор «Кризис и другие». Рукопись попала в Италию в 1962-ом году вполне официальным, принятым в СССР путём через соответствующую структуру - издательское агентство...

В очередной раз отдаю должное фантазии Кургиняна. Ведь такое нужно было придумать - одновременно повязать Вадима Кожинина и Михаила Бахтина с «мировой закулисой» в лице Витторио Страды - и с Юрием Андроповым, КГБ, «русским орденом» в ЦК КПСС.

Показательно, что миф о «русском ордене», рождённый либералами-русофобами и Александром Байгушевым, подхватил и оригинально модернизировал «красный патриот», «имперец» Сергей Кургинян. Не вызывает сомнений, что его «Кризис и другие» - вода на мельницу антирусских сил разного толка. Не буду гадать, чем вызвана эта публикация на страницах газеты «Завтра». Скажу кратко об очевидном, игнорируемом Кургиняном в данном сочинении и игнорируемом всегда его единомышленниками (советскими патриотами) и оппонентами (либералами-космополитами).

Легенда о «русском ордене» в ЦК КПСС разбивается вдребезги о неизменную - антирусскую - национально-государственную политику, уникальную «империю наоборот» и многое другое, о чём многократно и справедливо писали «правые». Помимо известных статистических данных, подтверждающих явную ущербность русских в СССР, Кургиняну и его единомышленникам не стоит забывать о судьбах И.Огурцова, Л.Бородина, Е.Вагина, В.Осипова, М.Лобанова, С.Семанова, Ю.Селезнёва, В.Кожинина и других русских патриотов, по-разному пострадавших в 60-80-е годы - во времена правления якобы обрусевшей власти. К тому же следует помнить и о том, что рассказывали представители «русской партии» о контактах с их, по версии Байгушева-Кургиняна, «кураторами» из «русского ордена» в ЦК КПСС.

Михаил Лобанов так свидетельствует об этих «контактах» в своей книге «В сражении и любви» (М., 2003): «Наши встречи с партийным и комсомольским начальством ничего,

разумеется, не дали»; «Надеялись мы на поддержку Кириленко <...>, но он недовольно проворчал явно не в нашу пользу: «Русофилы»; «А мы, русские, «почвенники» <...>, - мы не только не встречали понимания в ЦК, нас считали главными и, пожалуй, единственными нарушителями «партийности».

Итак, прочитанная мною часть работы Кургиняна «Кризис и другие» позволяет сделать следующие выводы: аналитический метод одного из главных идеологов «Завтра» сверхуязвим; Кургинян не в состоянии объективно, непредвзято, адекватно оценить исторические события XX века и роль отдельной личности (С.Витте, М.Бахтин, В.Кожин и т.д.). К тому же автор «эпопеи» страдает русофобией. Он не может предложить реальную альтернативу тому губительному курсу, по которому идёт наша страна. Такие «аналитики», как Кургинян, выгодны, необходимы нынешней власти, ибо своими статьями, книгами, выступлениями на телевидении они уведут читателей, зрителей от истинных ценностей, от подлинного понимания далёкой и близкой истории и дня сегодняшнего.

«Несостоявшаяся революция» Т. и В. Соловей как несостоявшееся открытие.

Думаю, разговор о книге Татьяны и Валерия Соловей «Несосто-явшаяся революция. Исторические смыслы русского национализ-ма» (М., 2009) есть смысл начать с важной особенности методоло-гии, избранной авторами исследования. Многие их основополага-ющие взгляды вырастают из работ зарубежных учёных, прежде все-го Ицхака Брудного, доктора политологических наук Иерусалим-ского Еврейского университета. При этом израильский исследова-тель очень редко цитируется. Как правило, делаются ссылки на его книгу и периодически кратко излагаются некоторые её положения.

На мой взгляд, такое отношение к первоисточнику научно не-продуктивно и некорректно. Книга Ицхака Брудного, изданная на английском языке, недоступна для большинства читателей, кото-рым остаётся верить или не верить её московским интерпретато-рам. Они же израильскому учёному не просто верят: подавляющая часть суждений Брудного для Татьяны и Валерия Соловей - это и аксиомы, и своеобразный трамплин в их исследовательских «инно-вациях». При этом неточность и первоначального посыла профес-сора Еврейского университета, и его дальнейшего - в никуда - пре-ломления профессорами МГУ и МГИМО не вызывают сомнений.

Например, корни явления, которое в «Несостоявшейся рево-люции» называется национализмом 60-80-х годов XX века, авто-ры книги видят, в частности, в социальном происхождении мно-гих идеологов данного движения. Вслед за Брудным Татьяна и Ва-лерий Соловей, отталкиваясь от места рождения «большинства видных националистов», делают следующий вывод: «Деревня и провинциальный городок были материнским лоном значитель-ной части русского националистического истеблишмента, тем идеализированным прошлым, откуда они черпали своё творчес-кое вдохновение и где искали рецепты переустройства современ-ной им жизни» (с. 214).

«Идеализация прошлого», «идеализация деревни» - эти оценки Соловьёв, неоднократно встречающиеся в их книге, совпадают с те-ми обвинениями, которые звучали в адрес «деревенской прозы» со стороны официозных и «левых» авторов в 60-80-е годы XX века. И то, что в рецензируемой книге реанимируются подобные взгляды, свидетельствует, в частности, о мировоззренческой родословной Татьяны и Валерия Соловей. Во многом поэтому они не понимают очевидное.

Особое отношение к деревне «правых» или, как они называются в книге, «русских националистов», социальным происхождением не только не исчерпывается, но даже не измеряется. Напомню, что Юрий Казаков, родившийся на Арбате, состоялся как русский чело-век и русский писатель благодаря Поморью, и его восприятие де-ревни было сродни восприятию Василия Шукшина, Василия Бело-ва, Валентина Распутина и других представителей «деревенской прозы». Ещё один «арбатовец» Вадим Кожин, который называется в книге «Несостоявшаяся революция» «асфальтовым» национа-листом, в статье 1967 года «Ценности истинные и мнимые» выска-зал ряд принципиальных суждений, точно определяющих пози-цию «правых» в данном вопросе: «Для В.Белова его герой (Иван Аф-

риканович Дрынов. - Ю.П.) выступает не как «тоже человек», но как человек в наиболее полном, целостном значении слова»; «В повес-ти нет, в частности, превосходства человека, живущего на земле, землёй, над людьми, ведущими иной образ жизни, нет идеализации «патриархальности» и т.п. Герой Белова несколько не «лучше» лю-дей, сформированных иными условиями: он только - в силу само-го своего образа жизни - обладает единством бытия и сознания - единством практической, мыслительной, нравственной и эстети-ческой жизнедеятельности»; «Человек, живущий на земле, вросший в неё корнями, сохраняет полноту восприятия мира; в нём - пусть в зачатках, но цельно, органически, полнокровно - живёт вся цивилизация, вся культура - труд, мысль, нравственность, искусство» (Кожин В. Статьи о современной литературе. - М., 1982).

Пик фактических ошибок и фальсификации в книге «Несосто-явшаяся революция» приходится на главу девятую «Национальные идеи и русское общество», в которой речь идёт о так называемой «русской партии» 60-80-х годов XX века. В этой главе содержатся многочисленные свидетельства того, что авторы книги плохо раз-бираются в данном вопросе. Приведу несколько характерных при-меров.

На странице 244-ой давление цензуры на «писателей-деревен- щиков», зачисленных в националисты, доказывается очень своеобразно: «По крайней мере, на рубеже 70-80-х годов XX века «дере-венщики» постоянно жаловались (разрядка моя. - Ю.П.) на удушающую цензуру». Ссылка на жалобы звучит, конечно же, неубедительно, а иных «доказательств» цензурного давления в книге нет. Более того, такая «аргументация» ставит под сомнение саму идею притеснения авторов «деревенской прозы» и русских на-ционалистов вообще.

Трудно сказать, почему Татьяна и Валерий Соловей не приводят факты, известные любому профессиональному и добросовестному исследователю проблемы. Например, письмо Начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР П.К. Романова в ЦК КПСС от 6 мая 1982 года. В этом письме называются публикации в журнале «Наш современ-ник» за 1980-1982 годы, вызвавшие нарекания и вмешательства цензуры: «Живая нива», «В верховьях Ловати и Великой», «Земля русская» Ивана Васильева, «Лад» Василия Белова, «Вова, т-сс-с» Вла-димира Солоухина, «Несчастье», «Русские городки» Юрия Бондаре-ва, «Драчуны» Михаила Алексева, «Сороковой день» Владимира Крупина, «Репортаж» Николая Рубцова.

Прочитав отрывок из письма Романова, в котором говорится о «Драчунах» МАлексеева: «В эту (последнюю. - Ю.П.) часть писа-тель включил материал о голоде 1933 года, причём утверждал, что этот голод (страшнее, чем в 1921 году) распространился на Повол-жье, Северный Кавказ, Украину, Западную Сибирь, Северный Казах-стан, Нижний Урал. Причиной голода, по мнению автора, был не урожай, а самоуправство властей, роковой просчёт, допущенный сверху <...>».

Поскольку в историко-партийной литературе и официальных документах о голоде 1933 года ничего не говорится, нами были вы-сказаны соображения о нецелесообразности публикации материа-ла в представленном виде. Автор, приглашённый в Главлит, с этим не согласился и исключил из произведения лишь указание на ши-рокое распространение голода в стране и некоторые натуралистич-ские описания его проявлений в селе Монастырском».

Для понимания роли «деревенской прозы» и «русской партии» в отечественной истории необходимо иметь в виду то, о чём у авто-ров «Несостоявшейся революции» не говорится ни слова. Михаил Алексеев первым в нашей стране в подцензурной печати сказал правду о голоде 1933 года, а Михаил Лобанов в статье «Освобожде-ние» («Волга», 1982, № 10), посвящённой «Драчунам», пошёл даль-ше... Эта статья была воспринята Юрием Андроповым, Альбертом Беляевым и многими другими - от работников ЦК КПСС до офици-альных и либеральных критиков - как великая крамола, как реви-зия советской версии коллективизации в жизни и литературе. Хотя ревизия, конечно, началась раньше - в «Плотничих рассказах» и «Канунах» Василия Белова...

Итоговая реакция со стороны власти на деятельность «русской партии» по возрождению исторической памяти - постановление ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных жур-налов с практикой коммунистического строительства» от 30 мая 1982 года. В нём, в частности, говорилось: «...События отечествен-ной истории, социалистической

революции, коллективизации изображены с серьёзными отступлениями от жизненной правды. Отдельные публикации содержат предвзятые, поверхностные суждения о современности...».

В книге, подчеркну, историков Татьяны и Валерия Соловей и этот документ отсутствует. Как отсутствует и многое другое, что не позволяет всерьёз, полноценно говорить о «русской партии»: ссылки на дискуссию «Классика и мы», на работы МЛобанова, В.Кожина, П.Палиевского, О.Михайлова, Ю.Селезнёва, Ю.Лощица, А.Ланшикова, С.Семанова, опора на произведения В.Белова, В.Шукшина, Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Распутина, Вл. Солоухина, Е.Носова и т.д. Поэтому большинство оценок, данных авторами «Несостоявшейся революции» русским националистам, воспринимаются лишь как наукообразная паутина, словоблудие, не имеющее никакого отношения к объекту исследования.

Правда, ситуация принципиально не меняется, когда необходимая конкретика появляется. Так, на странице 228-ой 1962-ой год называется годом создания ВСХСОН. На самом деле эта организация появилась в 1964 году, о чём, в частности, говорится в статье члена ВСХСОН Леонида Бородина «По поводу одного юбилея» («Москва», 1994, № 2). Или на странице 245-ой всего одним абзацем характеризуется «Русский клуб», однако профессор МГУ и профессор МГИМО умудряются на таком «пятячке» допустить следующие фактические ошибки. «Русский клуб» функционировал не два года, как утверждают авторы книги, а пять лет - с 1967 по 1972 годы. Пётр Паламарчук не мог быть его участником, ибо ему в 1968-1969 годах (называемых Т. и В. Соловей) было 13-14 лет. Инициалы известного критика, литературоведа, писателя Михайлова - О.Н., а не О.М. Что же касается Ильи Глазунова, упоминаемого авторами книги, то, видимо, есть больше оснований доверять Сергею Семанову, который утверждает, что «такие известные тогда деятели русской культуры, как Илья Глазунов или Владимир Солоухин, в работе клуба не участвовали. Во всяком случае, я о том не могу вспомнить» (Семанов С. «Русский клуб» // Семанов С. Русско-еврейские разборки. - М., 2004. - с. 182).

Ещё на одну особенность «Несостоявшейся революции» первым справедливо указал Илья Кукулин: «Вообще, русских авторов Т. и В. Соловей цитируют в основном по иностранным научным трудам, так что национализм двух московских профессоров приобретает какой-то подозрительно импортный вид: мысли П.Киреевского и К.Аксакова приводятся по реферату книги польского историка Анджея Валицкого, а цитаты из П.Пестеля и М.Каткова - по работе британского историка-русиста Джеффри Хоскинга, и такого рода примеры можно продолжить» (<http://www.openspace.ru/literature/projects/9533/details/11085>).

Другая «ветвь» русских националистов, по классификации Т. и В. Соловей, - это городские рафинированные интеллигенты, представленные в главе восьмой «Возрождение национализма» Вадимом Кожинным и Петром Палиевским. Появление этих, по выражению авторов книги, «асфальтовых» националистов было вызвано «разочарованием в хрущёвском правлении и коммунистической политике вообще» (с. 214).

Свидетельства, подтверждающие данную версию, историками не приводятся, так как объективно не существуют. Их нет и быть не может прежде всего потому, что для разочарования в Хрущёве первоначально нужно было им очароваться, а это к Кожину и Палиевскому не имеет никакого отношения. Вот, например, сталинист-то Вадим Валерианович в молодости был, но хрущёвофилом - никогда. Тезис о разочаровании в коммунизме неизвестно из каких работ, высказываний произрастает, но известны статьи и интервью Кожина иной направленности (правда, более позднего времени): «Коммунизм неизбежен?..», «О революции и социализме - всерьёз», «Социализм в России - это неизбежность»...

В числе других причин, вызвавших появление «асфальтовых» националистов, называются «экологическое варварство» (строительство гидроэлектростанций и ЦБК на Байкале), «разрушение традиционно-культурной среды», «мощная антирелигиозная пропаганда» (с. 215). И с такой версией событий трудно согласиться по следующим причинам.

Во-первых, в годы правления Хрущёва сооружение ГЭС воспринималось восторженно представителями разных направлений. Во-вторых, решение о строительстве ЦБК на Байкале было принято ещё в 1953 году. Само же сопротивление строительству, а затем и эксплуатации комбината объединило людей разных мировоззрений и национальностей, которые экологическое преступление власти воспринимали без какого-либо национального окраса.

По-дробно об этом сопротивлении повествует В.Распутин в книге «Земля у Байкала» (Иркутск, 2008, с. 73-129). В-третьих, в хрущёв-ские времена националистической реакции со стороны Кожина и Палиевского на антирелигиозную пропаганду и разрушение традиционной культурной среды не было и в принципе быть ещё не могло в силу широко известных фактов биографии Вадима Валери-ановича и Петра Васильевича...

Вопросы и несогласие вызывает практически каждая страница «Несостоявшейся революции», где речь идёт о русских писателях и мыслителях. И хотя московские профессора, какуже говорилось, не утруждают себя доказательствами, примерами, любому человеку, знающему историю русской словесности и отечественной мысли, думаю, очевидны и мертворождённость частных утверждений ав-торов «Несостоявшейся революции», и несостоятельность общей концепции их книги. Иными словами, наполнение конкретным со-держанием сотен фактологических лакун «Несостоявшейся рево-люции» выявляет отсутствие в книге обратной связи между «теори-ей» и «практикой».

Например, на 242-ой странице Т. и В. Соловей относят к либе-ральным националистам «либеральное крыло деревенщиков и журнал «Новый мир» и характеризуют их, в частности, так «Они признавали необходимость радикальных (разрядка моя. - Ю.П.) политических и экономических реформ».

Во-первых, вызывает удивление, что Александр Дементьев, Игорь Сац, Владимир Лакшин, Ефим Дорош, Александр Твардов-ский и другие «новомировцы» попадают в разряд националистов, пусть и либеральных. Советскость была всеопределяющим нача-лом в их мировоззрении и творчестве (об этом я подробно говорю в статьях «Александр Твардовский: мифы и реальность, или Заметки о заметках ВА. и ОА. Твардовских», «Владимир Лакшин: привычный и неожиданный», «Михаил Лобанов: русский критик «на передо-вой» // Павлов Ю. Критика XX-XXI веков: литературные портреты, статьи, рецензии - М., 2010). Уже поэтому любой национализм «но- вомировцев», как и идеи «радикальных политических и экономиче-ских реформ», исключается. Можно говорить лишь о редкой, эпи-зодически проявляющейся русскости у Твардовского и Лакшина.

Во-вторых, непонятно, кого из «деревенщиков» Т. и В. Соловей относят к либеральному крылу (фамилии не названы). Видимо, тех писателей, кто в 60-е годы публиковался в «Новом мире». Однако эти авторы, о чём неоднократно говорилось, в 70-е годы без какой- либо смены вех - мировоззренческих и творческих - стали «ли-цом» «Нашего современника», журнала, по классификации Т. и В. Соловей, консервативных националистов. Не вызывает сомнений, что факт публикации названных писателей в «Новом мире» не сви-детельствует об их национальной и иной ориентации, а либераль-ное крыло «деревенщиков» - это миф, порождённый элементар-ным невежеством московских профессоров.

Создаётся впечатление, что авторы книги часто просто не пони-мают того, о чём пишут. Так, на 243-ей странице утверждается, что в годы правления Брежнева «русофилы контролировали» и журнал «Кубань». Если бы Т. и В. Соловей хотя бы открыли альманах (а не журнал) «Кубань» 70-х - начала 80-х годов, то легко бы убедились, что русский дух в нём отсутствует вообще. Это было серенькое, со- ветски-правоверное издание. Ситуация резко изменилась лишь в 1987-ом году, когда главным редактором «Кубани» стал Виталий Ка-нашкин. Или на той же 243-ей странице сообщается, что «деревен-щики» были «при Хрущёве лишь одной из групп интеллектуальной элиты». Этого не было уже потому, что «деревенская проза» как яв-ление, как идейно-эстетическая общность писателей в реальности и в восприятии окружающих - от читателей и критиков до партий-ных верхов - ещё не существовала. Это произойдёт на рубеже 60- 70-х годов, чему, в частности, будет способствовать публикация та-ких классических произведений «деревенской прозы», как «При-вычное дело» (1966) Василия Белова, «Деньги для Марии» (1967) Ва-лентина Распутина, «Письма из Русского музея» (1966) Владимира Солоухина.

И вот на таком уровне на протяжении большей части книги размышляют Т. и В. Соловей о русских националистах, среди иде-ологов которых преобладали писатели, философы, критики, пуб-лицисты. Этот уровень не повышается, когда речь заходит о «соб-ственно» истории. Например, в главе десятой «На переломе (вто-рая половина 80-х - начало 90-х годов XX века)» при характерис-тике событий декабря 1991-го года проводится следующая парал-лель: «В 1917г. московским юнкерам, генералу Корнилову и тыся-чам офицеров не

требовались ничьи распоряжения и приказы, чтобы выполнить свой долг. Но курсанты советских военных училищ не уподобились московским юнкерам, ни одна (!) воинская часть не выступила под знаменем «единого и неделимого СССР», никто не уходил на Волгу к генералу Макашову, как уходили на Дон к генералу Краснову» (с. 279).

Такое видение переломных событий в истории России XX века можно объяснить только очень сильной понятийной мешаниной и плохим знанием истории периода революции и гражданской войны.

Во-первых, о какой верности долгу многих генералов и офицеров царской армии, Корнилова и Краснова в том числе, может идти речь, если в марте 1917-го они нарушили присягу?..

Во-вторых, авторы книги многократно преувеличивают число офицеров, воевавших в армии Корнилова. С нехарактерной для историков «точностью» они утверждают, что «тысячи и тысячи». На самом деле, по свидетельству Станислава Ауского, в Добровольческой Армии при Корнилове были 3 полных генерала, 8 генерал-поручиков, 25 генерал-майоров, 199 полковников, 50 подполковников, 215 капитанов, 251 штабс-капитан, 394 поручика, 535 корнетов, 688 прапорщиков, 364 унтер-офицера (Ауский Ст. Казаки. Особое сословие. - М., 2002. - с. 288). Юнкеров же было 437 человек, а какая часть из них - москвичи - неизвестно...

В-третьих, само движение на Юг, на что делают упор авторы книги, далеко не всегда было обусловлено чувством долга. Так, в момент первых боёв за Ростов-на-Дону в городе находилось около 16 тысяч офицеров, в Добровольческой же армии служили 2732 человека. Однако сие не означает, что все «недобровольцы» были трусы, шкурники, люди без чести и т.д. Руководство белого движения, заявившее о республиканском будущем России, отпугнуло часть офицеров-монархистов. Ещё меньше оснований было у них идти к «самостийнику» Петру Краснову, ратовавшему за появление новых государственных образований на юге России. Краснов же у Т. и В. Соловей - символ борца за «единую и неделимую Россию»...

Вызывает возражения и «кровавый» подход Т. и В. Соловей к национализму, подход, называемый ими «толерантным расизмом». Более же широко национализм определяется авторами книги как «интерес к русской этничности» (с. 218). «Интерес» этот объясняется авторами книги прежде всего вышеназванными причинами. Но, на наш взгляд, любовь («интерес» - слово в данном случае явно неудачное) к своему народу, Родине - не есть результат воздействия на человека социально-исторических и иных - внешних - факторов. Такая любовь - естество личности, данность, которая сильнее любых обстоятельств и самого человека, это чувство - «наоборот голове» (В.Розанов) и исчезающее вместе с головой. То есть в размышлениях Т. и В. Соловей о национальном не хватает метафизической высоты в понимании проблемы. Уровень большинства суждений авторов книги - это уровень крови и социальных, личностных, национальных комплексов. Важнейшая составляющая последних - проблема антисемитизма, неоднократно возникающая в книге.

Сия проблема применительно к Кожиннову и Палиевскому трактуется так «...Для «асфальтовых» националистов <...> антисемитизм служил компенсацией предшествующей интеллектуальной и культурной зависимости от еврейской среды. По откровенному признанию самого Кожиннова, до знакомства с Бахтиным он пребывал в уверенности, что русских интеллигентов-гуманитариев попросту не существует, что все интеллигенты - исключительно этнические евреи или с еврейской примесью. В этом ракурсе бунт против авторитетов и наставников, коими были евреи, неизбежно приобретал антисемитские черты, а антисемитизм оказался рядоположен стремлению к культурной и интеллектуальной эмансипации» (с. 217).

Нельзя согласиться с Т. и В. Соловей на уровне и «теории», и «истории» вопроса. Так, непонятно, почему «бунт» против учёных-евреев есть антисемитизм? Тогда получается, что «бунт» против этнически русских авторов (В.Белинского, Н.Добролюбова, Д.Писарева, Н.Чернышевского, И.Волкова, Н.Гуляева, М.Голубкова и т.д.) - это русофобия? Нет, конечно.

Обвиняя Кожиннова и Палиевского в ненависти к евреям, Т. и В. Соловей, люди вроде бы науки, должны были хотя бы назвать работы Вадима Валериановича и Петра Васильевича, в которых проявился антисемитизм как стремление к освобождению от еврейских наставников и авторитетов. Я таких работ не знаю. Но для меня очевидно другое: антисемитизм Кожиннову и Палиевскому, конечно, не был присущ.

Для Вадима Валериановича, например, заядлого полемиста, бор-ца с мифами, национальная принадлежность его многочисленных оппонентов не имела никакого значения. Так, ими были и евреи Б.Сарнов, Л.Робинсон, и русские М.Лобанов, А.Казинцев. Думаю, по-казательно и то, что Кожинов на протяжении жизни неоднократно очень высоко оценивал работы евреев (называю вслед за Т. и В. Со-ловей евреев по крови, хотя этот критерий для меня и неприемлем) Н.Берковского, В.Непомнящего, Г.Гачева, Л.Аннинского (а с двумя последними и дружил), уважительно относился к сионисту МАгур- скому, был женат на Е.Ермиловой и т.д. К тому же Кожинов неоднократно заявлял, что сам «кровавой» подход ему чужд: «Это перене-сение из мира животных» (<http://www.koginov.ru/interviu/beseda-vadima-kozhinova-s-v-b-rumyantsevimi-i-v-m-lipunovim-5-avgusta-1999-goda.html>) . И главное: несмотря на то, что Кожинов довольно часто в своих работах обращался к еврейской теме, антисемитизм в них отсутствует, что я на многих примерах показываю в своей ста-тье «Вадим Кожинов: штрихи к портрету на фоне эпохи» (Павлов Ю. Критика XX-XXI веков: литературные портреты, статьи, рецен-зии. - М., 2010).

По схожей «методологии» в разряд антисемитов попадают очень многие достойные русские писатели, мыслители, Ф. Досто-евский, в частности. В главе четвёртой «Националистический дис-курс в конце XIX - начале XX в.» он так характеризуется Т. и В. Со-ловей: «Утверждение о национализме Достоевского нередко пы-таются опровергнуть его знаменитой пушкинской речью и харак-терными для него оговорками (это слово употреблено явно оши-бочно, что свидетельствует о предвзятости авторов либо об их проблемах с русским языком. - Ю.П.) об общечеловеческой мис-сии России, всемирной отзывчивости русских, братской любви к человечеству. Но, как говорил один из героев Александра Дюма- старшего, Писание нам завещало любить ближних своих, однако в нём нигде не сказано, что англичане - наши ближние. Невоз-можно поверить, что Достоевский видел в поляках и «жидах» бра-тьев русского народа. Его ненависть к ним была вполне реальной, хотя во многом иррациональной, и даже призывы к «братской любви» не способны закамфлировать подлинность этого чувст-ва» (с. 96).

Да, оригинальную версию выдвинули историки: Пушкинская речь Достоевского - лишь дымовая завеса, призванная скрыть под-линную сущность писателя, его ненависть к евреям и полякам. Толь-ко если логика «оригинального человека» из одноимённого расска-за Леонида Андреева понятна, то оригинальную логику московских учёных понять невозможно. Прежде всего потому, что о евреях и поляках в речи Достоевского даже не упоминается. К тому же чувст-во писателя к названным народам (в данном случае не имеет значе-ния, верно или неверно оно определяется) - это одно, и совсем дру-гое - идея всемирной, братской любви как выражение христиан-ского идеала русского народа, о чём собственно и идёт речь у До-стоевского. И наконец, доказательствами фобий писателя доктора наук себя не утруждают.

Понятно, что в своих голословных обвинениях в антисемитизме Достоевского, Кожинова, Палиевского и т.д. Т. и В. Соловей не ори-гинальны. Не оригинальны они и тогда, когда в главе девятой, с по-дачи А.Самоварова, транслируют мысль, что антисемитизм был ос-новой для консолидации «русской партии» в 60-80-е годы XX века, вновь, конечно, не приводя никаких доказательств. Оригиналь-ность авторов «Несостоявшейся революции» видится в том, что они вслед за Самоваровым утверждают: у русских патриотов не было своей положительной программы и действовали они наперекор ев-реям: «Если евреи против социализма, то мы будем за социализм. Если евреи за демократию и рынок, то мы будем против» (с. 241). В очередной раз мне трудно сказать, на какие источники в своих фантазиях опираются Самоваров и согласные с ним Т. и В. Соловей. Приведённое высказывание, по сути, совпадает с тем, что говорит Моисеев, герой повести Л.Бородин «Правила игры». Вполне оче-видно, что автор произведения, «русист» Бородин, эти взгляды не разделяет. Как не разделяли и не разделяют их Н.Шафаревич и В.Ко- жинов, С.Семанов и О.Михайлов, Ю.Селезнёв и В.Бондаренко и дру-гие националисты. В очередной раз не могу не задать детский во-прос: откуда у профессиональных историков такое непрофессио-нальное нежелание работать с первоисточниками и болезненная постоянная потребность примитивизировать взгляды оппонентов?

Ещё одна особенность книги «Несостоявшаяся революция» - в ней довольно часто происходят «жанровые сбои»: живое чувство открыто пульсирует в тексте. Это чувство весьма красноречиво и недвусмысленно выражает отношение Т. и В. Соловей к националистам.

Приведу характерные примеры из главы десятой «На переломе (вторая половина 80-х - начало 90-х годов XX в.)». Версия Т. и В. Соловей о том, что телевидение при Ненасе и Кравченко, якобы «разделявших с националистами часть символа веры» (умеют же крепко выражаться учёные. - Ю.П.), проиграло борьбу за аудиторию менее тиражным, либеральным печатным СМИ, сопровождается таким оригинальным «комментарием»: «Ну и что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» (с. 262). Или на той же странице «родовая черта русского национализма, начиная со славянофилов», определяется как «слиянная (разрядка моя. - Ю.П.) народофилия в сочетании с незнанием <...> родного русского народа».

Трудно спокойно комментировать такое «открытие», но попробую. Итак, братья Аксаковы и Ю. Самарин, Н. Гоголь и Ф. Достоевский, В. Розанов и М. Меньшиков, А. Блок и И. Шмелёв, В. Белов и В. Распутин, В. Шукшин и Ст. Куняев, В. Кожин и М. Лобанов и многие другие националисты XIX-XX веков русский народ не знали и не знают, а вот Татьяна и Валерий Соловей - знают...

Не думаю, что московские учёные осознают анекдотичность своего «открытия», ибо оно не просто лейтмотивом проходит через всю книгу, но повторяется многократно и с каким-то болезненным наслаждением. Вот как, например, характеризуются представители «русской партии» в главе девятой: «Подобно славянофилам, они выдумали <...> такую Россию и такой русский народ, которых никогда не существовало в помине. Подобно славянофилам, они опирались на культурно-идеологические мифы и предлагали двигаться вперёд с головой, обернутой (да, с русским языком у профессоров проблемы. - Ю.П.) назад, в прошлое» (с. 247). И в этом контексте вполне ожидаем тот окончательный приговор «русской партии», который неоднократно звучит в книге: идеология русских националистов разрушила СССР.

Напомню, что примерно в одно время с Т. и В. Соловей подобное «открытие» сделал в своей работе «Кризис и другие» Сергей Курган, о которой мне уже приходилось писать («Наш современник», 2010, № 1). Не знаю, своим ли умом названные авторы дошли до такого абсурда, или выполняли чей-то заказ... Знаю другое: чувство реальности, научной объективности должны быть превыше всего в работе любого исследователя. В книге же Т. и В. Соловей преобладают явно выраженная предвзятость, партийность, голословность в трактовке разных лиц и событий. Как можно всерьёз Михаила Горбачёва (пусть и связан Валерий Соловей «родовой пуповиной» с его фондом) называть «прорусски ориентированным лидером» (с. 258), а Александра Солженицына - «знаменем русского национализма» (с. 232). На основании чего можно делать заявления, подобные следующему: «То, что у Вадима Кожина и Василия Белова было на уме (интересно, как об этом узнали Т. и В. Соловей? - Ю.П.) или звучало в кухонных разговорах, у Дмитрия Васильева и Игоря Сычёва появилось на языке и стало главной темой публичных выступлений» (с. 265).

Непрофессионализм, научная, человеческая слабость авторов книги «Несостоявшаяся революция» проявляется и в том, что они ссылаются только на тех исследователей вопроса, с кем согласны или с кем легко полемизировать, и не замечают работы тех авторов, у которых данная проблема трактуется принципиально иначе. Назову только некоторые имена: И. Шафаревич, М. Назаров, О. Платонов, С. Семанов, А. Степанов, А. Лебатарёв, А. Кожевников, В. Карпец, В. Живов.

Видимо, по той же причине не «задействованы» в «Несостоявшейся революции» мемуары Ст. Куняева «Поэзия. Судьба. Россия», М. Лобанова «В сражении и любви», Л. Бородин «Без выбора», С. Викулова «Лето написано пером...», без которых полноценный разговор о русских националистах 60-80-х годов XX века невозможен.

Такие же концептуальные идеи книги Т. и В. Соловей, как имперское государство всегда было враждебно русским, «революционная динамика начала XX в. фактически была национально-освободительной борьбой русского народа против чуждого ему <...> правящего слоя и угнетающей империи» (с. 166-167), октябрьский переворот 1917 года - это «русский этнический бунт» (с. 167), «анти-семитизм, разжигаемый «чёрной сотней», после 1917 года бумерангом вернулся обратно в виде русофобии» (с. 164-165), «слабость интеллекта, дефицит воли и организационная импотенция <...> - вот три порока русского национализма, обусловившие его политическое поражение и роковую неспособность сыграть

важную роль в отечественной истории» (с. 435) и другие, убедительно уже опровергнуты в статьях Вячеслава Румянцева (<http://www.hrono.ru/text/2009/rum1109.php>), Сергея Семанова («Наш современник», 2010, №1), Ильи Колодяжного («Литературная Россия», 2009, №50-51) и в выступлении Александра Казинцева на Кожинской конференции 28 октября 2010 года. Я приведу только одно высказывание В.Румянцева, которое напрямую связано с названием книги Т. и В. Соловей. Историк обращает внимание на то, что авторы «Несостоявшейся революции» странно не замечают современных изменений исторических смыслов русского национализма, и справедливо утверждает: «За минувшие два десятилетия усилиями государственных структур, начиная от Администрации Президента до завербованных агентов ФСБ, русское националистическое движение было выпотрошено - как в кадровом, так и в идейном содержании - и наполнено новыми кадрами и смыслами. Всё самобытно русское из него было удалено, а взамен интегрировано то, что соответствует глобалистским стандартам: против «чужих» шуметь можно, но ни о какой подлинной национальной и цивилизационной особенности своей страны и своего народа не может быть и речи. А те националистические организации, которые «разъяснениям» свыше не вняли, подвергаются уничтожающей «критике»: их руководителей арестовывают и отправляют за решётку, литературу изымают и запрещают судебными решениями» (<http://www.hrono.ru/text/2009/rum1109.php>).

Всё сказанное и неслуханное позволяет оценить книгу Валерия и Татьяны Соловей «Несостоявшаяся революция» как творческую неудачу, как несостоявшееся открытие, как книгу, написанную людьми, слывшими в определённых кругах русскими националистами, а на самом деле не знающими и ненавидящими лучших представителей русской мысли XIX-XX веков.

PS. Велико было моё удивление, когда я узнал, что книга «Несостоявшаяся революция» - лауреат премии «Лучшие книги и издательства - 2009», более того, - в номинации «Философия». И что ещё удивительнее - подзаголовок книги вдруг стал называться «Исторические смыслы русской нации» («Литературная газета», 2010, № 6-7). Не знаю, на какой стадии и кем «русский национализм» в названии книги был заменён «русской нацией», но догадываюсь, почему...

Юрий Павлов. Человек и время в поэзии, прозе, публицистике XX - XXI веков. М., 2011

В новой книге одного из самых ярких критиков нашего времени Юрия Павлова представлены статьи и рецензии разных лет. В них с «правых» позиций предлагается нетрадиционная трактовка прозы, поэзии, публицистики на примере творчества А.Блока, М.Цветаевой, С.Есенина, В.Маяковского, М.Булгакова, Ю.Казакова, В.Максимова, А.Солженицына, Л.Бородина, Д.Рубиной, Д.Самойлова, В.Гроссмана, В.Личутина и других авторов. Книга Павлова, разрушая устоявшиеся мифы критики и литературоведения XX-XXI веков, открывает читателю возможность нового прочтения русской и русскоязычной литературы. Рецензируя предыдущую книгу критика, Ирина Гречаник писала: «Энциклопедическая точность, быстрота реакции, отсутствие описательности, смелость, редкий дар называть вещи своими именами - без утаиваний и подтекста - вот характеристика «литературного портрета» самого Ю.Павлова». Эти черты в полной мере проявились и в новой книге критика.

Юрий Павлов. Человек и время в поэзии, прозе, публицистике XX - XXI веков. М., 2011

Директор издательства - Виктор КАШЛЕВ Дизайн и вёрстка - Александр КАШЛЕВ Корректор - Дарья МЕЛЬНИК

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 04220 выдана 12 марта 2001 года

Подписано в печать 11 апреля 2011 г Формат 60х90 1/16. Печать офсетная. Бумага офс. Печ. л. 19. Тираж 1000 экз. Заказ №

Концерн «Литературная Россия» 127051, Москва, Цветной бульвар, 32, стр.3. Тел.: 694-23-24

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ», 140010, г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел.: 554-21-86.

-
- Лирика Александра Блока: «трилогия вочеловечивания»?
 - Тема Родины в лирике Александра Блока
 - А.Блок как непоследовательный интеллигент, или Комментарий к поэме «Возмездие»
 - А.Блок «подземный рост души» как путь к «Двенадцати»
 - Душа и тело, или Штрихи к портрету Марины Цветаевой

- Сергей Есенин: «Я хочу быть жёлтым парусом...»
- Поэма С.Есенина «Пугачёв»: бунт «сволочи»
- Владимир Маяковский: в добровольном плену у политики.
- Человек и время в «Белой гвардии» и «Собачем сердце» Михаила Булгакова.
- Юрий Казаков: мгновения русской души.
- Владимир Максимов: «Я без России - ничто».
- Рассказы Александра Солженицына: чёрно-белое кино.
- Леонид Бородин: «наказанный» любовью к Родине.
- Владимир Личутин: домашний философ против хозяйки.
- Владимир Личутин: «Счастья не ищут на стороне...».
- Человек и время в романе В.Гроссмана «Жизнь и судьба».
- Давид Самойлов: жизненные «слабости» и творчество.
- Дина Рубина: портрет на фоне русскоязычных писателей и Франца Кафки.
- Профессор и «трусики»: заметки о романе Сергея Есенина «Марбург».
- Мемуары последних лет: взгляд из Армавира.
- Заметки на полях мемуаров и статей Станислава Куняева.
- «Лейтенант Третьей мировой»: интервью со Станиславом Куняевым.
- «Кризис и другие» С.Кургиняна: фантазии на литературно-историко-политические темы.
- «Несостоявшаяся революция» Т. и В. Соловей как несостоявшееся открытие.

ЮРИЙ ПАВЛОВ

**ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
В ПОЭЗИИ, ПРОЗЕ,
ПУБЛИЦИСТИКЕ
XX – XXI ВЕКОВ**

Директор издательства – Виктор КАШЛЕВ
Дизайн и верстка – Александр КАШЛЕВ
Корректор – Дарья МЕЛЬНИК

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 04220 выдана 12 марта 2001 года

Подписано в печать 11 апреля 2011 г.
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная. Бумага офс.
Печ. л. 19. Тираж 1000 экз. Заказ №

Концерн «Литературная Россия»
127051, Москва, Цветной бульвар, 32, стр.3.
Тел.: 694 23 24

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский
комбинат ВИНТИ»,
140010, г. Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр. т. 403.
Тел.: 554 21 86.



9 785780 190144 0